

СЕРГЕЙ НИКИТИН
МЕДОСБОР



СЕРГЕЙ НИКИТИН

Медосбор



ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВЛЬ 1974

«Медосбор — что за книга?»

Почему «Медосбор» — не книга рассказов, а просто книга? Да потому, что по строгим классическим правилам жанра, которых я всегда старался придерживаться раньше, не все, собранное в ней, можно отнести к жанру рассказа. Здесь и зарисовки, и воспоминания, и путевые дневники, и строки из записных книжек.

Настало, видно, для меня такое время, когда я могу сказать о себе словами Твардовского:

*Что-то я начал болеть о порядке
В пыльном лежалом хозяйстве стола:
Лишнее рву, а иное в тетрадки
Переношу, подшиваю в «дела».*

То, что не разорвано, доработано и «подшито», и ставило книгу «Медосбор».

Автор

- © Москва, «Молодая гвардия», 1959.
- © Москва, «Московский рабочий», 1966.
- © Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1974.

ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА

Знаете вы эти дни апреля, когда в скрытых от солнца уголках еще лежит снег, еще пахнет им тревожно и шально воздух, а на припеках уже зеленеет трава и, хилый, сморщенный, вдруг сверкнет в глаза, как золотой самородок, первый одуванчик? В такие дни впервые отворяют окна, сметая с подоконников дохлых мух; в такие дни, блаженно улыбаясь, часами сидят у ворот на лавочках; в такие дни кажется, что счастье — это просто солнце, просто воздух, просто жизнь сама по себе.

О, как мы ждали этих дней! У каждого городского человека случаются минуты, когда его начинают раздражать автобусы, афиши, прокуренные коридоры учреждений, и ему хоть не надолго хочется сменить небо над головой. Откроет вечером форточку, хватит полной грудью весеннего воздуха, и кровь загудит в висках, спутаются мысли, захочется черт знает чего — дикой скифской скачки на коне, какой-нибудь драки или хотя бы упругого, нагруженного запахами весны, влажного ветра в лицо. Тогда-то и начинает он, еще задолго до сезона, трепетно перематывать лески, набивать патроны, смолить лодку... И в добрый час! Я твердо верю, что путь к природе — это путь к прекрасному не только вне себя, но и в себе. Кто волновался, вдохнув буйный запах черемухи, видел, как раскрывается на рассвете точеный цветок лилии в тихой заводи реки, грустил, провожая взглядом осенний караван журавлей, проходил, как по сказке, по зимнему ельнику, — тот и в себе неизменно открывал что-то прекрасное.

Весна на этот раз выдалась недружная, с тяжелыми восточными ветрами, с почерневшими заборами, с тревожным криком вымокших грачей.

Мы пришли в деревню под мелким косым дождем, ко-

торый к вечеру постепенно переходил в снег, развесили вдоль печки мокрые ватники и рано легли в горнице на полу спать.

А утром я проснулся — и первое, что услышал: «Погода перевернулась». Не понял даже сначала, приснилось мне это или наяву было — стоит надо мной старичок, лучится из короткой седой бороды улыбкой и говорит:

— Везучие вы, охотники. Погода перевернулась.

Светло было в горнице, солнечно и ярко. Старичок оказался нашим хозяином; он уже сходил куда-то и теперь весь румянился от свежего утренника, который еще сверкал за окном тонким инеем на крышах изб, на скате бревен посреди улицы, на перепончатом льду мелких лужиц. Празднично кричали по деревне петухи. Мы одевались и завтракали быстро, словно боялись опоздать куда-то, но когда вышли на крыльцо, то долго не двигались с места, подставляя солнцу ладони и лица, соскучившиеся по его теплу. Воздух был сухо и колко холоден, но солнце, уже набравшее силу, грело напористо, стойко, и это утреннее борение тепла и мороза обещало ясный, бодрый день.

— Куда пойдем? — спросил мой товарищ.

— Все равно, — ответил я.

Мы пошли по обсохшей обочине дороги за изволок, где отчетливо постукивал трактор; там собралось много народу посмотреть, не вязнет ли он в оттаявшей зяби, и все были возбуждены, веселы, потому что трактор легко бегал по полю, а солнце так и валило на землю потоки тепла. Мы поддались общему настроению, хохотали, поталкивали плечом визжавших девчат, солидно судили с колхозниками о севе и без обиды принимали извечные шутки по адресу горемык-охотников.

Трактор вдруг умолк. И тотчас же стало слышно, как над полем льется первый жаворонок, чистый колокольчик весенних небес.

— Жаворонок к теплу, зяблик к стуже, — умиротворенно вздохнул кто-то, и все долго вслушивались в трепетный звон сверху, пока опять не захлопал трактор, пустив над пашней голубоватый дымок.

Мы ушли очень далеко в тот день по лесистым, не захваченным полой водой буграм, приглядывая места для застрашней тяги.

— Помнишь, — сказал мой товарищ, когда мы лежали, отдыхая, на солнечной стороне бугра, плотно устланной

палым дубовым листом, — помнишь, как давным-давно, еще до войны, мы пришли с одним ружьем в весенний лес, увязли в мокром снегу, а потом вот так же сидели на бугре против солнца, сушили сапоги и ели черный хлеб с луком?

— Да, — ответил я. — А ты помнишь упавший вяз, который еще несколько лет сопротивлялся смерти и каждую весну выбрасывал мелкие розовые листочки? Он лег на землю своей развилкой, и нам было так удобно сидеть на ней друг против друга! Помнишь?

— Никак все-таки не пойму, — задумчиво сказал он, — долга наша жизнь или трагически коротка... Минула едва лишь половина ее, а сколько помнится и сколько забыто! Впрочем, нет! Я ничего не забыл. От первого проблеска сознания до нынешнего дня все отложилось в памяти золотоносным пластом, и мне дорога в нем каждая песчинка. Ясно помню себя мальчиком, таким, как на старой карточке — с открытым ртом и вишнеподобными глазами, полными боязливого удивления перед шаманством фотографа. Лежу в шалаше из старых половиков; душно, жарко, таинственно полутемно. Играю с ящерицей, которую поймал утром под камнем. И вдруг уснул. А проснулся — и навзрыд плакал, потому что во сне нечаянно придавил маленькую серую ящерицу. Потом хоронил ее под тем же камнем за сараем, и было как-то торжественно и щемяще-грустно на душе... Помню юношество свое, осененное, как тенью, неудачной любовью. И когда девушка, которую я любил, уехала и я понял, что это конец, то целый день, сцепив зубы, шатался за городом по бурьянным пустырям, сидел на обрывистом берегу реки и всем своим раненым сердцем как-то особенно чувствовал невыразимую красоту мягко мглоющей дали с синей полосой леса на горизонте, с серебристыми вспышками низкого солнца на крыльях пролетающих чаек... Потом наступила осень, зима. Я начал жизнь, которой был очень доволен. Светло, холодно и чисто было в моей комнате. Знаешь, как чисто может быть в комнате, где не курят, не едят, где не залеживается под кроватью грязное белье и где круглые сутки открыта большая форточка. По утрам я просыпался с чувством необыкновенной свежести. Собирался неторопливо, обстоятельно, и каждое движение — брлся ли я, надевал ли чистую рубашку, завязывал ли галстук — доставляло мне удовольствие. Затем мягкий лязг автоматического замка, пружинис-

тые шаги по лестнице, не касаясь рукой перил, первый глубокий глоток утреннего воздуха — все это было тоже прекрасным и с удовольствием отмечалось сознанием. На работе за день я совершенно не уставал. Вернувшись в свою комнату, долго, прежде чем взять с полки книгу, рассматривал и поглаживал разноцветные корешки, наконец брал что-нибудь самое любимое — Чехова, Мопассана, Оскара Уайльда — и садился под зеленоватый свет лампы... Но однажды случилась у меня бессонная ночь. Я вышел из дома, походил по хрустящему мартовскому насту и, чтобы скоротать время, стал отыскивать в небе знакомые созвездия и звезды. Нашел Орион, Кассиопею и звезду Альтаир в созвездии Орла. «Альтаир... Альтаир...» — повторял я мысленно, а потом вслух. И вдруг такая тоска по любви охватила меня, что я тут же проклял свою упорядоченную замороженную жизнь, свою чистую комнату, свои гимнастические гантели, и завертело меня с той ночи, как щепку в половодье...

Товарищ мой быстро поднялся на ноги и, чуть отвернувшись от меня, смотрел на широкий пойменный плес, до густой синевы взъерошенный ветром. Стая осторожных северных уток качалась на волнах далеко от берега; им был еще долгий путь по следам весны, к океану, к незакатному солнцу северных широт.

— Невеселые как будто истории я рассказал тебе, — снова заговорил товарищ. — Ящерица умерла, девушка разлюбила, а прекрасное имя Альтаир одним своим звуком нагоняет печаль... Но все равно это — счастье! Понимаешь ты меня? Я говорю, великое счастье — жить на земле, многострадальной голубой планете...

Мы долго еще блуждали в тот день по частым березнякам, по полям, по дубовым и ольховым гривам поймы. К вечеру стало свежеть. И когда мы вышли из лесов к деревне, дыхание клубилось у рта тонким паром. Странен и как-то неземно желт был воздух над деревней и над широким выгоном перед ней в лучах низкого солнца. Лошади, что паслись за деревней на бледной прошлогодней траве, перестали щипать, вытянули шеи и смотрели все в одну сторону — на узкую, как крыло, лиловую тучу. Наши длинные тени напугали их. Это были тяжелые рабочие кони. Они увесистой рысью побежали прочь, но вдруг разом остановились и опять стали нервно слушать холодную тишину вечера.

— Еще один день, — сказал мой товарищ. — Еще один незабываемый день.

Мы шли медленно, и, когда поднялись на крыльцо, уже стемнело. Но высокое, прозрачное и почти беззвездное небо продолжало чуть светиться изнутри, и полая вода далеко внизу, в пойме, поблескивала тем же бледным светом.

МОЙ ЗНАКОМЫЙ ЛЕШИЙ

Есть в лесах моей родины озерцо Светленькое. Оправдывая свое название, оно еще издали сверкает, как россыпь битого зеркала, но стоит заглянуть с берега в его глубину, как оно приобретает прозрачно-малахитовый оттенок, сгущающийся к центру до цвета темно-зеленого, почти черного бархата. Когда оно впервые увиделось мне среди темных елей и сосен, как чистая капля росы на зеленом листе, я подошел по сухому, усыпанному хвоей берегу к самой воде, нагнулся, чтобы зачерпнуть ее кружкой, и ахнул. Взгляд свободно проникал в глубину, где расстился мохнатый ковер водорослей и, чуть пошевеливая красноперыми хвостами, плавали мелкие окуни.

На берегу этого озера живет лесник Кандыбин, по прозвищу Леший. Откуда пошло такое прозвище, Кандыбин и сам не знает. Во всяком случае, на лешего, который, как известно, остроголов, мохнат и нем, он не похож. Мужичок как мужичок: сухой, маленький, с белесыми глазами, реденькой щетинкой, одевается в затасканную солдатскую одежду, любит порассказать, как воевал в Польше, Австрии, Маньчжурии, и может вернуть при этом несколько слов не только по-немецки, но и по-китайски. Да и разве докопаешься до первоначального смысла этих деревенских прозвищ — Мотыль, Большак, Рында, Треухий, Жбанок, если пристали они к людям большей частью случайно, из-за одного их слова, поступка или совсем маловажной черты характера?

В семье Кандыбин сам восьмой. В детях он считает себя неудачником, потому что жена его Ульяна упорно рождает только дочерей, а единственный мальчик Митя вырос слабоумным. Его присутствие на кордоне почти не заметно. Он любит смотреть, как играют младшие сестры,

но сам никогда не играет с ними и, если начинается шумная возня, наблюдает со стороны, восторженно хлопает в ладоши, кричит, смеется, прыгает, и глаза его вспыхивают радостью. Он был бы очень красив — золотоволосый, с огромными серыми глазами, если бы не блуждающая улыбка идиота, открывающая кусочки гнилых зубов. Как веселая, ласковая собачка, он всюду ходит за старшей сестрой Аней и, стоит сказать, что жених скоро возьмет Аню, начинает плакать и картаво выкрикивать:

— Камнем зениха! Камнем зениха!

Этим пользуются, чтобы поддразнить Митю, младшие сестры. Заслышав гул дровяной машины, они кричат, что едет жених, и Митя с воплем мчится к дороге, останавливается как вкопанный у обочины и встречает машину вопросительно-пугливым взглядом.

Но не только с целью поддразнить Митю говорится на кордоне о женихе. С ним Кандыбин и Ульяна связывают свои надежды на благоденствие, которое должно наступить для семьи, когда все дочери вырастут и повыходят замуж.

— Скоро ли вас зятя разберут, лешачих окаянных! — кричит на них Кандыбин.

И все-таки, как ни трудно ему пестовать свою ораву, все дети сыты, одеты, обуты и учатся, кому пришел срок, в ближайшем селе, живя там на постое с осени до весны.

Летом вся семья, точно пчелиный рой, пребывает в какой-то жизнерадостной трудовой суете. Дочери собирают ягоду, грибы. Ульяна ходит за скотиной. Кандыбин объезжает лес, ловит в озере рыбу, косит траву. Но мшистые леса почти не дают сена, на тощем песчанике вокруг кордона родится только картошка, а я слышал однажды, как Кандыбин говорил Ульяне:

— Ничего, мать, перезимуем. А станет туго, свалю лося.

— Полно уж болтать-то зря, — сердито отозвалась Ульяна. — Вон человек посторонний слышит. Что про тебя подумает?

А Кандыбин подмигнул мне и сказал:

— В лесу не убудет.

За окном в это время играло озеро, пуская по потолку сторожки дрожащие блики, и от этого сторожка казалась прибранной к какому-то празднику. За обедом все сидели тихо, с добрыми улыбками, и слова лесника прозвучали тогда особенно неприятно.

— А что, Федя, — спросил я его, когда мы вышли после обеда на крыльцо, — убивал ты лося?

— Лося? — щурясь на озеро, переспросил он. — Нет, не приходилось.

— Ты не бойся, я ведь никому не скажу.

— А чего мне бояться? Уж коли пускаю я дровишки палево, так об этом все знают. Пожалуй, суди меня! — усмехнулся он. — Вот они. Мал мала меньше. Куда они денутся?

— Ну, дровишки пускаешь, а почему лося не трогаешь? — допытывался я.

— Дрова-то ведь дрова, — словно оправдывая передо мной свою слабость, смущенно засмеялся Кандыбин, — а лось — он лось.

В то лето на кордоне появился наконец первый жених. Он был из того самого села, где Аня кончила семилетку, — колхозный конюх, мужчина уже не молодой, но видный, с матерой проседью в смоляных волосах и не по-деревенски бледным, тонким лицом.

Сватовство он повел солидно и обстоятельно. Поговорил сначала с Кандыбиным, с Ульяной, потом, так же обстоятельно, изложил Ане свои условия: он хотя и вдовец, но лет ему только тридцать шесть, пьет восемь раз в году — по большим праздникам, живет с мамашей, имеет крепкое хозяйство, приличный заработок на трудодни и знает, кроме того, два ремесла: портняжное и скорняжное.

— Ну, доченька, что скажешь? — спросила Ульяна.

Разговор происходил поздно вечером, но в сторожке никто не спал. Ульяна стояла, прислонившись к печке и сложив под грудью большие мускулистые руки, сам Кандыбин, как бы безучастно, поклевывал со сковороды вилкой грибочки, а из-за ситцевой занавески, закрывающей огромную деревянную кровать, выглядывали любопытные мордочки младших сестер.

Я вышел. Озеро уже курилось туманом, и за его лохматой шевелящейся пеленой жили какие-то звуки: что-то тихо булькало, скрипело и посвистывало. Слабо-слабо донесся паровозный гудок. Железная дорога была далеко, километрах в пятнадцати, а этот отголосок большого мира еще яснее давал почувствовать, какой кристальной тишины стояла над лесами ночь.

Что-то бесшумно шевелилось сбоку от меня, на крыльце сторожки. Сначала мне показалось, что это просто кло-

чок лунного тумана, нанесенный с озера воздушной струей, но, приглядевшись, я узнал Митю. Никто не вспомнил о нем в этот вечер, и теперь мне представилось, как бродил он по лесу вокруг сторожки со своей единственной печалью и что-то картаво бормотал сквозь слезы.

В сторожке хлопнула дверь. Митя сейчас же скатился со ступеней и спрятался за углом, а на крыльцо, залитое лунным светом, вышли Аня и конюх.

— Луница-то, луница-то! — сказал он. — Светло мне будет ехать. Ну, что ты стоишь, как статуя?

Он поцеловал ее, прижав к косяку, а когда отпустил, она так и продолжала стоять навывтяжку, с поднятым подбородком, точно солдат... Ах, любить бы ей в эту дивную ночь, томиться от избытка своей молодости, вдыхать расширенными ноздрями запах теплой хвои, блеснуть в полутьме глазами, да, видно, не задалось!

Конюх спустился с крыльца и стал отвязывать лошадь.

— А, дурак! — увидел он за углом Митю. — Сейчас я тебя лошадейю затопчу.

Митя пригнулся к земле и, как зайчонок, с визгом бросился на крыльцо.

— Не трогайте его, — тихо сказала Аня. — Мы его любим.

Она пропустила Митю вперед и сама шагнула вслед за ним в темный провал сеней.

Утром я уехал.

Несколько предпраздничных дней ноября мне пришлось прожить в маленьком городке на Клязьме, куда Кандыбин часто приезжал за мукой и керосином. Зима в тот год была ранняя. Уже встала Клязьма: за окном ветер мотал железный фонарь на столбе, вся улица в его свете была охвачена какой-то оргией бесноватых теней, и я думал о том, какая, наверно, унылая, мглистая равнина с плешинами серого, обдутого ветрами льда, со свинцовыми полыньями лежит сейчас перед окнами лесной сторожки.

Оттого что приближались праздники, еще больше не хотелось оставаться здесь, в чужом городе, в этой холодной угарной комнате Дома колхозника, и я торопливо заканчивал дела, чтобы уехать к родным и близким людям.

Однажды я спустился в закусочную обедать, и у самого входа меня вдруг поразило что-то необыкновенно знакомое. Я еще раз оглядел ядовито-яркую вывеску «Холодные и горячие закуски, вина, водка», обледенелое крыль-

по, запорошенных снегом лошадей у коновязи и вдруг узнал рослую мохнатую кобылку Кандыбина.

Самого лесника я нашел в закуской. Не снимая полущубка, чуть хмельной и веселый, он доедал макароны, обильно политые маслом.

— Бери макароны, — посоветовал он мне. — Важнецкая еда.

Я стал расспрашивать об Ульяне, о детях, и, когда спросил про Аню, он вдруг смутился и потускнел.

— А она тут, в городе, — сказал он нехотя.

— Где же?

— В школе, учится на ткачиху.

— А конюх? — поинтересовался я.

— Конюх того... Кандыбин смутился еще больше и, потупясь, стал сковыривать вилкой застывшие на клеенке капли масла. — Не вышло с конюхом.

— Почему же?

— Да как тебе сказать? У нас и пропой был. А потом как-то поехали мы с Аней в город, заосенело уже, грачи стаями по стерне прыгают, паутинка летит. А она, Аня, значит, сидит в телеге и, вижу, плачет. Да пропади ты, думаю, пропадом. Черт с ним и с конюхом! Отвез ее в город, иди, говорю, на фабрику, определяйся, как можешь... Уж баба-то меня потом точила! Ну, чисто ржа! — Он помолчал и, опять пуская в ход вилку, прибавил: — Ты только не подумай, что он нами побрезговал. Мы сами не скотели.

И я понял причину его смущения. Ни деревенская родня, ни соседние лесники, должно быть, не верили, что он сам отказался от такого выгодного жениха.

«Лось — он лось», — вспомнились мне почему-то слова Кандыбина.

И, кажется, только тогда я окончательно поверил ему в том, что одно дело для него — дрова, швырок, а другое — живой лось.

После обеда он поехал к Ане в общежитие. Присев на край саней, я проводил его до фабричных корпусов. К нему уже вернулся прежний, немного бесшабашный вид, и, сбив на затылок шапку с торчащими в стороны ушами, он весело говорил мне:

— Приезжай летом, рыбу станем ловить. Летом у нас хорошо, комара не бывает. Сосна кругом, песок, мох. Этого он, гад, не любит...

Попрощавшись, я на ходу соскочил с саней. Кандыбин свернулся, махнул мне рукой, и через несколько шагов метель длинными седыми полосами затупевала его силуэт.

СНЕЖНЫЕ ПОЛЯ

Умер у себя в деревне Алексей Ефимович Бурагин, бакенщик...

Я долго шел со станции через сверкающие снега, загромождаемая от бокового ветра пахучим на морозе каракулевым воротником, и узкая тропа в снегах отзывалась на мои шаги каким-то пустотным звоном.

Вечер. Лежу, свесив голову, на жаркой печи, а внизу, в передней, где полно людей, но приличествующе случаю тихо, какой-то мужичок рассказывает:

— Я три дни в городе луком торговал, а нонче иду домой, вижу, под деревней в поле человек кружит. Ближе. Глядь — он. Ты, спрашиваю, Алексей Ефимыч, чего тут? Да зайцев, говорит, троплю. Я еще подивился: человек наемни пластом лежал, душа с телом прощалась, а нонче зайцев тропит. И, главное, ружья при нем нет. Пришел домой, рассказываю бабе про диковинную эту встречу, а та на меня бельма выкатила: ты, говорит, в уме ли? Алексей-то Ефимыч еще вчерась помер.

Кто-то протяжно вздыхает. Краснолицая массивная старуха в черном, которую все здесь называют кокой, крестится. И уже другой — маленький, прямой, как карандашик, с выпуклой грудью солдата — рассказывает свое:

— Мы с ним однолетки, до войны четырнадцатого года вместе призывались, вместе служили. Он писарем был. Бывало, какой приказ написать, он в миг. А уж придет к нему солдат за отпускными документами, он не куражится над ним, не волокитит, все оформит, как надо, и езжай себе, солдат, гости дома у отца-матери...

— Про Алексея Ефимыча худого слова не скажешь, — приговаривает кока.

И тотчас же в передней оживает одобрительный шумок: вздыхают, ворочаются, кивают головами:

— Не скажешь...

Передняя кажется мне очень темной, хотя под потоло-

ком горит сильная лампочка. Отчего это? Быть может, оттого, что весь день слепило меня оранжево-голубое сияние снегов, а может быть, так уж от века устроена деревенская крестьянская изба, что, сколько ни внеси туда света, все равно будет лежать за печкой, в углах, стелиться по полу эта мутная темь. Вот и холодильник как-то нелепо громоздится белой глыбой в углу под иконой божьей матери. Он выключен на зиму; стряпая к завтрашним поминкам, дочери и снохи то и дело кидаются в сени за мясом, за рыбой, за медом, и передняя выстужена, как сарай.

Мне становится неловко так долго занимать место на теплой печке, но коченеть внизу, засунув руки в рукава, тоже не хочется. Лучше уж поразмяться на воле. Я спускаюсь по лесенке, выбираю из груды старья за печкой большие подшитые валенки, надеваю латанный на спине полубок, шапку и выхожу на крыльцо.

Ветра нет уже. Но какой мертвой, навечно оцепеневшей от холода кажется ночь в этом безветрии. Ни вспышки огня, ни звука, ни движения в снежных полях под звездным небом.

Я по привычке отыскиваю на нем знакомые созвездия, а сам неотвязно думаю о том, кто лежит сейчас за этой стеной в темной горнице, и вечность светил в сравнении с ним кажется мне какой-то ранище обнаженной.

«Ночь смертные мя постиже неготова, мрачна же и безлунна...»

Иду подальше от темных окошек горницы, нарочно с нажимом ставлю ногу в неуклюжем валенке, чтобы хоть скрипом снега разогнать эту холодную тишину, а повернув в прогон, вдруг слышу из полей натужное урчание трактора. Огней его не видно за изволом, но я знаю, что он пробивается сюда, к деревне, разгребая на завтра дорогу от кладбища. Это единственный звук, который дает ощущение жизни в замороженной, осыпающейся острыми кристаллами ночи, и я иду к нему, глубоко и крепко увязая в смерзшихся сугробах. Наконец вижу, как свет фар двумя столбами уходит из-под извола в темное небо. Трактор неуклюже ворочается в глубоком снегу, откатывается назад, бьет тяжелым ножом в нагромождения снежных глыб, вспыхивающих под фарами голубыми искрами.

Становлюсь в полосу света, машу рукавицей. Тракторист, видно, рад человеку. Останавливает трактор, вылезает

из кабины. Закуриваем с ним, разглядываем при коротком свете спички друг друга. Я вижу потное мальчишеское лицо с широкими скулами и острым подбородком, глубокие глазницы, белобрысую прядку из-под шапки.

— Пробьешь сегодня до деревни?

— Пробью. На час работы осталось. Родственник будешь Елексею Ефимычу?

— Нет. Знакомый.

— У него много знакомых. Ходовой был старик. Завтра посмотришь — со всех деревень соберутся. Любили его у нас.

«Про Алексея Ефимыча худого слова не скажешь», — вспоминается мне.

— Садись, — кивает тракторист на свою машину. — Вдвоем время скорей побегит.

Лезем в кабину, в масляный запах машины, и меня долго валяет и дергает, пока наконец снежный навал перед ножом не раздается надвое, и трактор вылезает на торную деревенскую дорогу.

Идем в избу. Там уже накрыт стол к ужину, и кока во главе стола медленно, округло и плавно раздает из-под самовара чашки с дымящимся чаем. В углу, у стола и вроде бы как-то вдалеке от него, сидит вдова; невидимая тяжесть круто согнула ей плечи, и она не поднимает взгляда от колен, на которых лежат ее темные жилистые руки с искривленными на верхнем суставе пальцами.

Трактористу наливают полный, по самый край, стакан водки. Он кидает на пол у порога свою промасленную до глянца тужурку, шапку, скрутившийся в веревку шарф и, наколов на вилку большой лохматый груздь, пьет. И сразу глаза у него становятся белые и пустые. Он сам понимает, что охмелел, смущенно посмеивается, трясет головой, бормочет:

— Ничего. Это с устатку, с холоду... Мне только машину поставить...

Я провожаю его до трактора. Он, видимо, сразу трезвеет, как только берется за рычаги, трогает плавно, без рывка, и уверенно держится дороги.

Я долго смотрю ему вслед.

Ах, как длинна еще впереди ночь! Еще только ее начало, восьмой час, и время, которое надо прожить до утра, ощущается как тяжесть.

Утром я просыпаюсь поздно. Апельсиновый свет солн-

да горит в замороженном окне. Пахнет телянком, и сам он в углу, за кроватью, чмокая, сосет край моего одеяла. Вспоминаю, что я в соседской избе, куда определили меня на ночлег, и тороплюсь встать, пока никого нет. Упругая бодрость, легкость чувствуется во всем теле после глубокого долгого сна. Выхожу на крыльцо. Ясный ветреный день на грани февраля и марта уже сияет густой весенней синевой. Все в нем чисто и четко, как на гравюре, — заиндевелые ветви косматой березы, вороны у дымящейся проруби на пруду, заборы, антенны над крышами, зубцы хвойного леса по горизонту. На крыльце, в затишке, чувствуется, как солнце совсем по-весеннему пригревает щеку, а на карнизе матовая с ночного мороза сосулька уже сверкает на самом кончике алмазной каплей.

К избе напротив прислонена кумачовая крышка гроба с венком из бумажных цветов; траурно темнеют на чистом снегу еловые лапы. У избы стоят закутанные в платки ребятишки, в жуткой зачарованности смотрят на гробовую крышку, а по тропинкам в глубоком снегу идут, идут черные согбенные фигурки стариков и старух, сверстников покойного.

— Вот денек-то дал бог Алексею Ефимычу на прощанье, — говорит, останавливаясь возле меня, старик с завязанными красным платком ушами и долго вытирает слезящиеся от нестерпимого блеска снегов и солнца глаза.

Я тоже иду взглянуть в последний раз на Алексея Ефимовича. Снег ядрено хрустает под ногами, ветер колюче, сухо обжигает лицо. Обиваю голиком валенки и вхожу в переднюю. Здесь черно от траурных платков. Старик, вошедший со мной, снимает шапку, крестится в угол на холодильник и плечиком, плечиком пробивается в горницу. Вдова и кока в головах у покойного при появлении новых людей начинают голосить с причитом. Вижу иззелена-желтый блестящий лоб, длинные, как у всех покойников, веки, серую щеточку усов. И сколько не мертвого, а какого-то торжественного, строгого покоя в выражении его лица, в наклоне подбородка к высокой, застывшей на вдохе груди!

Говорили, что умер он тихо, благостно, — иного слова не подберешь, как «отошел», — завещав играть над его могилой вальс «На сопках Маньчжурии». Было у него и при жизни это спокойное, даже чуть ироническое отношение к смерти: — «У нее блага никому нет», — противоречащее всему его жизнелюбивому, деятельному характеру.

Откуда? Что же все-таки она такое, смерть,— ничто или великая тайна? Что увидел и узнал он, когда сказал: «Я умираю»? Почему он принял ее с таким покоем, с легкой усмешкой, тень которой еще лежит в уголках его сжатых губ? Ведь она не была для него избавлением от тягот жизни,— он жил со вкусом, радостно, светло и безбедно... Часто, уже в старости, говаривал он: «Вот бы мне лосиные ноги. Всю бы землю напоследок обежал. Так бы и стеганул по гарям, по болотам, по лесам». И странно было видеть в нем, человеке, органично живущем в природе, какое-то слегка удивленное внимание к ней. Он часами просиживал возле улья, дивясь непостижимо разумной работе пчел; или вдруг начинал рассказывать о заречных озерах, лесах и болотах с таким восторгом первооткрывателя, словно это был не вдоль и поперек исхоженный всеми местными рыбаками и охотниками край, а какое-то тридевятое царство, где не удивительно встретить и бабу-ягу в ступе. На берегу он жил в чистой, оклеенной светленькими обоями избушке под березами и тополями. Там стояли две кровати с марлевыми пологам, стол, батарейный приемник, этажерка с историческими романами, два стула, шкафчик с посудой. И когда фотоэлемент, зажигавший бакены с наступлением темноты и гасивший их с рассветом,— крохотная штучка, умещавшаяся на ладони,— в одно лето сделал ненужными и керосиновый фонарь, и долбленный осиновый ботник, и чистенькую избушку на берегу, и само дело, которому бакенщик отдал больше четверти века, он тоже не приуныл — ушел на пенсию, избушку выкупил у государства и летом жил в ней, как прежде.

Прочно был укреплен в жизни всякой радостью человека.

Стуча застывшими ногами, в переднюю входят музыканты. Все они в потертых демисезонных пальтишках, слегка хмельные и деловитые. Выпивают еще у наскоро накрытого стола, греют руки о стаканы с чаем, сетуют, что нет чистого спирта для труб, и садятся переписывать ноты вальса «На сопках Маньчжурии».

И вот в деревенскую тишину, в безмолвие заснеженных полей ударяет траурный звук труб и цимбал. Выносят гроб, ставят его на розвальни. Сильная гнедая лошадь легко трогает их, и вся процессия быстрым семенящим шагом, толпясь, устремляется вослед по расчищенной накануне дороге. Последний путь. Идет он ровным полем, через

две деревни, к некрупному березнячку, в котором приютилось сельское кладбище. Режущий ветер летит над полем, до глазурного блеска подметая снежную корку. У деревенских околиц музыканты опять ухают в трубы и цимбалы. Какая-то старушонка, вся сносимая ветром, печально смотрит на проезжающие розвальни; концы ее платка, подол длинной юбки, полы нанковой поддевички — все стремится по ветру, и кажется, что ее, такую легонькую, сухонькую, самое вот-вот понесет по сверкающему полю.

Укрытое от ветра некрутым изволоком кладбище погружено в холодное оцепенение. Пряменькие, как свечки, стоят заиндевелые березы, и на их коричневых веточках иней кажется фиолетовым пламенем. В чистом снегу безобразным рыжим пятном выделяется отверстая могила. Заранее слышу стук о крышку гроба этих смерзшихся комьев суглинка, чувствую, какой пустынной тоской отзовется он во мне, но не отхожу и вот уже наяву слышу и чувствую и этот звук, и эту тоску.

— Ой, папочка, как тяжело на тебя навалили! — рыдает дочь покойного, обвисая на поддерживающих ее руках.

И какой же равнодушной, величавой холодностью обьют этот морозный день! Как невозмутима ясность его солнца, неба, снегов, хвойных далей. «Полноте, — как бы говорит он смятенным горем людям, — посмотрите кругом, все осталось, как было, и пребудет вечно».

Не оборачиваясь, быстрой деловитой походкой уходят в село к автобусной остановке музыканты. Самое тяжелое позади. Уже с гомоном, с толкотней все рассаживаются по стянувшимся к кладбищу саням и рысцей — шевелись, резва-а-ая! — катят в деревню за поминальный стол.

Народу невместимо много для тесной передней. Родственники, друзья, соседи, сослуживцы-водники... Сижущий стиснутый с обеих сторон плечами и — хочешь не хочешь — слушаю сетования колхозного бригадира, который кричит мне в самое ухо:

— Навозили мне вместо минеральных удобрений камней на поле, так и лежат кучей. Хоть камнедробильный завод ставь. Можно такое делать?

И чем больше он пьет, тем решительней наступает на меня:

— Лен у нас спокон веку не родится, а нас каждый год заставляют его сеять. Можно такое делать?

День быстро гаснет. Окно сначала розовеет, потом за-

волакивается сиреневой мглой и вскоре становится иззелена-синим, почти черным. Поднимаются из-за стола водники. Мне по пути с ними. Рассаживаемся в санях на морозно пахнущем сене теснее друг к другу, ноги мои в городских ботиночках спасительно придавливает бабий зад, и трогаем, скрипя гужами, повизгивая полозьями. Ветра опять нет к ночи. Опять в полях такая тишина, что каждый звук отчетлив, сух и чист, словно он тут же схватывается в звонкую льдинку. Но в санях, в сене, в овчине, в груди наших тел тепло и уютно. И уже без леденящего отчаяния, спокойно и грустно думается о том, что где-то за изволоком березки-свечечки стоят над суглинистым бугром, что вечные звезды с одинаковым равнодушием смотрят и на него и на наш угретый живым теплом возок, пробирающийся по снежному полю.

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

В прошлом году было грибное лето. И до поздней осени в березовом лесу с можжевельным подлеском держались крутолобые белые грибы.

Лес уже сквозил. Под чистым, словно отвердевшим небом летела паутина. Поляны были полны солнца.

Я ходил, расшвыривая листья палкой, искал грибы, а к вечеру вернулся на разъезд, сел под откосом, на углеве, и стал ждать поезда.

Ко мне подошел старик в обвислых портках, заглянул в корзину.

— Хороший гриб,— сказал он.— Ровный гриб, Крепкий гриб. Где брал? Стой! Не говори. Знаю, я по области первый грибовар был. Несут ко мне, бывало, гриб, а я уж знаю: этот в Пронькиных борах взят, этот — на Машкином верху, этот — у Долгой лужи, этот — за Лыковой гривой. Все вижу — не криво насажен.

— До чего же некоторые трепаться любят,— сказал сидевший повыше меня парень в маленькой кепочке.

Он, видимо, ехал к вечерней смене на завод, о чем можно было догадаться по чрезвычайной замасленности этой рабочей кепочки.

— Стой! — вспыхнул старик. — Объясни, какая такая

трепотня? Ты меня знаешь? Я — Лукич. Ага! Съел? Бывало, гриб еще не тронется, а председатель кооперации Иван Потапыч, полковник Набойко, уже у меня в горнице. Бух из галифе на стол литр: «Будешь, Лукич, в этом сезоне варить?» Я ему: «Стой!» Выпиваем литр. Иван Потапыч делает своему шоферу Ванюше глазом вот эдак, и Ванюша бух на стол еще литр.

— И до чего же их много развелось, стариков этих, которые трепаться любят, — опять сказал парень. — Их, я считаю, надо собирать в одно место, кормить, поить, газетами снабжать, но к нормальным занятым людям не подпускать ни под каким видом.

— А ты старостью его не попрекай. Ты, может, к ней, к старости-то, еще чудней придешь, — перебила парня большая краснолицая женщина с бидонами и корзинами, завязанными тряпицами.

— Врет уж больно, — вяло отозвался парень. — Я да я... Не уважаю.

— Вру?! — изумился старик. — Я же Лукич! Теперешний председатель кооперации рукава закатает, грудь распахнет, сапоги наденет и ну горланить. А гриба в магазинах нет. Гриб, он сапог не боится. А Иван Потапыч, полковник Набойко...

— Ну, уж так и полковник? — усомнился парень.

— Полковник в отставке и при двенадцати орденах, — не сплеховал старик. — Он, значит, хоть рукавов не закатывал, а план по грибам у него всегда в круглых процентах был. Потому что полковник Набойко понимал Лукича. Выпьем мы с ним второй литр. «Будешь, — спрашивает, — в этом сезоне варить?» Я только на старуху свою гляну: как, мол? А она у меня махонькая, сухонькая, как веничек, винцо тоже попивает. Но силы семижилной — первеющая моя помощница. Она мне знак дает: соглашайся, дескать, чего уж там, выдюжим. По триста процентов выламывали мы с ней. Вот как!

— Нет, ну совершенно не могу я этого старика слушать, — сказал парень и пересел повыше.

— Слушай не слушай, а уж таковские мы, — ухмыльнулся старик. — Не криво насажены.

На разъезд пришел гармонист, за ним — девушки в нарядных платьях, коротких носочках и туфлях на толстых каблуках. Ни на кого не обращая внимания, они встали в кружок и ударили «елецкого». Потоптались не-

много, попели визгливыми голосами, а потом вдруг гармонист вывел странную и неизвестную мне песню о том, как «на шикарном на третьем троллейбусе кондукторша Маша была», как полюбила она молодого инженера в очках, он все время только и читал книгу и «в жизни билета не брал». Слова были самые примитивные, но грустная, исполненная доброго сострадания к несчастной Маше мелодия необыкновенно соответствовала настроению этого осеннего дня, и казалось, что, слушая ее, лесу хорошо ронять свои блеклые листья, солнцу хорошо греть последним теплом своим землю и небу хорошо сиять непорочной чистотой своей в недостигаемой выси.

— Все они, мужчины, такие, — вздохнула женщина с бидонами и корзинами. — Им бы только свой интерес соблюсти. То он книжку читает, то он рыбу удит. Я ему говорю: «Хоть бы речка пересохла, что ли». А он говорит: «В кадку воды налью и буду удить».

— А что ж ему? Круглый день возле тебя сидеть? — фыркнул сверху парень. — Это он, пожалуй, соскучится.

Женщина неторопливо развернула к нему свой мощный торс; мужской пиджак на ее плечах натянулся.

— Откуда ж ты такой тут взялся? — с удивлением спросила она.

— Я-то? Недалшний, — усмехнулся парень.

— Трудно, я гляжу, тебе жить.

— Это почему же?

— С людьми не умеешь ладить. Ты, дедушко, — обратилась она к старику, — не давай внимания его словам, рассказывай дальше. Не варишь теперь грибы-то?

— Не нужен, видно, гриб стал, — вздохнул старик.

— Ну, а где же твой грибной полковник? — спросил парень. — Наверно, завалил план с таким войском, как ты, и поперли его по собственному желанию.

— Пустые слова, — сказал старик. — Стой! Я сейчас объясню. Он был одинокий человек, войной обитый, все одно что тополь грозой.

— Ох-хо-хо, — вздохнула женщина, — жизнь наша...

— Стой! В эти места он с тоски пришел. Посмотрел, что родной дом порушен, жены, детишков следа нет, и пошел по земле один, как перст. «У вас, — говорит, — места древние, леса, реки дивные, люди приветливые. Мне понравилось, я и осел». Ну, осел, живет и, между прочим, как человек еще не старый, интересуется обзавестись новым

семейством. Первый раз это дело у него не задалось. Попалась ему девка молодая, неудобная...

— Это как же — неудобная? — спросил парень.

— А так и неудобная. Накатит на нее: ходит неприбранная, нечесанная, сядет, молчит, ногой качает, ничего, кроме халвы, не ест...

— Ох, страсти, — ахнула женщина.

— Года не прожили — разошлись. После этого он долго бобылил. Обождешься на молоке, на воду дуть будешь. Однако ежели человек хороший, счастье его в свой срок достанет. Тут уж как ни крути, а ежели человек хороший, то непременно либо он по билету выиграет, либо сын его на врача выучился и в шляпе ходит, либо дочь в Москве живет, и он к ней в гости катает.

— До чего же все-таки ты, старик, канительный, — вздохнул парень. — И рассказывать-то толком не можешь, все тебя куда-то в сторону заносит.

— Ничего подобного, по самой середке гребу, — невозмутимо отозвался старик. — Жила в нашем селе, — ткнул он рукой в сторону длинного ряда крыш за откосом, — учительница Анна Афанасьевна. С собой невидненькая и уже седенькая на височках, а такая веселая да хохотливая. Бывало, в тугие-то годы после войны заваривает морковный чай и все: «Ха-ха-ха, вот ведь, Лукич, и чай-то у меня морковный и сахару-то нет, совсем угостить тебя нечем». И опять: «Ха-ха-ха». А, между прочим, взяла из детского дома сиротку и пестовала ее, как родное дитя. Когда у нас Иван Потапыч, полковник Набойко, появился, эта самая сиротка уж девушкой была и в городе в медицинском училище училась. Чернявая, румяная — прямо яблочко анисовое, до чего хорошая девушка. Приезжала по воскресеньям домой. Идет вот так же осенью Иван Потапыч нашими задами, вышагивает, как журавль — высокий был, голенастый, — а она навстречу ему. И несет целый пук всяких листиков. «Зачем несешь?» А та отвечает: «Для гербария...» Знаешь ты такое слово, перец? — неожиданно спросил старик парня.

— Ну, ты не больно... Рассказывай знай.

— Стой, расскажу. «А кто тебя этому учил?» — спрашивает Иван Потапыч. — «А мы, — говорит, — этим с папой еще на Украине занимались, когда я маленькой была». — «А где твой папа?» — «Не знаю». — «А как тебя звать?» — «Катей». — «А маму?» — «Ту маму Верой звали, а

эту Анной». Тут полковник Набойко даже на колени перед ней встал. «Прости, — говорит, — что поверил я, будто ты погибла, Катюша, и не искал тебя. Ведь ты моя дочка...»

— Ахти, — прошептала женщина и вытерла глаза.

— Стой! — сказал старик. — После этого Иван Потапыч и учительница порешили, что дочку им не делить, поженились и поехали в Сибирь.

— Зачем же в Сибирь-то? Нешто тут счастьем тесно? — спросила женщина.

— А туда Катюшу после учебы послали. Вот снялись они и поехали на новом месте огород городить.

— И все врёт, — заключил парень. — Ну разве так бывает в жизни, чтобы люди так просто друг друга на задах нашли? Нет, не могу я этого старика слушать.

И он подвинулся еще дальше, за гребень откоса.

— Ничего удивительного, — возразила женщина. — Человек войной корежен, всякими бедами трачен, он должен свое счастье найти.

— А то как же! — уверенно сказал старик.

Вдали зашумел по лесам поезд. Он набежал на разъезд в железном грохоте, в шипенье пара, в мелькающем блеске стекол, отразивших низкое солнце. Пока девушки суматошно залезали на высокие подножки вагона, гармонист все наигрывал вполголоса «елецкого», дожидаясь, когда поезд тронется, чтобы лихо вскочить на ходу. Угнездилась в тамбуре и женщина со своими бидонами и корзинами. Парень, посасывая окурочек, занял плечами всю дверь. Один только старик, оказалось, никуда не ехал. Он еще раз заглянул в мою корзинку и сказал:

— Хороший гриб, ровный, крепкий...

Паровоз загудел, и мы поехали.

ДЕСЯТОК КРУТЫХ ЯИЦ

Эту историю рассказал мне цирковой клоун Жакони, старый добрый толстяк в сандалиях на босу ногу, длинной рубашке под пояс и штанах с огромными пузырями на коленках. Все у него было огромных размеров. Живот. Голова. Нос. Брови. Он много ел, громко смеялся, а хрип его записывали на пленку и транслировали во время обеда

по всему санаторию, дабы усовестить добрейшего Демьяна Данилыча.

— Да-а-а, — самодовольно сказал он, вслушиваясь в сложнейшие рулады своего храпа. — Бывало, львы дрожали в своих клетках, как болонки, когда я ложился за кулисами вздремнуть на куче опилок.

Мы сидели с ним за одним столом. Однажды нам подали на завтрак по два крутых яйца, обыкновенных куриных яйца, неспособных, казалось, вызвать в ком бы то ни было особой веселости. Но Демьян Данилыч, взяв в свою ручищу этот сгусточек белка, вдруг выпустил из себя серию таких громогласных «ха-ха-ха-хо-хо-ох-ха-ха», что официантка, вздрогнув, уронила на пол десертную ложечку.

— Демьян Данилыч, вы чему?

— Ха-ха-ха-ох-ох-ох-ха-ха... Зарежьте — не скажу. Лучше не спрашивайте... Ох-ха-ха... Этого я вам никогда не скажу... Ох...

Он вытер платком слезы и принялся облупливать яичко, по временам икая от смеха, которому, казалось, было тесно в его рубенсовском чреве.

Море в то утро, как синий плюш, было все в мелких серебристых волнах. Мягкие, теплые, они катились вдоль берега, омывая наши ноги, а мы лежали с Демьяном Данилычем на горячей гальке и в блаженном полусне щурились на сверкающее море.

— Хванчкара, виноград, солнце, пенсия... Скажите мне, как это называется? — сонно бормотал Демьян Данилыч. — Не люблю я себя на отдыхе, нет, не люблю. Потребленчество какое-то, ей-богу. Всю жизнь я был весел и теперь получаю за это пенсию... Абсурд! Вы думаете, я был весел по профессии? О, нет! Смех был моей потребностью. Я не только смешил людей, я сам смеялся на арене и в жизни. Веселость должна быть нормальным состоянием человеческого духа. И к этому мы придем в наш век, вот увидите! Человек станет в меру работать, хорошо и вовремя питаться, мыться каждый день в ванне, заниматься спортом и много-много смеяться. Тогда он будет здоров телом, ясен в мыслях, прост в желаниях и добросердечен в отношении к людям. Смех — это солнце в крови. Великий мастер смеха Марк Твен говорил, что морщины на лице человека должны быть только следами былых улыбок. Я много смеялся, у меня много морщин, но я проживу еще очень долго. Я уверен в этом.

— А чему вы смеялись сегодня за завтраком? — спросил я. — Может, все-таки расскажете?

— Черт с вами. Не слишком-то приятно рассказывать о том, как ты попал в смешное положение, но мне будет приятно, если вы тоже улыбнетесь хотя бы.

Этот пустяковый казус вышел со мной вскоре после гражданской войны, году в двадцать восьмом или девятом, точно не помню. Попал я как-то с цирком Шапито в один маленький городишко.

Приехали мы туда пароходом. Помню, стоял я на палубе, возле штурманской рубки, смотрел на город и все любовался стройной, беленькой, как невеста в кружевах, церковкой. Люблю я такие русские городки над речкой. Мечешься, мечешься по свету, шумишь, хохочешь, буянишь порой с друзьями — и вдруг попадаешь в эдакий бабушкин рай, где улицы сплошь зарастают мягкой гусиной травой и стоит такая тишина, что ночью можно проснуться от стука упавшего в саду яблока. Хорошо! В таких случаях я перво-наперво обзавожусь удочкой, ржавой банкой для червей и каждое утро устремляюсь к реке. Через неделю такой жизни я, как аккумулятор, заряжен на целый год энергией, бодростью и весельем.

В этом городе я проделал то же самое. Вырезал в прибрежном орешнике удочку и стал встречать утренние зори на речке. Нет, рыба меня не интересовала. Я просто наслаждался праздностью, а удочка служила ее оправданием, громоотводом любопытства, которое, естественно, должен был бы вызывать вид здорового детинушки, часами сидевшего без дела на берегу. Я дышал, пил тинный запах реки, валялся на траве, глазел в небо и был счастлив...

Всегда в такие вылазки я прихватывал с собой прочный завтрак. Взгляните на меня, и вы поймете, что он обязан был отличаться прочностью — ведь я к тому же был молод, здоров и чертовски подвижен.

Однажды у меня не нашлось ничего, кроме десятка яиц, которые я купил у хозяйки дома, где квартировал. Я сварил их в котелке над костром. Ох, это было наслаждением — сесть после купанья у дымящегося котелка, достать из него в меру остуженное яичко, тюкнуть его о краешек, благоговейно облупить и, посолив, отправить в рот!

За этим-то священнодействием и застали меня двое

мальчишек — два таких, знаете ли, дикорастущих гения рыбной ловли с кривыми удочками.

Они внимательно и долго созерцали, глотая слюни, как я очищал первое яйцо, потом один из них издевательски заметил:

— Дяденька, а слабо вам целиком яйцо заглотать.

— Заглотает, — уверенно сказал другой, видимо со-размерив яйцо с моей необъятной утробой.

Я цыкнул на них, и они ретировались шага на два назад.

— А я заглотаю, — угрюмо сказал оттуда первый, и второй тотчас подтвердил, что это для них дело плевое.

— Дай-ка нам по яичку, мы тебе покажем, — добавил он таким тоном снисхождения к моему невежеству, что я почувствовал себя уязвленным.

Ах, думаю, черти полосатые, неуж проглотят! И дал им по яйцу. Они преспокойно очистили, сунули в свои цыплячьи ротешки и хоп! — готово.

— Ну, а теперь, — говорят, — вы.

А во мне, видно, тоже бродила изрядная порция ребячьего азарта.

Сунул я в глотку яйцо л, конечно, изрыгнул его на потеху мальчишкам со слюной и соплями прямо в золу.

Тут уж во мне было задето профессиональное самолюбие. Я умел делать множество очень сложных фокусов — из носа эти самые яйца вынимал, толоч их в шапке, а потом в совершенно сухом виде надевал ее кому-нибудь из публики на голову — и вот осрамился.

— А ну, говорю, — показывай, как это делается.

— Да очень просто, дяденька.

Взяли они еще по яйцу — хоп! И опять я ничего особенного не заметил, никакого подвоха. Чистая работа. Нет, думаю, тут все-таки есть какой-то секрет.

— Стой! — говорю. — Теперь глотай кто-нибудь один, а я смотреть буду.

Проследил, как мальчишка еще два яйца проглотил, попробовал сам и получил тот же эффект с той лишь разницей, что яйцо у меня в глотке раскрошилось и брызнуло изо рта в разные стороны фонтаном крошек.

— Ну, — говорю, — деникинцы, если вы не расскажете, как это делается, я вам глаза на затылок переставлю.

— Расскажем, дяденька.

Взяли они по останному яйчку, очистили.

— Смотрите, — говорят.

Хоп! — только я и видел эти яички.

— Ладно, — говорю им уже ласково. — Я вам трешницу дам, только расскажите, в чем тут секрет.

— Да ни в чем, дяденька. Просто глотаем — и все тут.

Посмотрел я на них — рожи серьезные, даже сострадательные, а глаза — н-ну, бедовые!

— Сыты, архаровцы?

— У, как сыты, дяденька! Спасибо!

И тут я захохотал.

Представляете? Блещущий летний день во всей своей красе, ветер с реки, одуванчиковый луг и на нем — мы втроем катаемся в приступе неудержимого хохота...

С тех пор я не могу равнодушно видеть крутые яички. Я вспоминаю и мальчишек, и этот день, и луг... И мне хочется смеяться так же неудержимо и весело.

Вот, мой милый. Не всегда грустны воспоминания стариков о прошедшей молодости, как это принято считать.

Демьян Данилыч откинулся на спину, закрыл глаза и стал меланхолично кидать камешки, падавшие в море с тихим бульканьем.

Над нами горело белое южное солнце.

МОРЕ

И в Москве, и в Серпухове, и в Туле шел дождь. За окном кружились раскисшие поля, взлетали и падали унизанные бисером капель провода, и вдаль, к мутному горизонту, тянулись, блестя, словно накатанные рельсы, залитые водой колеи проселков. Наступила осень, сырая и грязная. Хорошо было убегать от нее на юг, к морю, и, наверно, поэтому у всех пассажиров сочинского поезда было такое настроение, словно они, сговорившись, остроумно и безобидно надували кого-то.

Девушка, которую в Москве провожали шумные, хохочущие, а потом дружно всплакнувшие подруги, долго болела, была бледна, с тонкой слабенькой шеей, но и она, захваченная этим настроением, иногда улыбалась чему-то, сидя в углу, у окна, и кутая плечи в теплую кофту.

На третий день пути она проснулась очень рано. Поезд стоял. Широкая клубящаяся полоса солнечного света, проникнув в щель между шторами, косо рассекала полумрак купе; из коридора чуть слышно доносились прозрачные звуки радиопозывных Москвы. Девушка медленно и вяло поднялась, взяла полотенце, отодвинула тяжелую дверь и вдруг тихо вскрикнула, пронзенная каким-то неведомым доселе чувством. Она увидела море. Она ощутила его дыхание — йодистый ветер, залетавший в окно, — и для нее перестало существовать время. Голубовато-зеленая даль, вся в стеклянном блеске широких и плавных волн, смутила ее своей космической беспредельностью; о чем-то вечном и тайном рокотал меланхоличный утренний прибой, и самая обычная жизнь в виде белого вокзальчика, тощей козы на привязи, босоногой девчонки в полосатой тельняшке казалась ей от близости с морем какой-то неизведанной и странной.

Дрожащий отблеск лежал на ее руках, на помятой после сна пижаме. Он был как ласка, как доброе приветствие, как обещание здоровья и счастья, и, целуя свои руки, облитые этим чистым светом моря, она опять улыбалась сквозь слезы.

По утрам море неторопливо наваливало на берег мелкие прозрачные волны. Они бесшумно лизали пеструю гальку, заставляя ее слюдянисто блестеть в сизоватом свете южного утра, осененного гигантской тенью гор.

Девушка любила этот утренний час, когда воздух был свеж, как холодный нарзан, и спускалась к морю по широкой белой лестнице, нисходящей от санатория. На берегу она сбрасывала халатик и входила в воду. Потом ложилась на топчан, а ветер, густой и мягкий, гладил ей кожу, нагонял дремоту, словно гипнотизер. Она поворачивалась к солнцу то спиной, то грудью и постепенно начинала чувствовать, что дух покидает ее, мысли растворяются и остается только тело, пьющее жар солнца, обласканное ветром, пропитанное крепкой морской солью.

Она полюбила южный рынок. Всем — гомоном, запахом, цветом — он отличался от московского. Когда она впервые очутилась среди россыпей полосатых арбузов, янтарных

груш, смуглых персиков, алых помидоров, восковато-румяных яблок, прозрачного, налитого жидким солнцем винограда, глаза у нее по-детски вспыхнули любопытством и страстью.

Она купила огромную тяжелую кисть винограда сорта «чаус» и, чувствуя на ладони ее соблазнительную тяжесть, не могла удержаться, стала отрывать и есть упругие, круглые ягоды, заливавшие рот густым соком.

Потом она попробовала нежно-сладкой хванчары, которую наливала прямо из бочки толстая флегматичная армянка, и долго еще, как зачарованная, толкалась среди этой яркой пестроты, гортанных выкриков кавказского люда, весело торговалась с продавцами, пока наконец солнце, горевшее в небе, как магний, не погнало ее опять к морю.

По вечерам на спортивной площадке санатория играли в волейбол. Сидя на лавочке под большим платаном, трещащим на ветру своими жесткими листьями, девушка издали следила за игрой, волновалась, досадовала и радовалась, то хлопая в ладоши, то нервно ударяя кулачком по коленке.

Был теплый влажный вечер, полный фиолетового сумрака и предгрозовой тревоги.

Внезапно на листву платана рухнул дождь. Без молний, без треска он лил, обильный и теплый, непохожий на летние дожди среднерусской полосы. И пахло от него незнакомо — должно быть, эвкалиптом и лавром.

Девушка укрылась в ажурной беседке, куда залетали тяжелые, как пули, капли. Воздух был густ и черен, как тушь, но море все равно вспыхивало на гребнях волн светом стальной окалины и казалось очень холодным. Она стояла, прикусив листок лавра, вдыхая пахучую пряную горечь, и голова у нее покруживалась от этого запаха, от предчувствия чего-то большого и необыкновенного, от счастья.

Когда дождь кончился, она вышла за ворота и побрела по улицам незнамо куда. Казалось, что в этом большом городе почти нет домов. Они были скрыты за деревьями и только кое-где выступали из темных кущ белыми пятнами. Звучно шелкали по асфальту капли.

Она заплуталась, села на какую-то лавочку и просидела до рассвета. Он тянулся бесконечно долго; в нем совсем не было золотых и розовых тонов, зато преобладали серый, голубой и синий, а туман, которым курился мокрый асфальт, дополнял подбор красок фиалковой мглой.

То ли потому, что она не спала всю ночь, или надышалась лекарственными испарениями южной зелени, у нее болела голова. Она встала и пошла наугад по длинной улице, туда, где, ей казалось, должно быть море. Улица вывела ее к знакомым местам, к рынку. Он был еще пуст. За решетчатым забором ходила женщина в брезентовом фартуке, в резиновых сапогах и, влажно ширкая метлой, гнала перед собой вал мусора.

Вернувшись в санаторий, девушка нырнула под свистяще-скользящую, прохладную простыню и тотчас заснула. Несколько раз ее будили, справляясь о здоровье, а когда она наконец проснулась, солнце, клонясь к западу, желто светило сквозь легкие вогнутые ветром шторы, и в комнату доносились гулкие удары по мячу.

— Спокойно. Беру, — слышался чей-то голос.

Ей хотелось тотчас же выбежать туда, на простор, к свету, к движению, но, еще не веря в свои силы, она продолжала лежать с закрытыми глазами.

— Спокойно. Беру, — опять послышалось за окном.

И она уже не могла оставаться в комнате. Вскочила с постели, набросила платье, махнула расческой по волосам и выбежала в парк — весь в ярких движущихся пятнах тени и света.

Потом, напрыгавшись, насмеявшись, еще в азарте игры, разгоряченная и счастливая, она сбежала по лестнице к морю. Прыгая по ступеням, она не чувствовала своего веса, ей было легко, словно кисейные стрекозы крылья поддерживали ее в неосязаемо нежном воздухе, и казалось, что еще одно усилие, согласный порыв души и тела — и она, раскинув руки, плавно полетит над морем. Внизу она села на мокрую гальку в полосе прибоя, положила голову на колени и вся отдалась ласке теплых бархатистых волн.

Море ласкало своей нежной голубизной ее глаза, йодистый ветер гладил волосы, и невысокие длинные волны окутывали ступни ног, щекоча их высыхающей пеной.

Однажды я пересек несколько областей, чтобы побывать в городке, издавна манившем меня своей стариной.

Когда я вышел из приземистого каменного вокзальчика, по оттаявшему перрону гулял огненно-рыжий петух, далеко расшвыривая лапами шлак. Стрелочница в длинном тулупе махала на него фонарем и смеялась. Был март, самый его конец.

Отряхиваясь от капли, попавшей на шапку, громко топая, чувствуя тот прилив светлого настроения, который всегда бывает в такие синие мартовские дни, вошел я в гостиницу.

В наших маленьких городках еще много старых неустроенных гостиниц с темными коридорами, большими, сплошь заставленными железными койками комнатами, угарными печами и вечным отсутствием свободных мест. Именно такой оказалась и эта. На страже ее благоухающих карболкой недр за фанерной переборкой с окошечком сидела женщина в сером пуховом платке. Из всех сил нажимая на карандаш, она писала под копирку квитанцию.

Я деликатно постучал в окошечко.

Ах, какие глаза подняла на меня от своих квитанций эта женщина! Огромные выпуклые глаза южанки, с черными зрачками и голубоватым блеском белков, который, казалось, не гаснет даже в темноте.

— Ах, гражданин, как вы меня напугали! — закричала она. — Разве обязательно нужно стучать у меня над самым ухом, словно где-то загорелось помещение!

Я попросил у нее номер.

— Им нужен номер! — саркастически воскликнула она. — Нет, я все же скоро уйду с этой нервной работы. Если бы вы спросили у меня койку, я все равно не могла бы ее сделать. У нас уже два месяца проживают артисты. А послушали бы вы, как они содомятся из того, что семейные у них проживают вместе с несемейными. Будто я имею на всех отдельные номера. Дикий бред — эта нервная работа. Вы давно бы уже бросили такую работу или стали бы с нее вполне ненормальный.

— Может, кто-нибудь уедет к вечеру? — предположил я.

— Ай, гражданин, — сморщилась она, как от зубной боли, — кто может съехать! Уже ни поезда, ни автобуса не осталось на сегодня. Вы лучше идите вниз покушать и выпить, а когда придет их главный, я спрошу, может, он послал своего артиста выступать в колхоз. Тогда вы ляжете временно на его койку, если он не семейный.

— Ну, а если семейный? — поинтересовался я.

— Ай, гражданин, вы же не глупый, вы же понимаете, что тогда это вовсе неудобно.

Я оставил у нее свой чемоданчик и спустился в ресторан.

Там, как водится, во всю стену кадмиевой мякотью разрезанного арбуза пылал натюрморт. При взгляде на него челюсти сводила кислая судорога. Официантка в накрахмаленном кружевном кокошнике, не подав меню, нацелилась огрызком карандаша в блокнотик и быстро, заученно проговорила:

— Из первых есть борщ, суп-рассольник, из вторых — рагу с вермишелью, свинина отварная, компот, чай...

Выпив тепленького чаю, в который была сунута щербатая алюминиевая ложка, едва не всплывавшая в стакане от своей легкости, я долго катал по клеенке хлебный шарик. Эти маленькие невзгоды только забавляли меня. «Хорошо бы поселиться в этом городке летом, — думал я, — просыпаться на рассвете, когда из огородов пахнет помидорной ботвой и укропом, купаться в реке, покупать на рынке молоко, ягоды, свежую рыбу...»

Из ресторана я вышел в еще более светлом настроении. Даже как-то козлячье подпрыгивалось на ходу от его избытка.

А на улице густо вечерело. Освещенное заходящим солнцем небо из лимонно-желтого на западе к зениту переходило в зеленое, на востоке было дымчато-синим, почти фиолетовым, и чувствовалось, как оттуда со скоростью земного вращения летела на город ночь.

Я опять поднялся в гостиницу.

— Ай, гражданин! — закричала дежурная. — Разве обязательно нужно так шибко стучать дверью? Разве у себя дома вы обязательно так шибко стучите дверью, чтобы напугать вашу жену? И мне жаль вас, гражданин. Мне вас жаль, потому что никакого артиста не послали в колхоз, и все будут спать на своих койках. Я даже не могу предложить вам этот диван в коридоре. Пусть бы на нем

спала я — таки нет! На нем спит такой же приезжий гражданин. Но вы не унывайте, я сейчас позову вам Георгия Семеновича.

Она вылезла из своего фанерного закутка, ушла куда-то по коридору и вернулась с маленьким, в чистеньких голубых седирах старичком, одетым тоже чистенько и аккуратно в высокие белые валенки, суконные брюки и вельветовую толстовку под пояс.

— Иркутов. Звучная, черт возьми, фамилия, не правда ли? — засмеялся он уже слегка дребезжащим смешком, протягивая мне руку. — Что, ни сбывица, ни кривища, ни крова, ни пристанища? Прошу в таком случае ко мне. Чем богат, как говорится.

Был он, если так можно сказать, уютный старичок и очень понравился мне спокойным достоинством своим и непринужденностью обращения.

— Не стесню я вас?

— Это уж оставьте. Ни к чему всякие церемонии, — досадливо сказал он. — И, пожалуйста, не бойтесь, что попадете к чеховскому печенегу. Я хоть и говорливый старикашка, но меру знаю. Так идете?

— Иду, — согласился я.

— Вы будете благодарить меня, гражданин, — сказала дежурная.

Она вынесла из закутка Георгию Семеновичу длиннополую шубу с потертым воротником черного каракуля, такую же потертую шапку колпаком, и мы вышли на улицу.

Последний свет догорал на золоченом кресте древнего храма, высоко вознесенном над городом. Луковидные маковки церквей — зеленые, голубые в серебряных звездах, проржавевшие до сквозных дыр, удлиненные и приплюснутые, с крестами и без крестов — четко вырисовывались на стылом небе по всему кругу горизонта.

— Ночевать вам придется в церкви. Антураж самый экзотический, — посмеиваясь, говорил Георгий Семенович. — Я пенсионер, но работаю научным сотрудником музея, и квартира моя оборудована в церковном притворе. Раньше холод там был анафемский, но потом я сложил печь с боровами собственной конструкции, заплатил пожарникам какой-то пштраф, но борова все-таки не сломал и теперь живу в тепле.

Мы шли по длинной, прямой улице, лучом исходящей от центра, окольцованного, как и во всех старых русских

городах, торговыми рядами. Стоило лишь немного напрячь воображение, чтобы представить, как сто лет назад сбивались на этой площади возы, парил на снегу свежий навозец, пахло морозным сеном, гужами, овчинами, трезвонили по всей округе колокола, гнусавили на папертях нищие...

— Вы не смогли бы завтра показать мне город? — спросил я Георгия Семеновича. — Вы, наверно, старожил и знаток его?

— Знаток поневоле, а старожил — не сказал бы. Я не люблю такие города. Старина, конечно, иное дело, но эти маленькие окошечки, угарные печи, выгребные уборные... Обставлять жизнь человеческую такими атрибутами — кощунственно. Я в прошлом архитектор и думал, что делом моей жизни станет создание новых городов, но обстоятельства сложились так, что я сам доживаю век здесь, в церковном притворе, возле уродливой самодельной печи.

— Об этих обстоятельствах, пожалуй, можно догадаться, — сказал я.

— Нетрудно, — согласился Георгий Семенович. — Поселиться мне было разрешено только здесь и нигде больше. А до того я пятнадцать лет, изживая свой талант, свои знания, копал в болотах канавы, валил лес, был истопником в бане и в общем-то из человека здорового, сильного, увлеченного превращался в полубольного замухрышку, в замкнутого и подозрительного неврастеника, в сомневающегося и растерянного изгоя. И уж не знаю, что было мучительнее: невзгоды плоти, постоянное унижение твоего человеческого достоинства или всякие сомнения. Стоило только телу насытиться и согреться, так мысль сразу же раскрепощалась от суетной заботы о жратве и уходила к вопросам куда более сложным. Я спрашивал себя: «А может быть, я на самом деле виноват и только по своей политической ограниченности не сознаю этой вины? Может быть, я, действительно, посягнул на святыню народа?» Дело-то, конечно, как я теперь понимаю, было плевое, но по тем временам могло сойти за преступление. Ставили мы тогда в одном городе монумент. Ну, как обычно — сапоги, долгополая шинель, рука за отворотом. И вот инженер-прораб похлопал эдак ладонью по пьедесталу и сказал: «Символ эпохи. Под миллион штукча-то стоит». А мне тогда вдруг вспомнилось, как мы недавно

ездили компанией за грибами и остановились погреться в какой-то мимоезжей деревушке. Вошли в избу — стол с прогнившей крышкой, ком грязного тряпья на лавке, шесть чумазных погодок и хозяйка-вдова со вздутым животом под ломким от грязи фартуком. Но улыбается приветливо и, черт возьми, жизнерадостно. «Верка, — кричит, — сносись-ка к соседям, принеси стаканы». Верка — нечесанный дьяволенок — пмыгнула носом и убежала. А на столе голой задницей сидит другое чудо и смотрит на нашу снедь со страхом и изумлением. Я дал ему булку, кусок колбасы — он так и впился в них. Вот этот случай я и рассказал тогда у монумента да еще и обобщил. «Если бы, — сказал, — на миллион-то поправить тот колхозишко, построить той вдове и ее ребятам новую избу — живите, дескать, и трескайте колбасу с булками, — то это и было бы самым точным символом нашей эпохи, а не мраморно-бронзовая глыба». Слышал мои вольнодумные слова не один прораб, так что не буду грешить на него — не знаю, по чьей милости загредел я на осушку болот, лесоповал, к банному котлу и наконец в этот городишко.

Мы остановились у железной церковной двери, Георгий Семенович достал ключ и, клацая им в замочной скважине, сказал:

— Теперь, помните, как у Бунина? «Дней моих на земле осталось уже мало». Уехать отсюда некуда, да и не к кому. Привык околачиваться по вечерам в гостинице, болтать с приезжими, играть в шахматы. Иногда удается заманить кого-нибудь в свою обитель, как вот вас...

Ключ повернулся, дверь завизжала, заскрипела, загрохала.

На другой день я проснулся, когда сквозь окно, забранное похожей на крестовую десятку решеткой, толстым снопом валило солнце. Пахло воском и хорошим кофе. Георгия Семеновича не было. Я оделся, примерил остроконечный, с тонким узором шлем, потрогал ржавый, почти в мой рост меч и увидел на столе записку, прижатую за край серебряной звездичей. «Пейте кофе. Меня найдете в музее. Дверь закройте на два оборота ключа».

Мы долго бродили в тот день по городу. В древнем русском зодчестве нет броской красоты, разящей мгновенно, как стрела. Оно полонит постепенно. Зная эту его медленную, но неотразимую силу, я подолгу стоял и смотрел на какую-нибудь церковку. Как и всегда, я думал сначала о

том, что вот здесь, на этой самой паперти, тряслись когда-то юродивые в рубищах, выходили в подвенечных уборах первые князья со своими потупляющими очи княгинями, лилась христианская кровь под ножами татар. А между тем предельная прямизна линий, точнейшая пропорциональность всех размеров исподволь делали свое дело, и я постепенно начинал испытывать ощущение чего-то, согласно и стройно стремящегося ввысь, чего-то поющего торжественно и печально.

Когда мы говорим, что у нас нет слов выразить прекрасное, то это не просто риторический оборот. И, может быть, вот из этого онемляющего потрясения прекрасным родилась музыка...

Мы продолжали наш обход древностей, когда мимо прошел человек в расстегнутой шубе, с огромным портфелем. Он улыбался, смотрел на нас и, кажется, не видел. Весна стояла как раз на том перевале, когда человеку хочется вот так расстегнуть шубу и брести, не торопясь, по улицам, подставляя солнцу лицо.

— Смотрите, вот тащится замечательный реставратор памятников старины Аркашка Аристархов, — сказал Георгий Семенович. — Бессребренник, энтузиаст, мало того — фанатик. Эй, Аркадий! Куда это ты, трудяга, с таким портфелем?

— Куда? — встрепенулся тот, точно проснувшись. — Да вот, говорят, грачи прилетели. Сидят на тополях в парке. Иду посмотреть. Пойдемте?

— Грачи! Это интересно, — сказал Георгий Семенович. — Пойдем, пожалуй.

Мы тоже расстегнули шубы и пошли. На разметенных аллеях парка в переплетении тонких ветвей, пронизанных синевой и солнцем, возились, гомонили блестящие, как вар, грачи.

— Вот они. Работают, — удовлетворенно сказал Георгий Семенович, задирая свою голубую бородку и прикрывая ладонью глаза.

А молодой лейтенантик с очень красивой спутницей под ручку прибавил:

— Мало их пока. Должно быть, квартирыеры.

В это время неподалеку опустился на аллею крупный, исчерна-сизый грач, неторопливо, с достоинством уложил крылья, покосился на нас глазом в седом обводе и ткнул носом комок снега.

— Хорошо! Стоим и на грачей смотрим,— сказал Георгий Семенович.

— В расстегнутых шубах,— глубокомысленно добавил Аркашка.

И, постояв еще немного, мы разошлись по своим делам.

ВЕСНА, СТАРЫЙ ПИСАТЕЛЬ, МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК И РЫЖАЯ СОБАКА

Этот маленький случай в жизни маленького мальчика произошел ранней весной, когда на осевшей под первым теплым лучом дороге появился первый грач.

Утром сквозь частый березняк желто светило на снег туманное солнце, и в колеях дороги, в каждой впадинке, за каждым комком лежали синие тени. Все это мальчик увидел через оттаявшее окно избы. Зимой стекла были сплошь покрыты лапастыми морозными узорами, и за ними ничего не было видно, а в это лучезарное утро вдруг открылась вся холмистая снежная даль, широкая деревенская улица, прямые медленные дымы над крышами, молодой тополе, золотившийся каждой своей почкой, и большой блестяще-черный, с седым носом грач, долбивший на дороге навозные комки.

Мальчик еще не ходил в школу, и делать ему было нечего. Одевшись, крепко подпоясавшись по шубенке широким армейским ремнем, он вышел на улицу. В деревне у него был друг — старый писатель в сверкающих золотой оправой очках. Он жил здесь и прошлым летом, дарил мальчику рыболовные крючки-заглотыши, длинные перьяные поплавки, крепкую леску-жилку, и они подружились. Мальчику нравилось, что писатель держался с ним, как с равным. Он, мальчик, даже покровительствовал ему в той жизни, которую они вели на берегу реки, в лесу, в лугах, показывая дорогу к рыбным заводам, луговым озерам, малинникам и грибным местам. И теперь нужно было поскорей сказать писателю о том, что прилетели грачи.

Мальчик вошел к нему без стука. Писатель повернулся па скрипучем стуле, медленно снял очки и, сведя густые брови, сказал:

- Я же запретил тебе беспокоить меня по утрам.
- Прилетели грачи, — не смутившись, сказал мальчик.
- Это другое дело.

Писатель встал. Он был невысокий, с крутой спиной и тонкими ногами, свободно болтавшимися в раструбах поношенных валенок. Одеваясь, он по-стариковски кинул полушубок сначала на спину, потом трудно полез в рукава.

Мальчику всегда становилось жалко его, если приходилось замечать, как он стар. Почему-то особенно тяжело ему было видеть, как писатель наматывает на шею длинный узкий шарф — наматывает и наматывает окостенелыми руками, пока не останется маленький кончик, который будет торчать у него из-за воротника на затылке. Мальчик даже плакал перед сном в постели, когда вспоминал этот шарф; ему казалось, что ночь и холод за окном никогда не пройдут и люди больше не увидят друг друга в этой ледяной тьме.

Он и сейчас отвернулся, чтобы не видеть, как писатель будет наматывать шарф, но золотисто-голубое сияние мартовского дня уже померкло для него, и ему хотелось плакать.

— Пойдем, — сказал писатель.

В сенях им под ноги радостно кинулась рыжая собака.

— Пойдем, — сказал и ей писатель.

И все трое спустились по мокрым обтаявшим ступеням крыльца. От собаки в теплом влажном воздухе сразу густо запахло псиной; сырно и кисло запахло от нового полушубка писателя. Мальчик показал рукой вдоль широкой, как площадь, улицы:

— Он там.

Они пошли по тропе между высокими сугробами, и синие изломанные тени двигались вместе с ними. Тропа была такая узкая, что идти приходилось друг за другом. Мальчик волей-неволей видел кончик шарфа на затылке писателя и чувствовал в горле тугую слезную судорогу. Он завидовал собаке, которая беспечно и резво бежала впереди всех, на бегу хватая зубами мокрый снег. Она не понимала, что хозяин ее стар, что когда он кончит свою работу и уедет в город, то вряд ли уже вернется сюда, в деревню среди ржаных полей и березовых перелесков, к маленькому мальчику, который так любит его.

Грача не оказалось на прежнем месте. От этого мальчику сделалось так обидно, что он наконец не сдержался и заплакал.

— О чем ты? — спросил писатель.

Но мальчик был не в силах выразить словами то, что неясно и тяжело гнело его. Он сказал только:

— Ты уже кончил свою работу?

Писатель умел угадывать в словах большее, чем они значили сами по себе.

— Да, — сказал он, — я скоро уеду, но ты не горюй, мы опять увидимся с тобой.

— Нет, — потупившись, сказал мальчик. — Ты очень старый.

— А-а, вон оно что! Вытри слезы.

Они пошли дальше, туда, где в проеме улицы сияли чистые снега полей и на них ощутимо лежала толща голубого мартовского воздуха. За деревней, прислонившись к пряслам, писатель долго молчал. С тихим звоном рушились под напором солнца сугробы в полях, и дрожащий фиолетовый прозрачный пар поднимался над березовыми перелесками, пробудившимися к сокодвижению. Было тепло здесь, на угреве; присмиревшая собака села у ног хозяина; по каштановой шерсти ее лились золотые солнечные блики. Мальчик тоже затих; лишь изредка прерывистый вздох — последыш плача — сотрясал под шубенкой его тело.

— Я скажу тебе, — заговорил писатель, — скажу тебе то, что ты, быть может, не осилишь сейчас ни душой, ни разумом, но со временем обязательно поймешь, если не будешь жить по гнусному закону эгоизма. Жизнь моя прошла, как большой праздник. Я радовался тому, что принимал от природы и людей, и еще больше радовался тому, что отдавал людям. Уходя, я оставляю им все и через это остаюсь вместе с ними. Будешь ли ты писать книги или пахать землю, делай это не для себя, а для них, и никогда глухое отчаяние конца не сожмет твое сердце, потому что ты будешь знать, как знаю я, что сотворенное тобой возродится в новой жизни — в новых людях, деревьях, цветах, птицах и зверях...

— И в собаке? — спросил мальчик.

— И в собаке, — улыбнулся писатель. — А вообще-то все, что я наговорил тебе, давно уже сказано проще: помирять собираешься — рожь сей.

Мальчик по-своему все понял. Он в последний раз прерывисто вздохнул и сказал:

— Я тоже заведу себе такую собаку, чтобы и у меня собака была.

— И правильно,— одобрил его писатель.

Ничего особенного не случилось в это утро: опять, как вечно, синим мартовским светом весна заглянула в глаза всему живому.

ТЕРНОВНИК

Старик Завьюжин всегда не стучит, а как-то по-особенному вкрадчиво скребется в окно, выражая этим деликатным звуком свое почтение к моим письменным и книжным занятиям.

Вот и сейчас, принимаясь за кофе, я слышу этот звук, похожий на треск тоненькой щепочки, отрываемой от доски. За окном синеет рассвет студеной и ясной осени. За оконные лесные дали еще однообразно мгlistы и тусклы, но я знаю, что там, куда мы сейчас пойдем, уже рдянеют чуткие к малейшему ветерку осинки, золотой прядью кое-где тронута зелень берез, под дубами щелкают, как тяжелые пули, опадающие желуди и пахнет... пахнет свежей лесной осенью, полной грусти и очарования.

Я открываю Завьюжину дверь. Он входит, погромыхая двумя эмалированными ведрами, ошаркивает подошвами видавших виды кирзовых сапог о коврик у порога и, немного смущаясь великолепием убранства моей обители, бочком пробирается на кухню. Признаться, я и сам больше люблю в этом просторном доме, обставленном полированной мебелью и телерадиоаппаратурой, уютную кухню, где устоялся жилой запах моего кофе. Я живу здесь совершенно один — в этом совхозном доме для приезжих; от избытка не столько времени, сколько душевного покоя живу размеренной, упорядоченной жизнью, ложусь и поднимаюсь в определенный час, делаю гимнастику, принимаю ванну, варю себе на газовой плите кофе, много хожу пешком по поселку, по садам, по фермам, потом сажусь за работу, и вообще-то очень доволен своей жизнью... вот только, если бы не эта смутная тишина осенних вечеров

в необитаемом доме, которая рано или поздно начинает гнестить человека, как бы он ни стремился к ней многие годы доселе. Поэтому я всегда рад вторжению в мое одиночество старика Завьюжина, который только здесь тишеет, а вообще-то старик шумный.

Я предлагаю ему кофе.

— Не питье,— отмахивается он.— Вот тернового маринаду с утра хлебнуть — это я люблю.

Терновник — цель нашего сегодняшнего похода. По словам Завьюжина, за лесом, в заброшенных усадьбах обезлюдевшей деревни, этой ягоды — необеримое количество. Терновник мне совершенно не нужен, но, по словам того же Завьюжина, в деревне обитаем всего лишь один двор, где живут старик со старухой («Вовсе повихнувшиеся люди», — сказал про них Завьюжин), и я хочу познакомиться с ними.

Мы выходим уже при полном сиянии осеннего утра.

Заморозка нет, но воздух свеж и колок, и невысокое солнце в густо-синем небе еще холодно, как золотой поднос на стене.

Выйдя из дома, Завьюжин преображается; он бойко бежит вперед — маленький, складный, живенький, — размахивает ведром, издающим противный визг и скрежет, ругает грязь на дороге, директора совхоза, внучат-неслухов, и шуму от него не меньше, чем от старого тарантаса на булыжной мостовой. Я знаю, что в новой квартире, которую старик получил от совхоза, он тоже, как и в доме для приезжих, чувствует себя не в своей тарелке — мебель там понатыркана самым неудобным образом, всюду, за исключением русской печи и полатей, разбросаны валенки сыновей и внуков, кухня заставлена ненужными горшками, чугунами, плошками, — хотя, когда в стену его старой, вывезенной по бревнышку из деревни избенки двинул тяжелым ножом бульдозер и над ней взвилось облако оранжево-серой пересохшей пыли, он пришел в неистовый восторг — подпрыгнул, замахал руками, высоко подбросил шапку и завопил: «Валий ее под корень, ребята! Литруху ставлю на помин!»

Дорога ведет нас через узкий хребет плотины. Каскад искусственных озер по обе стороны ее блещет синеватым никелем; то здесь, то там лениво вывернется на поверхность тяжелый карп, мелькнет смуглым боком, и вновь огустевшая от холода вода застынет в металлической не-

подвижности. Скоро, скоро ветер нанесет из лесу и садов на озерную гладь разноцветных листьев, испятнает ее пестро и ярко, а там и первый мороз охватит ее морщинистым ледком. Скоро... А пока сады за плотиной еще встречают нас запахом созревающей антоновки — тонким ароматом первоначальной осени. В ухоженных шарообразных кронах яблонь, среди темной листвы, висят восковато-желтые плоды, и даже на глаз чувствуется их наливная тяжесть и утренняя осенняя прохлада. Поджав хвост в репьях, шарахается от нас сторожевая собака, отвыкшая в этих бесконечных садах от людей.

— Туняедец! — напугает ее Завьюжин.

Звучно шлепая лапами брезентового плаща по голенищам резиновых сапог, появляется сторож, щурится на нас против солнца и, признав своих, просит закурить.

— Шалят? — спрашивает Завьюжин, протягивая ему тоненькую папиросу-гвоздик.

— Бывает, — сдержанно отвечает сторож.

— Ловишь?

— Пугаю.

— Ха! Ты испугаешь... Ружье-то, говорят, потерял.

Сторож конфузится, показывает Завьюжину глазами на меня и, чрезмерно внимательно раскуривая папироску, лепечет:

— Да прислонил, понимаешь, к яблоне, а потом закружился и не нашел. Директор из зарплаты удержал. Теперь вот новое выдали.

— И это потеряешь, — убежденно говорит Завьюжин — любитель съязвить и задраться. — Сорви-ка нам на дорожку поспелей. Люблю антоновку. Пахуча.

Сторож кидает ему в ведро пяток крупных яблок, дробно ударивших словно в большой барабан, и мы идем дальше. Я на каждом шагу в каком-то наивном восторге дивлюсь таинственной силе земли, способной из крохотного семечка взогнать это великолепие, это обилие плодов, стряхнуть их с себя по осени и к следующей опять напиться своими соками новый урожай.

— Ты бы помолчал, дед, — прошу я Завьюжина, перемалывающего языком какой-то вздор.

— В самом деле, — спохватывается старик. — Хорошо то как!..

За садами, в преддверии лесов, нас встречают несколько корявых раскидистых сосен. Поднявшееся солнце уже

обогрело их вершины, и воздух здесь пахнет теплой хвоей, смолой, сухим деревом. Под соснами в рыжей хвое растут огромные старые маслята с завернувшимися наверх краями. В это щедрое грибное лето ими пренебрегли грибники, устремляясь дальше за царь-грибом наших лесов — белым.

Старик мой опять забывается и что-то полувнятно бормочет себе под нос. На этот раз я прислушиваюсь.

— Хвойный лес зовется красным, а лиственный — черным, — говорит он по привычке высказывать свои текущие мысли вслух. — Красный строевой лес мы считали от шести до двенадцати вершков в отрубе... Кондовый лес — это сухорослый сосняк в двести пятьдесят слоев, полукрасный — в сто пятьдесят слоев, а пресной, пресняк, болотный — в восемьдесят. Зеленчак — тот совсем жидкий лес — до двух вершков, моховой, оболонь. Ну, а камышовый — и говорить нечего: тростник, плавни, камыши, дрянь. Дровяной лес — мелкий, что в стройку не годен. Поделочный — это для столярных работ: первое дело, конечно, дуб, потом ясень, ильм, липа, береза. Издельный будет, который на всякие промыслы идет: осина, скажем, на ложки, вяз — на полозья, ветла — на дуги... Леса, вы, леса чудесные... Выше вас только солнышко.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил я Завьюжина.

— Как же! — удивляется он. — Жизнь моя длинная. Всякой работы пришлось попробовать, и в лесу работал, и в поле. Это сейчас наши садоводы три месяца зимой в отпуске нежатся. А бывало-то, с весны до осени землю ковыряешь, а зимой в леса с лучком идешь, чтоб в брюхе голод волком не выл.

Лес стоит еще зелен, кое-где дыхание осени багряно подпалило молодую осинку или дикую рябину, позолотило ветку березы, но во всем, во всем — в густой синеве неба, в прозрачности далей, в отчетливости каждого звука, в запахе увядающего листа — чувствуется грусть осени, и уже пора лететь журавлям, потому что, по словам старика Завьюжина, сегодня Иван-постный, и, значит, «журавли потянули на Киев».

За лесом от самого подножья последних деревьев раздольно ложится перед нами озимое поле. Уходит оно далеко за изволок, к пенистым купам лип и вязов той деревни, куда мы держим путь, а по нежно-зеленому ковру

озимой бежит прямая желтая от пыли дорога, слегка опрыснутая мелкозернистой росой.

Не знаю ничего упоминательней ходьбы налегке босиком в жаркий летний день по такой дороге, когда между пальцами пыхает пуховая горячая пыль, а кругом во ржи свиристы, куют и пилят неугомоны-кузнечики. Но осень, осень, во всем осень, и в росе, должно быть, холодна, как сырое полотенце...

— Недалече, — говорит Завьюжин.

Но прозрачная осенняя даль обманчива. Видно далеко; мы долго еще идем меж изумрудных озимей, и купы деревенских деревьев медленно поднимаются нам навстречу из-за изволога. Наконец показывается раздерганная ветром соломенная крыша старой риги. Печален вид этой серой соломы, печальны выющиеся над ней серые вороны. Неужели, — думается невольно, — здесь еще есть жив человек? Но неоспоримым тому доказательством являются копошащиеся между столбами риги белые куры, меченные по капюшонам лиловыми чернилами. Зачем, если, как говорит Завьюжин, здесь обитаем всего лишь один двор? А вот и сам его обитатель. Сидит на крыльце еще крепкой избы с подновленными голубой красочкой наличниками, ничего не делает, просто смотрит, как мы подходим к нему по заповоленной полыню и татарником деревенской улице. Он и сам еще крепок на вид — большерук, плечист, — но как-то весь запущен и, сдается, нечист. Борода с густой проседью и волосы на голове перепутаны, ворот рубахи-косоворотки засален дочерна, пиджачишко словно нарочно мят и валян в пыли, из рваного носка сапога торчит клочок портянки.

— Здорово живешь, Кузьмич! — приветствует его Завьюжин. — Ну, как? Убрался с огородинком-то?

— А, это ты, — без всякого оживления отзывается хозяин. — Здорово. Капуста еще на корню, а остальную овощь всю убрал.

— Хозяин ты справный.

— Известно.

Пока они разговаривают так, я оглядываюсь вокруг. Некогда деревня была, наверно, дворов на двенадцать, но сейчас вразброс, далеко друг от друга, стоят лишь шесть заколоченных изб, седьмая — Кузьмича, и еще одну уже начали раскатывать по бревнышку на вывоз. Запустение. Сады в усадьбах выродились и одичали, только тернов-

ник, заглушив все остальное, разросся непролазной крепью.

— Не надумал к нам в поселок-то перебираться? — спрашивает Завьюжин.

— Зачем мне? — все так же равнодушно, как и встретил нас, отвечает хозяин. — Я землю люблю и никуды с нее не тронусь.

— Никуды-ы, — передразнивает Завьюжин. — А у нас не земля, что ли?

— У вас не та земля. На той земле мне неинтересно. У вас ведь как? Нынче тебя в сад посылают, завтра — на поле свеклу дергать, послезавтра еще куды-нибудь за-тыркнут, и нет никакой отрады хозяйствовать на земле, понежить ее. Там у вас земля вроде бы своя, да не своя. Не будет у меня за нее душа болеть.

— Вот-вот! — начинает сердиться и напрягать голос Завьюжин. — Не в земле дело, милос Кузьмич, а возьми ты, к примеру, меня. Я что, не за совесть на совхозной земле семнадцать лет работал? Пенсию восемьдесят четыре целковых не за почетный труд получаю?

— Ты — одно, я — другое, — тянет Кузьмич, которому этот разговор, затеваемый, видимо, не впервые, кажется недостойным внимания.

— Ясно, ты — другое! — саркастически усмехается Завьюжин. — Ты тут, как вон тот терн, без пользы землю полонишь и сам задичал.

— Я тебя знаю, — неожиданно жалобным голосом говорит вдруг хозяин. — Тебе человека обидеть — первое удовольствие. Помирать ведь скоро будешь! Что перед богом-то скажешь?

— Уж чего-нибудь наплету. Ты об этом не пекись. Бога, вишь, вспомнил! — опять с сарказмом усмехнулся Завьюжин. — Совсем ты тут в уме подвинулся без людей-то.

— Почему без людей? Чай, со мной старуха.

— Одно название, что старуха. Совсем ветхая и не слышит ни черта. Ты хоть бы собаку завел.

— Была собака. В прошлом году с приезжими охотниками сбежала.

— Вот видишь.

— Что, видишь?

— Сбежала, говоришь, собака-то.

— Сбежала.

Привычка задираться и спорить, видимо, борется в За-

вьюжине с состраданием к Кузьмичу, в котором как-то мгновенно не осталось ничего от спокойно-самоуверенного, знающего себе цену хозяина, и старик мой некоторое время молча смотрит на него, потом миролюбиво спрашивает:

— Ну, а здоровье-то как?

— Вроде бы не слаб. Вот только по ночам зябну... Да и мерещится...

— Чего?

— Всякое... Особенно Кузька.

— Кто?

— Чертенюк. Я его Кузькой кличу. Шустренский та-кой, пугливый, как мышолок. Разозорется — я ему только крикну: «Шалишь, Кузьма!» Он — шмыг за занавеску и притаится. Я каждый вечер ему сахару на пол щиплю.

— Балуете, значит?

— Любит. Отчего ж и не побаловать.

Мы долго молчим. Как-то подавляют запущенный вид и полубредовые слова этого человека, чья великая и святая любовь к земле нелепым образом обернулась против него. Стоит только представить глухие осенние ночи в заброшенной деревне, где вокруг ни огня, ни звука, лишь неприкаянный ветер свистит в голых ветвях деревьев или позванивает в окна унылый дождь...

— Тоскливо, поди, здесь одному-то? — спрашиваю я, втайне надеясь на утвердительный ответ.

Напрасно! Кузьмич вновь обретает спокойный, уверенный тон и неторопливо возражает:

— Зачем? Мне тосковать неколи, я работник.

Завьюжин безнадежно машет рукой.

— Пойдем, однако. Ведь за делом пришли, а не лясы точить.

В терновых крепях, действительно, обилие ягод. Через полчаса выбираемся из зарослей с полными ведрами, все в паутине, исхлестанные, исцарапанные, со сведенными кислой судорогой ртами и опять идем мимо избы Кузьмича. Его уже нет на крыльце; через низкий плетешок видно, как он ходит по своему огороду, дерет грабельками с картофельника в кучу жухлую ботву — хозяин на своей земле...

— Вот так и живет. Вовсе несуразный мужик, — говорит со вздохом Завьюжин.

С полевой дороги я в последний раз оглядываюсь на

деревню. Над соломенной крышей риги серыми хлопьями летают вороны, пенно вздымаются еще густые купы лип и вязов, и солнце — кроткое, ласковое солнце осени — глядит из синей глубины небес на этот отживающий мирок.

ЗА ЛЕСАМИ, ЗА ДОЛАМИ...

— Ну и дороги у вас тут, дядя!

— Место такое гиблое, — отвечает возница.

Да, видно, уже не часто торят колеса эту дорогу. Из леса на нее наползают сырые мхи, по обочинам жидким месивом оплывают огромные шлепки подосиновиков, которые некому срезать вовремя, мостики подгнили, гати проросли между бревнами стрелолистом — задичание и обветшалость...

Возница Еремей Осмолов — дюжий старик за шестьдесят, с крупным в сизых прожилках носом, с колечками давно не стриженных волос на шее и за ушами — поглощен своими заботами и потому не очень разговорчив. Заботы же не малые. Трстий день он перевозит по частям домашний скарб на свое новое место жительства — в совхозный поселок Садовый — и, видимо, повержен этим поворотом своей судьбы в большое смятение, которое по временам выражает полным недоумения возгласом: «Мыслимо ли?!»

Путь обратный — порожняком. В телеге только мое охотничье снаряжение, а мы с Еремеем идем пешком, потому что на гатях и корневищах трясет так, что болят виски и грудь.

Я не был здесь со времен объединения колхозов, — стало быть, без малого лет двенадцать; Еремея Осмолова помню еще буйно курчавым мужиком, в распахнутой на волосатой груди рубаше, неистощимо работающим в колхозе и дома. Он же меня не помнит вовсе — заезжего молодого корреспондента, ночевавшего в Северке всего лишь одну ночь.

Особенная это была деревня — Северка. С одной стороны ее подпирали государственные леса, с другой, по поречью, — непролазная ольховая, вербьяная, черемуковая крепь, у самой лишь реки оставлявшая узкую полосу за-

ливного луга, и стояли сорок дворов Северки особняком от всего районного мира. Человек да конь, как встарь, справляли здесь всю крестьянскую работу, потому что эмтээсовские трактора и комбайны ломались уже на гиблых дорогах к Северке. И все-таки малоземельный колхоз «Искра» считался не из последних в районе. Его иногда похваливали на районных совещаниях передовиков, на заседаниях бюро райкома, на советах МТС, сюда нередко наезжали корреспонденты районной газеты, вроде меня, и трудовень в «Искре» был поувесистей, чем у многих соседей, так что не ради красного словца, а ради истины говаривали северковцы со скромным достоинством:

«Ничего, не хуже других живем-можем...»

Это наглядно подтверждал и самодовольный вид прочных, кондового леса изб, убористо разместившихся в два ряда. Летом их почти не было видно за рябиновыми и терновниковыми палисадниками, зато зимой взгляду сквозь голые ветви открывались добротные, с кружевной резьбой фасады, непреложно вызывавшие представление о достатке, тепле и мире.

Семьи в деревне жили многочадные и дружные, делились редко; все здесь успели, бог весть в каком колене, переродниться, и поэтому в Северке обитали люди преимущественно трех фамилий — Лыковы, Башкины да Осмоловы. Из прочих, но не числом, а запальчивым, озорным и непоседливым нравом были заметны Шайтановы. На вид они ничем не отличались от других — такие же светлоголовые, льноволосяе, кудреватые, — но бывало, что невеликий стан их нет-нет да и пополнялся таким калмыковатым отпрыском с глазами-антрацитами, с прямыми, конской толщины волосами, со смуглыми скулами, что только диву можно было даваться, как ярко и вдруг способна вспыхнуть веками дремавшая капля азиатской крови, неведомо когда и как занесенная в русскую деревню Северку.

Когда объединялись колхозы, Северке не повезло. Ее угодья не граничили ни с одним из колхозов, и стала она просто дальней бригадой большого нового колхоза, его падчерицей и обузой. Поредели ряды изб, сосновый молодняк полонил поля, ветшали конные дворы и коровники, да и приусадебное хозяйство все больше теряло силу плодородия и власти над душой крестьянина. Потом стал на землях колхоза совхоз, и вовсе была забыта завалившаяся за леса и болота Северка.

— Мыслимо ли?! — в который уж раз вздыхал Еремей Осмолов.

Опять мы долго шагаем молчком сбоку тарахтящей телеги, и опять, теснимая какими-то сомнениями, грудь Еремея исторгает этот недоуменный вздох.

— Ну что ты маешься, дядя? — спрашиваю я. — Не на погост переезжаешь, наверно.

— Деревня! — восклицает Еремей. — Деревню мне мою жалко! Ты, говоришь, бывал у нас в прежние годы, сам должен помнить, какая это была деревня. А теперь — семь дворов, девять стариков, двенадцать старух, и до недавних пор обитала еще одна девка. От нее в моей жизни и пошла вся смута. Черной души тварь. Я какую надежду в себе носил? Думал, вернется из армии мой Митька, приведет в избу сноху, и зацветет моя бобылья жизнь вторым цветом, захозяйствуем мы в родном гнезде при внучатах. Не задалось! Эта девка Санька Шайтанова, головешка черная, враз Митьку обратала. Поначалу мне было все равно — Санька так Санька. Она, по совести сказать, девка первых статей — сильная, крепкая, спина, как лежанка, глаза — уголья... Бес!

Осмолов жмурит глаза и долго причмокивает, — до чего, видно, и впрямь хороша эта Санька Шайтанова.

— Стали они, не таясь, в обнимочку у меня под окнами посиживать. Я не препятствую. Только спросил Митьку, — это, дескать, у вас всерьез, парень, али баловство? — Всерьез, говорит, папаня. — Ну, мол, валяйте, благословляю, хозяйству давно молодой хозяин требуется, я уж — полсилы. — Вижу, парень на мои слова кряхтит и жметсЯ. — Ты, — спрашиваю, — чего? — Ничего, мол, папаня. — На том и разговору нашему конец. Да вот не спалось мне как-то с вечера, вышел я на крыльцо, стою и слышу ихний шепот с лавочки. Митька, тот опять больше кряхтит, а Санька, шельма, так и сыплет мелким бисером. Какая, дескать, жизнь здесь в Северке, со скуки все собаки перегрызлись и цетухи передрались, и поедем мы-де, мол, мил мой Митенька, в совхоз Садовый, вот там-то жизнь — малина и все такое прочее, только работай. Я жду, что Митька скажет. Тот малость покряхтел и говорит: — Папаню с хозяйства не стронешь, а я согласен, черта ли мне в этой Северке. — Санька опять ему — жу-жу-жу про свое, едем да едем. Тут уж я шагнул с крыльца, — ах ты, гово-

рю, отродье бродяжье! Ты мне парня не сманивай, катись, куды хочешь, а мы другую найдем, не вертихвостку. Засмеялась только, словно монетки звонкие рассыпала, и пошла прочь. Митька то за ней кинется, то ко мне вернется, потом шваркнул картузом оземь и ударился прогном в поле. Я тогда тоже освирепел, схватил в сених топор и разметал всю ту лавочку под окном в мелкие щепочки.

Отголосок прежнего неистовства, должно быть, снова просыпается в Осмолове, он встряхивает вожжи и обкладывает лошаденку крепкой бранью. Исход этой истории мне уже известен, и, только чтобы поддержать разговор на неблизкой и нескорои дороге, я спрашиваю:

— Уехали?

— Уехали,— вздыхает Осмолов.— Мыслимо ли?! Много мы недобрых слов друг дружке с Митькой напоследок наговорили и разошлись, как неродные. С большой обидой разошлись. Он первый весточку подал, к себе звал, обратный адрес полностью обозначил — поселок Садовый, улица Первомайская, дом — пятый, квартира — двадцать два. Все на городской манер. Не то что у нас, по-старинке — Северка, Осмолову Еремею, и — точка. Эта выкрутаса меня еще больше задела. Задается, думаю, парень, форсит перед отцом. И копил я обиду целых два года, каждую мелочь Митьке в счет ставил, а про Саньку без матерного слова и вспомнить не мог. Осатанел вовсе. А тут еще дворы в Северке, как зубы у старика, редеть стали. То один хозяин в Садовый избу перекатит, то другой. Я же на этот поселок, как на проклятое место, глядеть не хотел. Однако, не знаю, что случилось со мной прошлой зимой,— наваждение какое-то. Подохла у меня собака... Так, зряшная собачонка, пустобрех. Потосковала два дня и подохла. Кинул я ее на зады,— думаю, весной отойдет земля — закопаю. Лег вечером спать, а она, проклятая собака эта, так и видится мне рыжим пятном на снегу. Всю ночь с боку на бок вертелся, утром позакидал ее снегом — нет! Опять видится. Нехорошо мне стало с тех пор, сон потерял, кусок в рот не лезет. Про собаку про ту давно и думать забыл, а тоска не проходит. Сам не помню, как собрался одноа дни и пехом двинул в Садовый к Митьке. Пришел под вечер. Вдоль улиц огни сияют, на клубе — вывеска красным заревом, аж снег под ней багрится. Эх, думаю, палят энергию-то, не то что у нас с керосинцем: сморкнешься — из носа сажа хлопьями летит. Разыскал

по адресу Митьку. Дом этот номер пятый в четыре этажа, сам Митька проживает в комнате с балконом, на потолке — люстра с висюльками, на полу — малиновая дорожка с зеленым кантом, на стене — ковер с русалками, на столе — электрический самовар. Митька суетится. «Вот, — говорит, — так и живем, папаня». Стерва Санька тут же. Стала чаем меня потчевать. Варенье выставила, лепешки сдобные, колбасу, селедку. Митька, гляжу, поллитровку из-под кровати тянет. Все как следует... Нес я сюда тоску, да горечь, да обиду, а сам чувствую, что радостно мне за Митьку... Я, известно, своему дитю худа не желаю. До того рассолодел, — чуть слезу не пустил. Она у стариков-то близкая. Однако спрашиваю Митку: «А что, сынок, из родного гнезда, значит, фррр, улетел навовсе?» — «Сам, — говорит, — посуди, папаня. Мне там и руки-то приложить не к чему. Ведь я шофер второго классу». Наутро стал я домой собираться. Митька — пиварк на стол две полусотенных бумажки. «Вот, — говорит, — тебе, папаня, от меня гостинец...» Взял, а сам думаю — на кой черт они мне сдались. Их в Северке-то и за год не избудешь. Так и вышло. Только нынешним летом и определил те бумажки в дело, нанял троих удалцов-плотничков избу в Садовый перекачать...

Осмолов долго молчит и потом, точно подбадривая себя, заканчивает:

— Я еще работник, мне силы не занимать стать. А все же поближе к сыну надо держаться, хоть и жалко мне местов этих до судороги.

Уже меркнет восточный склон неба, когда мы подходим к Северке. О, как дико разрослись здесь неухоженные, обесплодевшие вишневые и терновниковые сады, как буйно вымахали лопухи и полынь на хорошо удобренных в прежние года усадьбах, каким запустением веет от бесформенных груд битого кирпича на месте некогда горячих русских печей, что пекли и варили, сушили и томили, грели и врачевали!..

А ночью, когда за окнами черной стеной стоит августовская темь и мы спим в осмоловской избе на драных половиках под полуистлевшим тулупом, Еремей то ли во сне, то ли в тревожной бессоннице вдруг опять протяжно вздыхает:

— Мыслимо ли?!

— Ты чего, дядя?

— Ну, мыслимо ли! — приподнимается на локте Еремей. — В поселке том так заведено, что коров никто не держит и молоко по утрам в ларьке за сниженную цену каждый сам себе покупает. Мыслимо ли, я спрашиваю, чтоб крестьянин без коровы был?

Утром чуть свет я ухожу с ружьем в пойму. Там тоже уже все внове для меня — заросли старые тропы, прорублены в кустарниках новые, затянулись знакомые болотца, скопились в ямах другие озерки... И сам-то, сам-то я не нахожу к вечеру сил, чтобы вернуться в деревню, а коротая ночь под стогом, слышу сквозь чуткий сон плеск реки о глинистый берег, возню и писк мышей в стогу.

И только к полудню, после утренней зорьки, я снова в Северке. Удальцы-плотнички уже ободрали с Еремеевой избы крышу, сняли стропила и теперь раскатывают стены. С озорными прибаутками два парня без рубах подают сверху за концы бревно, третий, постарше, пособляет им снизу багром, бревно падает, и по ветру летят серые хлопья сухой истлевшей пакли...

Скоро, должно быть, очень скоро дикий лес и одичавшие сады сомкнутся на месте старой Северки.

ЛИСТОПАД В БОЛЬНИЧНОМ ПАРКЕ

После жаркого лета встала какая-то медленная осень — в октябре деревья были еще зелеными, и тепленькие дождички стали вытонять на газонах иглы свежей травы. А потом вдруг вслед за тихой звездной ночью часа на три завернул сверкающий солнцем, инеем и перепончатым ледком лужиц утренник, и в больничном парке полетела, полетела золотой метелью листва вязов.

С непокрытой головой, завернувшись в теплый халат, чудесно было бродить в этой студеной свежести, в синеве, в золоте.

Здесь, за Сокольниками, было тихо. Трамвайный грохот Стромынки слышался лишь по вечерам отдаленным рокотом. Весь этот день сухой шорох палого листа стоял в парке, и под ногами гуляющих, под метлой дворника не утихал все тот же, похожий на шипение, шорох.

Не один я, пренебрегая режимом, не ушел после обеда

на тихий час. Было жалко проспять этот час, быть может, единственного дня осени, одаренного теплом грустного октябрьского солнца. С десятков выздоравливающих сидели на лавочках и прохаживались в глубине парка, за виварием, где их не было видно из окон больничных корпусов. Знаком мне был только актер театра кукол, маленький, широколобый, с заостренным к подбородку лицом человека, с таким неожиданно низким для его телосложения голосом, что, не спрашивая, я знал, что в амплуа его должны были входить не иначе как волки, медведи, Бармалей и Карабас Барабас. Он сидел, завернувшись в длиннополый халат, а рядом с ним на лавочке, на подстилке из желтых листьев, лежала большая матово-зеленая кисть винограда. Актер не притрагивался к ней, и я догадывался, что виноград был припасен для маленькой обезьянки Мими из вивария.

Под виварий была оборудована церковь краснокирпичной кладки с голубыми изразцами над папертью. В давние времена здесь была богадельня, и у призреваемых в ней стариков имелась своя церковь. Со спятыми куполами, служа другому богу, стояла она и поныне, и такие же кирпичные корпуса больницы, и корявые, выше корпусов вяза парка были тоже от тех давних времен. Вязы старели. Сменить их должны были каштаны. Они уже вымахали вполколокольни, и прижившаяся здесь их южная красота вызывающе выступала темной сочной зеленью на фоне поблекших стариков вязов. В это жаркое лето каштаны, должно быть, буйно цвели, и теперь среди их лапастых листьев пряталось много плодовых шишек. За ними, досадливо нарушая тишину этого хрупкого дня, охотились трое парней в пижамах. Один из них, стоя в развилке дерева, колотил по тонким ветвям палкой, а двое других подбирали похожие на маленьких ёжиков шишки и со всей силой шлепали их о кирпичную стену вивария, чтобы расколоть и достать блестяще-коричневое налитое ядро.

Актер смотрел на парней и мученически кривил свое треугольное лицо. Вдруг он оживился, заерзал на лавочке и улыбнулся. С бокового крыльца вивария спускалась Настя-Кнопка, неся на руках обезьянку Мими, завернутую в полинявшее байковое одеяло.

Настю-Кнопку знали все выздоравливающие, со скуки навязчиво осаждавшие виварий, чтобы поглазеть на живот-

вых. Настя непреклонно стояла на страже покоя своих подопечных обезьян и кроликов, а слишком напористое любобпытство пресекала таким крепким словом, что одни — поделикатней — конфузились, другие — побойчей — давились хохотом и отступали. Лишь актеру было позволено иногда приносить для Настиной любимицы Мими что-нибудь из фруктов.

Хоть и говорится, что маленькая собачка до старости щенок, Настя-Кнопка при всей ее точеной миниатюрности была все-таки рано состарившейся женщиной, и все женские ухищрения — крашенные в соломенный цвет волосы, подведенные брови и губы, серьги с красными стеклышками — делали ее только жалкой, а в глазах молодых парней и смешной. Наверно, они и прозвали Настю Кнопкой, затушевав этим прозвищем и ее отчество, и фамилию.

Спустившись с крыльца, она села рядом с актером и, выпрастывая из одеяла ручки Мими, сказала:

— Пусть понежится на солнышке. Зябнет. Никак нам еще не прогреют наши кирпичи.

Мими проворно схватила тонкой волосатой ручкой протянутую актером кисть винограда, но есть не стала, а вся зарылась в одеяло и, спрятав где-то там лакомство, снова высунула свою маленькую головку с плотно прижатыми ушами. Выражение мордочки у нее было грустное.

— В бананово-лимонном Сингапуре... — вздохнув, сказал густущим басом актер. — Откуда она?

— А кто ж знает? Должно, сухумская, — ответила Настя.

Она держала обезьянку бережно, как ребенка, и та жалась головкой к ее плечу.

— Жалеешь? — спросил актер.

— Люблю я их, хвостатых-мохнатых, балую, — сказала Настя и, протягивая руку, крикнула парням: — А дайте-ка нам, мальчики, орешков поиграть!

— Рублишко, — засмеялся парень с длинными мягкими локонами, изрядно засалившимися в больнице.

Он шутил, но было в его мгновенном, готовом ответе что-то затверженное, ставшее манерой — развязной, нагловатой — и шутка не получилась.

Настя опустила руку. От какого-то недуга руки у нее всегда мелко тряслись, тряслась и голова, приводя в дрожь все ее ранние складки на лице, а когда она сердилась, то начинала еще и заикаться.

— Д-дай,— сказала она.

Парень, конечно, понял, что шутка его, как говорят, не прозвучала, но из упрямства и злясь то ли на себя, то ли на эту неприятно дрожащую Настю-Кнопку, он опять сказал, пересыпая каштаны с ладони на ладонь:

— Рублишко!

— Вот д-дурачок,— сказала Настя.

— Я? — ломался парень. — Грузины по четыре рубля за килограмм продают, а я мартышке отдай? Все равно твою мартышку врачи замучают, а потом шприц в задницу и — привет.

— Д-дурак! Злой дурак! — взвизгнула Настя и, прижимая к себе обезьянку, путаясь в размотавшемся одеяле, бросилась на крыльцо.

О каменные ступени тяжело и мокро шлепнулась гроздь винограда. Все мы, одепенев, молчали.

— Др-р-рянь! — на весь парк рывкнул актер.

Вокруг нас мгновенно стали собираться гуляющие.

— Кого ты обидел? — гремел актер. Он, может, рад был бы говорить тише, не привлекая всеобщего внимания, но это у него просто не получилось. — Тебя спрашиваю! Не прячь глаза! Кого ты обидел?

Парень натянуто улыбался. В нем, видимо, боролись смущение и давно усвоенная манера держаться независимо, напористо, нагло.

— А что я ей такого сказал? — с усилием выдавил он.

Обращаясь уже не к нему, да, пожалуй, и вообще ни к кому из нас, актер медленно заговорил. Бас его спустился до предельных низов и был как рокот потока в глубоком ущелье.

— Представьте ее осмнадцатилетней санитарочкой на фронте... Маленькая, щупленькая девочка... Сапожки тридцать второго размера на заказ... В Пинских болотах вытащила на себе из-под огня восемьдесят раненых. Последний сам тащил ее и подорвался на mine. С тех пор она трясется от контузии, не может ни писать, ни лекарства накапать, ни укол сделать и всю жизнь только ухаживала за больными, а теперь вот за животными, потому что уж и полный стакан чаю подать не может.

— Откуда вы это знаете? — спросил парень — не тот, что носил длинные локоны, а другой, что все еще стоял в развилке каштанового дерева.

— Знаю, и все тут,— ответил актер.

— А может, враки? — усомнился теперь уже тот самый парень, с локонами.

Актер встал. Халат не по росту повис на нем чуть не до земли. Это делало маленького актера с его широким лбом похожим на бродячего античного мудреца в бедной тоге.

— У нее есть орден за этот подвиг. Единственный. Но зато главный, высший орден страны, — сказал он и мелкими шажками пошел по дорожке, высланной желтой листвой старых вязов.

СЕРПАНТИН

Есть один писатель с птичьей фамилией... ну, скажем, Ястребов...

В тот, теперь уже далекий год, я жил на тихой улице тихого города в домике с яблоневым садом и, как умел, наслаждался жизнью, которую посылала мне моя здоровьесобильная и безденежная молодость. Одной из радостей этой жизни было пробуждение на заре, когда розовый туман повивает неподвижную листву деревьев и под окном содомятся воробьи. Хотя и говорится, — не радуйся раннему вставанию, а радуйся доброму часу, — я все равно каждое утро вскакивал в беспричинно радужном, бодром настроении и, одеваясь, напевал во все горло какой-нибудь браваурный мотивчик без слов: трал-ла-ла-ла... трам-там-та-там.

Однажды именно в такой момент рама вдруг стукнула, словно распахнутая упругим сквозняком, над подоконником появилась черная всклокоченная голова Гришки Ястребова, и он приветствовал меня небрежным помахиванием руки.

— Салют, старик! Шел мимо, слышу — поешь. Решил заглянуть.

— Ладно, влезай, — сказал я.

Он подтянулся на сильных руках и перемахнул через подоконник. Был Гришка парень рослый, с массивным подбородком, напористым, чуть с ироничкой взглядом изпод выпуклых бровей, и когда говорил, то было ясно, что его мнение лучше не оспаривать — сокрушит.

Мы познакомились с ним еще зимой в жарко натопленной и прокуренной редакции районной газеты. Страсть к

перу и бумаге стихийно собирала там каждый день молодых, неопытных, ничего не умеющих, но полных надежд и полемического задора людей, называвшихся тогда начинающими писателями, — и среди них Гришка Ястребов заметно выделялся как своей волевой внешностью, могучим натиском в спорах, так и тем, что уже напечатал в районной газете один рассказ.

Мне рассказ не понравился. Но странное дело! Я усматривал в этом не Гришкину слабость, а свою литературную незрелость и неспособность постичь какие-то тайны творческой магии. Так поработчала нас мощь Гришкиной уверенности в себе.

В то утро, чокаясь со мной дешевым, но вкусным полусухим вином, добытым на рынке у приезжих молдаван, Гришка сказал:

— Выпьем за успех. Я верю, что буду первым... или никем.

Осенью мы оба были приняты в Литературный институт. Помню свое ощущение полуреальности мира, когда доселе почти неодушевленные, нематериальные авторы прочитанных книг вдруг явились мне в образах живых, осязаемых людей. Старец из прошлого века Телешов и совсем еще бодрые Тихонов-Себеров и Никулин, при взгляде на которых думалось, что Чехов, Толстой, Горький, Куприн не так уж далеко от нас во времени, а Бунин, как ледник, сохранивший в печальной душе своей ушедшую Россию, жив и поныне и еще не написал «Бернара», где скажет вещие слова: «Думаю, я был хорошим художником»... Высокий, стройный, изящный Фадеев и его улыбка, трогающая не только губы, а озаряющая все розовое юное лицо, его седина, не серая, не голубоватая, не с прозеленью, не с желтизной, а совершенно белая, как хлопок... Неторопливый, тихий голос Паустовского, голос сказочника, голос странника... Умное, сложенное из мелких черточек лицо Леонова со взглядом каким-то издавека, со страданием... Бас и монолитный, памятниковый облик «бровеносца» Луговского... И Пришвин — эдакий цыган-конокрад на покое — с его колдовскими речами... И маленький, как мушкетер, сероусый, с кругло-выпуклыми под веками яблоками глаз Серафимович в пышном окладе прощальных цветов...

Помню нашу институтскую библиотеку, убереженную от всех поветренных изъятий... Помню Тверской бульвар в пурпуре и золоте осени, в пушистых снегопадах зимы и

задумчиво-печально склоненную голову бронзового Пушкина в свете старинных граненых фонарей... Помню трепетную радость постепенного приобщения к искусству и знанию через книги, лекции, встречи, товарищеские споры, литературные удачи и разочарования...

Гришка воспринял институт по-своему.

— Раньше мы теряли время каждый в одиночку, а теперь собрались все вместе и теряем его сообща, — говорил он. — Работать, старики, надо, работать!

И Гришка работал. Его работоспособность граничила с самоистязанием фанатика. После лекций, наскоро перекусив в столовой Камерного театра, где нас по-добрососедски кормили недурными обедами, он запирался при помощи ножки стула, вставленной в дверную скобу, в пустой аудитории и выходил оттуда под утро, обросший сизой щетиной, с воспаленными глазами.

Он писал роман о белорусских партизанах.

— А что ты о них знаешь? — как-то поинтересовался я. — Ведь если сам не партизанил, то...

— Ты наивен, старик, — усмехнувшись, перебил меня Гришка. — Лев Толстой партизанил в двенадцатом году? Нет? Вот то-то. Я пошлялся недельку по Шкловскому и Оршанскому районам, схватил внешнюю обстановку, а чтоб мужиков писать, мне не занимать статью.

«Писать мужиков» на Гришкином языке означало «создавать образы».

Не помню, в каком из белорусских издательств роман вскоре вышел в переводе на еврейский язык. По тем временам выход у студента книги был событием в институтской жизни. Мы ощупывали увесистый томик с непонятными письменами, оттиснутыми на грубой бумаге, и проникались к Гришке завистью, почтением и восторгом.

— Работать, старики! Работать надо! — раскатывался Гришка в самодовольно-счастливом смехе.

Летом мы разъехались на практику, — вернее, скудно снабженные командировочными рублями, отправились кто куда, людей посмотреть, себя показать. Я и Гришка Ястребов попали с бригадой журнала «Смена» на Куйбышев-гидрострой.

Ах, дорога, дорога! Одно это слово уже волнует меня... Стук вагонных колес... вихрь пропеллера... шаги по зарастающему подорожником и овсяницей проселку...

Когда хлеба наберут колос и начинают поспевать, они

теряют свою ярко-зеленую окраску и на короткое время, прежде чем пожелтеть, становятся седыми. В эту пору и увозил нас из Москвы ташкентский поезд. Уже в самой дальности его назначения тайлось очарование: не какой-то там пригородный — ковровский или муромский, а ташкентский! Чем дальше уносил он нас от Москвы, тем меньше было лесов и перелесков. Массивы ржи медленно кружились за окном вагона, и кто-нибудь из пассажиров нет-нет да и замечал вслух, что хлеба в этом году стоят отменные. Говорилось это по нескольку раз в день, но всегда принималось как новость и вызывало среди остальных пассажиров деловитое оживление — глядели в окно, согласно кивали головами, заводили разговор о видах на урожай.

Я впервые ехал на такое большое расстояние, и все, что вершилось в вагоне и за его пределами, было преисполнено для меня обостренного интереса и особого смысла. Проносились мимоезжие города, деревни, поля, рощи, стучали мосты, мелькали серые телеграфные столбы, опускались и снова взлетали провода, и огромная протяженность страны ощущалась с такой непосредственной очевидностью, что невольно смущала мысль о тщетности усилия познать и увидеть ее всю.

А потом размахнулась перед глазами Волга. И она тоже смутила своей мощью меня, выросшего на Клязьме, с ее капризными излуками, мелководными тинистыми старицами, спокойными заводями в белых лилиях и желтых кувшинках, плакучими ивами, склоненными над водой. Одиноким и затерянным в неоглядном просторе почувствовал я себя, впервые став на гористый берег Жигулей. До сумерек было еще далеко, но в оцепенелом безветрии, в желтизне солнечных лучей уже чувствовалось медленное угасание дня. Река словно остекленела. Бутылочно-зеленая вода монолитной массой стремилась вниз, и на ее поверхности не было ни волны, ни всплеска. Лишь далеко на середине да у берега, где затонул отломившийся от гор камень, она была взрыта грядями мелких волн. В бледно-голубом, каким оно бывает только перед закатом, небе купались чайки. С огромной высоты они кидались к воде, и казалось, вот-вот разобьются об нее. Но нет! Чайки — легкие и стройные — снова взмывали к небу, упоенно кружились в пем, и серые крылья их казались серебряными под лучами низкого солнца — серебряными в голубом... Вот одна из чашек бросила короткий стонущий крик, и вся стая

ответила ей надрывным плачем. Они точно звали кого-то, кто не придет. Они знали это, но все-таки настойчиво кидали в пространство свой бесплодный зов...

И тоже смущающим был поначалу водоворот здешней жизни — средоточие в тесном распадке Жигулевских гор рокочущих тяжелых машин идвигающих ими людей с Урала, из Башкирии, с Украины, из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Грузии... Нет, казалось, не объять эти тысячи судеб разумом и не выразить словом.

Гришка заскучал здесь через неделю.

— Эта коловерт только мешает мне, — брюзжал он. — Путает, отшибает в сторону от основной струи романа. Поеду-ка я домой, старики. Работать, старики, поеду.

— Схватил внешнюю обстановку? — спросил я.

— Схватил, старик, — сказал Гришка. — И поеду домой вписывать в нее своих мужиков.

Осенью в институт он не вернулся. Глухо прожил всю зиму у матери на картошке, воде и хлебе, а к весне появился в столице с романом о волжской стройке. Помню, как он, усталый, счастливый, хмельной, сидел у нас в общепитии за непокрытым фанерным столом и щедро угощал ребят из аванса за принятый журналом роман, то и дело, как заклинание, твердил свое:

— Работать надо, старики, работать!

Пример был очевидным. И некоторые из нас, поддаваясь его соблазняющей силе, начинали думать: «А сем-ка я тоже, брошу все и взбодрю роман или повестушку...»

За лето Гришка женился, стал жить у жены под Москвой в просторном светлом доме с мезонином и двумя верандами. Близко к дому подступал лес, где росли грибы, по неглубокому оврагу бежал ключевой, не замерзающий зимой ручеек, наполняя омуты прозрачной, темно-зеленой в глубине водой.

Жена у Гришки была под стать ему — крупная и вся какая-то яркая женщина, которой ни к чему косметика. Густые волосы начищенной красной меди, блестящие зеленые глаза, белая, не загорающая кожа, полные красные губы — все в ней дышало жизнеобильной породой.

Мы теперь редко виделись с Гришкой. Он опять работал над новым романом, а любая внешняя помеха в его работе расценивалась в доме с мезонином как святотатство. Иногда, приехав в этот дом, я просто не видел хозяина, о чем, впрочем, не очень сожалел, предоставленный

самому себе. Было особенно хорошо здесь зимой, когда над темной водой ручья среди снегов вился тонкий туман и красное перо поплавка косо шло в глубину, увлекаемое строптивым пескарем.

Галина — Гришкина жена — была гостеприимна и приветлива, но до пределов, за которыми лежало рабочее время ее мужа. Если Гришка засиживался после завтрака, она подходила к нему, гладила его жесткие волосы и говорила:

— Ястребочек, нам пора работать.

— Иду-иду, старуха, — с готовностью откликался Гришка и поднимался к себе в мезонин.

Вечером, после ужина, повторялось то же самое.

— Ястребочек, нам нужно спать, а то завтра утром ты не сможешь работать.

И было видно, что Галина горда своей ролью его опекуни и помощницы и что перепечатка рукописей, подшивание газет, отыскивание нужных книг, справочников, календарей составляют для нее истинное наслаждение.

Комната в мезонине была завалена этой справочно-информационной литературой. Гришка писал роман о колхозной деревне, и на двух столах, на диване, на подоконнике, на полу лежали развернутые подшивки «Сельскохозяйственной газеты», брошюры, справочники председателя колхоза и агронома, календари природы, заложенные бумажными ленточками на многих страницах, и, когда роман был написан, все это сейчас же сменила справочная литература по металлургии, потому что Гришка начал работать над романом о Магнитогорске.

Гришкины романы печатались. Следуя за всеми превратностями времени, они имели видимость остроты, и автор их был венчан признанием, популярностью, литературными премиями. Гришка бежал за временем по пятам, и оно не давало ему передышки. Эта погоня даже представлялась мне в осязаемо-зримых образах. Жидкая серая масса времени, подобно океанскому отливу, отступает перед Гришкой, а он босиком, в толстовской блузе бежит за ней и не может замочить даже кончики пальцев.

Просторную блузу из суровья под шнурочный пояс Гришка, действительно, завел. Надевал он ее только дома и был патриарше величественен в ней, когда спускался из своего мезонина по скрипящим под его телесной массой

ступеням. За поясok он засовывал большую и толстую записную книжку, которая не уместилась бы в кармане, и часто во время прогулки, обеда или разговора что-то размашисто начертывал в ней.

— Покажи, Ястребочек, — требовала Галина и, прочитав, неизменно одобряла: — Это — гвоздь, Ястребочек. Ты молодец!

Случилось так, что мы не встречались с Гришкой несколько лет. К тому времени я уже перестал читать его романы, находя в них тех же Гришкиных «вписанных в обстановку мужиков», сработанных как по колодке, и теперь ехал в загородный дом, предчувствуя ту неловкость, которая должна возникнуть, если Гришка спросит о своих романах.

При встрече и за обедом он не спросил. Сам Гришка как-то объял за эти годы — надолго опускал набрякшие веки, мял свой массивный подбородок, говорил медленно, нехотя. Перед обедом выпил несколько больших рюмок водки, закусив редиской, и, когда опять потянулся к графину, жена остановила его:

— Ястребочек, ты не сможешь вечером работать.

— Отстань, — поморщившись, сказал Гришка, но пить не стал.

После обеда он вопреки обычаю не поднялся к себе в мезонин, а позвал меня гулять. На нем по-прежнему была холщовая блуза, за поясом торчала записная книжка, но появилась и новая привычка — опираться при ходьбе на суковатую палку с серебряной насечкой.

Мы прошли через пронизанный солнцем, наполненный птичьим щебетом лес к ручью, постояли над водой, прислушиваясь к ее бурлению, подобному тихому звону, и вдруг Гришка, шумно выдохнув, сказал сквозь зубы:

— Бабу свою ненавижу.

Я не нашелся, что сказать ему в ответ, да он и не ждал никакого ответа, продолжая говорить как бы сам с собой.

— Знаю, что несправедлив, а все мне кажется, что это она понуждает меня к моей литературообразной стряпне. Вроде, не будь ее, не будь этого дома, и я писал бы совсем по-иному.

— Ну и пиши, — сказал я.

— Не могу, старик, — вздохнул Гришка. — Я словно

серпантин жую. Надо или всю ленту вжевать или оборвать. А оборвать уже духу нет. Я ведь знаю, что меня тут же забудут, если я перестану выдавать в год по роману. Мудрый старик Вильям Шекспир верно сказал: время проходит, а с ним проходит все временное. О своем времени нужно писать вечным словом.

Вернувшись с прогулки, Гришка опять не поднялся в мезонин, сидел на открытой веранде в поскрипывающем плетеном кресле, опустив веки, мял подбородок.

В поникших от зноя клумбах перед верандой свиристели кузнечики.

— Курятником пахнет, а? — спросил вдруг Гришка, не открывая глаз.

— Каким курятником, Ястребочек? — встревоженно спросила Галина, подходя к нему сзади. — Никакого курятника у нас нет.

Она по-прежнему была красива пышной здоровой красотой тридцатипятилетней женщины, и все та же искренняя гордость сопричастницы к работе мужа сквозила в каждом ее взгляде на него, в каждом движении к нему.

— Когда же мы сегодня будем работать, Ястребочек? — спросила она, запуская руку в его жесткие волосы.

Гришка нагнул голову, вынул из-за пояса свою толстую книжку и размашисто черкнул в ней несколько слов.

— Покажи, Ястребочек, — потребовала Галина с привычной уверенностью протягивая руку.

Он вырвал из книжки листок, сунул его жене и зашагал через клумбы прочь.

Галина держала перед собой листок на обеих ладонях и долго вчитывалась в то, что было написано на нем, потом вдруг с криком оттолкнула его от себя, точно омерзительного паука, и убежала в дом.

В растерянности я машинально поднял с полу этот косо оторванный листок и, прежде чем успел сообразить, что совершаю бестактность, одним взглядом промахнул короткую фразу:

«Осточертела ты мне, проклятая баба».

Я понял, что хозяевам теперь будет не до меня. Положив листок на прежнее место, на пол, как будто никто и не поднимал его, я спустился с веранды и пошел на станцию.

Старые тополя на бульваре моего родного города всегда вызывают у меня воспоминания о далеком прошлом, и не потому ли я так люблю побродить по бульвару, особенно в ранний утренний час, когда влажный воздух пропитан запахом тополиной листвы. Ведь мир воспоминаний населен людьми и наполнен событиями не менее интересными и значительными, чем день бегущий. В воспоминаниях друзей и близких бессмертен человек. Воспоминания неистребимы, даже если уже исчезли с лица земли люди, дела и вещи, вызвавшие их к жизни.

В этот раз, приехав в К., я мельком увидел на бульваре двух знакомых людей, с которыми, по сути дела, не был знаком, но так часто встречал их в прошлые годы, что в представлении моем они были неотделимы от города как часть его истории.

Они стали старше на тридцать лет, оба заметно потучнели, обрели плавную неторопливость в походке и прочное спокойствие в выражении лиц. У него на воротничок рубашки набегала толстая складка шеи, было бело-розовое лицо здорового, трезвого и некурящего человека, в одежде бросалась в глаза подчеркнутая чистота и аккуратность. Она же — эдакая крупная, красивая полнотелой красотой женщина, медленная и даже величавая — спокойно глядела перед собой кустодиевским взглядом.

Рукава его пиджака, застегнутого на все три пуговицы, были, как и прежде, засунуты в карманы. Он не носил протезы.

Даже через тридцать лет память легко подсказала историю этих людей. Перед войной они, может быть, единственный раз поцеловались на школьном вечере где-нибудь в залитом лунным светом коридоре или под этими лопатавшими листвой тополями. На фронт она написала ему два письма; он не ответил.

Когда вскоре он вернулся в город без обеих рук, она пришла к нему и сказала, что никогда не уйдет. Он прогонял ее; нарочно, чтобы обидеть, ругал самыми бранными словами, бился головой о стену, истерически вопя, что лучше убьет себя, чем позволит ей ухаживать за ним. Но она не ушла.

На первых порах ей, семнадцатилетней девочке, любив-

шей романы Тургенева и разводившей у себя во дворе пионы и георгины редких сортов и необыкновенной красоты, пришлось справлять за ним весь грязный уход. Это было, наверно, тяжелым испытанием, тем более что он ошестинивался против любого проявления ее заботливости. А сам в это время бегал к хирургам по госпиталям, которые тогда были размещены почти во всех школах города.

Каким-то непостижимым хирургическим волшебством приспособленные сначала держать ложку, его короткие култышки со временем оказались способными держать и рейсфедер. Он стал работать на заводе чертежником, калькировал медленно, но аккуратно и точно, и ему поручали неспешную, но особо тонкую работу.

Узнал я, что работает он там и поныне.

Мы восхищаемся красотой подвига-порыва, но есть неэффективный внешне подвиг самоотверженной любви на всю жизнь, за который люди еще не придумали награды...

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Приближение болезни я почувствовал еще в пути и, когда вышел из вагона у деревянного вокзала маленького северного городка, то уже знал, что мне не избежать больницы койки.

Больница была тоже деревянной. Серые некрашенные бревна ее построек казались какими-то скитами и должны были действовать удручающе не только на больного человека, но и на здорового. И короткие дни северной зимы тоже были серы, мглисты, мутны, точно окна снаружи занавешивались грязными простынями.

Сколько насчитал я этих тягучих, как резина, дней, — несть числа!

Но по календарю на юге уже была весна и двигалась, подтачивая снега, озаряя небо синью марта, накаляя добела солнце, двигалась на крыльях теплых ветров к маленькому северному городку.

В один из ясных мартовских дней мне было позволено гулять. Необыкновенной радостью вдруг обернулись в этот день самые обычные вещи. Приятен был запах бобрового воротника на легком морозе, скрип досок на промерзшем крыльце, вороний, уже совсем по-весеннему хриплый, кар,

и сверканье первой тоненькой сосульки на водосточной трубе, и особая встревоженность разномастных собак, рыскавших по больничному двору в поисках объедков... Но еще большей радостью пронизывало сознание выздоровления, входившего, казалось, в меня с каждым глотком чистого колкого воздуха.

Больница стояла на окраине города. Город жил лесом и поэтому давно уже свел лес на много километров вокруг, и теперь сверкающая снежная равнина лежала передо мной на сколько хватал глаз. Точно поредевшее войско деда Мороза, толпились кое-где низенькие пеньки под круглыми снежными шапками.

Я спустился с крыльца и, повернув за угол, увидел старика в нагольном, узко приталенном полушубочке, заячьей шапке и высоких валенках. Белая борода его золотисто сквозила на солнце. Мне, давно уже не говорившему ни с кем, кроме врачей, сестер, санитарок и больных, захотелось переброситься хоть несколькими словами со свежим человеком, и я сказал:

— Здравствуй, дедушка. День-то какой славный, а?

— Чистый денек, прямо — хрусталинка, — улыбнулся старик.

Улыбки его не было видно в бороде, но она так и брызнула из его зеленых от этого обилия света глаз.

— На пенсии уже, наверно, дедушка?

— Пенсия пенсией, — все так же сияя глазами, сказал старик, — а я еще тружусь.

— Где же?

— А на поприще продления рода человеческого.

— Это как же прикажешь понимать тебя — буквально или иносказательно?

— Как ни на есть буквально.

— Не пойму я что-то, дед.

— Проще простого понять. Истопник я в родильном доме. Вот и выходит, что тружусь на поприще продления рода человеческого. Понял теперь?

Ах, лукавый старик! Весь день я пересказывал наш разговор больным в палате, а когда приходила сестра, меня заставляли пересказывать ей, потом — врачу, потом — санитаркам, и у всех в палате было такое ощущение, что собрала нас здесь не болезнь, а случайное недоразумение, которое вот-вот должно разрешиться, и мы вернемся в этот сияющий мартовской синевой и солнцем мир.

Сюжет этого рассказа давно занесен в мою записную книжку и ждет своей очереди уже много лет. По совету Чехова, писатель должен быть холоден, когда пишет, иначе он запоет фальшивым голосом. Я чувствую, что сфальшивлю, и поэтому, наверно, никогда не получится у меня этот рассказ...

По соседству со мной (умолчу, в каком городе и годе) жила женщина, занимавшая в том городе ответственную, как у нас говорят, должность (словно есть должности безответственные) и очень непривлекательная собой. Была она косоглаза, один глаз у нее затянуло голубовато-мутным бельмом, а другой смотрел так, точно дырку в тебе прожигал. Ходила она боком, — этим глазом вперед, — опустив плечо, вытянув в ниточку тонкие губы, и какой-то малыш на улице однажды сказал ей вслед:

— У-у, какая злющая тетка.

Провалившись по госпиталям после войны еще семь лет, вернулся на нашу улицу к старой матери безногий сын. Мать вывозила его в коляске гулять. Он ловко играл с пенсионерами одной рукой в домино, потому что вторая рука у него совсем высохла, или просто сидел в тени уличных лип, пьяненький, учил мальчишек сквернословию и плевал в прохожих.

К осени мать умерла. А в погожий день бабьего лета, когда в синем небе золотом горели кроны лип, его вывезла в коляске гулять та самая женщина.

Они поженились. У них не было свадьбы, никто не видел, когда они ездили расписываться, но она взяла его фамилию, поменялась квартирами с соседями первого этажа, а в комнате, где он жил раньше с матерью, поселились новые люди. И он с тех пор был всегда трезв, как-то светел и радостен, не сквернословил и не плевался.

Одного за другим она родила двух детей — мальчика и девочку.

После женитьбы он вообще стал реже выходить на улицу постучать с пенсионерами костяшками, и поэтому, когда исчез совсем, на это не сразу обратили внимание. Потом стало известно, что он живет в доме для инвалидов в другом городе, и на улице во все тяжкие засудачили о ней у каждых ворот, у каждого дома. Она проходила мимо

молча, сжав губы, прожигая всех своим взглядом, как раскаленной спицей.

Однажды она развешивала на веревке после стирки детское белье, а наш дворник, тоже инвалид войны, с которым он, бывало, частенько выпивал в каптерке, как они называли дворницкую, поносил ее бранными, грязными словами. Она молча закончила свое дело и ушла, а дворник крикнул ей вслед:

— Не занавесишься от стыда пеленками-то!

Тогда жена дворника — могучая женщина в сапогах и клеенчатом фартуке — треснула мужа по затылку и громко сказала:

— Ты, балабон, пеленки не тронь. Ты их не стирай. Ты за собой портянки не выстираешь. А ей при двоих детях еще за ним ходить — так, пожалуй, переломишься. Тогда дети куда?

— Зачем рожала? — возразил дворник.

— Опять дурак, — сказала дворничиха. — Какой бабе деток не хочется? А ее кто возьмет за себя, такую некасиую? Вы ведь как? Сам — пугало, а подавай ему кралю червонную.

— Деток! — фыркнул дворник. — Могла и так прожить.

— Тьфу, — плюнула ему под ноги жена. — Так-то ты про нас думаешь! А потом сам же язык свой поганый чесать станешь, плести про бабу всякое... Да и должность у нее, — вздохнув, добавила она, — там этого не одобряют, чтоб без мужа у бабы — дети. Никак не одобряют.

— Эт-то так, — обескураженный поворотом дела, сказал дворник.

Женщина та вскоре уехала с нашей улицы, — опять поменялась квартирами и живет теперь в новом доме на окраине города. А я так и не могу до сих пор написать рассказ на этот сюжет. Сначала надеялся на время, которое иногда помогает холодно оценить взволновавшие тебя поступки людей, но, видимо, время это еще не пришло. Да и сама жизнь не подсказывает мне конец рассказа. Погодки у той женщины выросли и оба заканчивают институт. Это очень красивые молодые люди, особенно девочка, — легкая, стройная и быстрая, как ласточка в полете. Я встречаю их иногда в городе, но не решаюсь спросить об отце, — а вдруг неосторожно и грубо заденешь чужую боль? Знаю только, что он живет все в том же доме инвалидов.

В Подмоскowie, вблизи истока большой реки, есть санаторий для сердечников. Санаторий как санаторий: белый корпус о двух этажах, открытая веранда, шелканье бильярдных шаров в холле, запах пригорелой каши из кухни, баян, культурник Сения в шелковой тенниске, скука.

Сюда-то и приехал в начале августа отставной полковник Иван Степанович Крестьянинов после тяжелой и долгой болезни. Первые дни он почти не покидал плетеную качалку на веранде; от слабости часто засыпал в ней, а проснувшись, не сразу приходил в себя и крепко тер лицо сухими ладонями, улыбаясь растеряннo и смущенно.

Через неделю главный врач назначил ему прогулки по маршруту на двести метров. Он спускался через темную ореховую рощу к реке, шел берегом до купальни пионерского лагеря, возвращался, отдыхая несколько раз на подъеме, и все думал о том, — думал иронически и грустно, — что эти педантично отсчитанные метры уже не имеют для него никакого значения. И если бы ему сказали, что жизнь, счеты с которой он считал поконченными, напоследок взбудоражит его душевным потрясением невероятной силы, он бы только так же иронически и грустно усмехнулся: «Разве что это сама костлявая?»

Стоял прекрасный август — один из тех, когда сухая палящая жара перемежается освежающими дождями с ворчунoм-громом за горизонтом и все цветет, зреет сильно, ярко, благоуханно, обильно.

Иван Степанович Крестьянинов гулял уже по маршруту на шестьсот метров. К пижаме за свою военную жизнь он так и не удосужился привыкнуть, надевал теперь рубашку взаправку, отутюженные брюки на тугом ремне и таким не потерявшим выправки молодцом с прямо посаженной серебристой головой шел по берегу, поигрывая тонкой ореховой палочкой.

Однажды, как обычно, собираясь гулять, он спустился по трем широким ступеням санаторного портала и остановился на секунду, чтобы потянуть остуженный недавним дождем, пахнущий грибами воздух. В то же самое время он увидел идущую мимо женщину с таким знакомым лицом, таким знакомым, близоруким прищуром, та-

кой знакомой походкой, что замер на полувздохе и, не сознавая в испуге, что говорит вслух, спросил:

— Кто это?

Его сопалатник, читавший на лавочке под липой мокрую газету, усмехнулся.

— Ну, батенька, значит, окончательно ожили, если вас красивые женщины стали интересовать. Это жена главного.

— Невозможно... Извините...— пробормотал Иван Степанович.

Сопалатник вскинул на него поверх очков удивленный взгляд, но ответить ничего не успел, только плечом пожал: блажит-де старик, и опять углубился в газету, а Иван Степанович, сорвавшись с места, задыхаясь на быстром ходу, сдавленно крикнул вслед женщине:

— Да постой же! Это я!..

Она остановилась.

Она оглянулась.

Она близоруко прищурилась на него.

Она выговорила совсем неподходящее к случаю, нелепое слово:

— Подтяжечки...

И он увидел, как мертвеет ее еще такое яркое и свежее лицо.

Машинально они попили прочь от санатория, от любопытных глаз, смятенные и подавленные. Наконец она спохватилась, что ему трудно поспевать за ней, обернулась, сжала ладонями его виски и заплакала. У Ивана Степановича тоже плыло и туманилось перед глазами ее лицо.

— Как же так? — сказал он.

— Я ничего не понимаю,— ответила она. — Ведь я сама видела на нем голубые подтяжечки... Я сама их видела!

— О чем ты?

— погоди, все путается... Давай сядем где-нибудь, меня ноги не держат.

Они прошли еще немного по берегу и сели на врытую в землю скамью. На реке, смеясь, визжа и горланя, барахтались в своей купальне пионеры, вожатая что-то кричала им в мегафон, никому не было дела до старика и женщины, сидевших, казалось, в полной санаторной праздности на скамье под прибрежным осоком.

— Сын? — отрывисто спросил Иван Степанович, низко наклоняя голову, словно подставляя еще под один, уже последний удар.

— Жив, — сказала она. — Работает в Мурманске, морской инженер.

— Невероятно... — прошептал Иван Степанович.

Она взяла его волосатую жилистую руку, прижала ее к своей щеке.

— В тот день, когда ты приказал женщинам и детям покинуть заставу... Который это был уже день?

— Девятый.

— Да, девятый день... Сколько дней вы еще держались?

— Четыре.

— Так вот, мы шли и все оглядывались на заставу. Там за дымом ничего не было видно, а наутро с высокого берега Буга увидели над заставой красный флаг и поняли, что вы еще держитесь. Смотрели на флаг и плакали, тискали плачущих ребятишек и никак не могли уйти, прятались в кустах. Ушли лишь ночью, когда флаг перестал быть виден. Вы все еще держались.

— Да, еще четыре дня держались, — машинально повторил Иван Степанович. — Потом меня ранило. И не знаю, сам ли я уполз в болото или кто-то из живых товарищей оттащил меня, только очнулся я уже в деревне. Там мне сказали, что женщин, которые ушли с заставы, немцы расстреляли, а детей увезли куда-то.

— Почти так, — сказала она. — Вышли мы удачно, нас прятали у себя крестьяне, но потом все-таки какой-то подлец выдал немцам. Ты помнишь, что в первый день, когда начался артобстрел, я вскочила в одной рубашке, и все у меня сгорело вместе с нашим домом, и я надела свитер с убитого немецкого мотоциклиста из тех двоих, что, помнишь, нечаянно заскочили на заставу.

Так вот, они обвинили меня в том, будто я убила немецкого солдата, и повели на расстрел. Я отдала Вадика Дусе и Клавю... Помнишь их?.. И пошла. Меня поставили лицом к сараю, а потом вдруг схватили за плечи, повернули и повели на допрос к их офицеру. Почему-то до сих пор помню, что у него на пальце было кольцо с черепом... Там уже были Дуся и Клава... Он требовал, чтобы мы показали на заставу дорогу, которой вышли. Мы отвечали, что шли наугад и никакой дороги не знаем. Да, впрочем,

так оно и было на самом деле. Несколько раз нас водили к сараю, а потом вдруг перестали, словно забыли, и мы поняли, что на заставе все кончено. Через несколько дней нас проводил туда старик, у которого мы прятались. Душе некого уже было там искать, она осталась с детьми в деревне. А мы с Клавой пошли. Клава сразу нашла своего. Он был с отрубленными ногами, голова замотана шинелью. Мы сняли шинель, и Клава увидела бинты, которые сама накладывала на его рану. А тебя мы долго не могли найти, приходили на развалины заставы несколько раз, разрывали могильные холмы. Наконец в одной яме, куда были свалены и убитые лошади, нашли обезображенный труп... Документов в гимнастерке не нашли, но на нем были новые голубые подтяжки... Ты, наверное, уже не помнишь, что накануне налета ходил в баню, и я положила тебе в чемоданчик новые подтяжки. Ты их выкинул, а я опять положила, и мы даже немного поссорились из-за них. Поэтому они мне запомнились, и я решила, что это ты.

Похоронила, несколько раз после войны ездила туда, на могилу...

Она опять прижалась щекой к его руке.

— Я потом сложными путями все-таки перешел через линию фронта,— сказал он,— пробовал наводить о тебе справки — ничего.

— Где же было найти! Я до сорок четвертого была в оккупации, потом поселилась вот здесь, работала поварихой. Тогда это был не санаторий, а госпиталь... Вадика я привезла из оккупации еще живого, и, скажу откровенно, если бы не моя работа на кухне, он вряд ли бы выжил.

— Он помнит меня?

— Нет. Но знает, что отец его погиб.

— У тебя есть еще дети?

— Да. Двое. А ты женат?

Он покачал головой:

— Так и не смог. Прожил было с женщиной около года, а потом оба почувствовали, что мы совершенно чужие друг другу, и разошлись.

— Ведь, наверно, тебе и стакан воды подать некому, когда заболеешь?

— Да, я сразу зову неотложку, и — в больницу.

Она заплакала, бормоча сквозь скомканный платок, которым зажимала рот, чтобы не разрыдаться:

— Что же нам делать?.. Что же нам делать?..

— Ну зачем ты, перестань,— ласково сказал он. — Что теперь поделаешь? Ничего делать не надо. Я уеду сегодня в Москву.

— Ты очень болен?

— Да.

— Позволь мне навещать тебя. Оставь адрес.

— Хорошо,— подумав, сказал он.— Только ничего никому не говори. Все должно остаться как есть.

— Я сама не своя сейчас... Я ничего не соображаю...

— Успокойся и подумай. Ведь у тебя еще двое, а я, не для жалких слов говорю, уже не жилец.

— Не надо так!

— Что уж там. Это правда.

В тот же день, сославшись главному врачу на «семейные обстоятельства», Иван Степанович уехал из санатория.

В Москве после санаторных приволий ему показалось жарко и чадно, он плохо спал по ночам, садился в майке у открытого окна и, подставляя грудь потоку прохладного ночного воздуха, думал. Жена навсегда осталась в его памяти тоненькой, худоплечей девочкой с маленьким Вадиком на руках, какой он видел ее в последний раз, когда она покидала осажденную пограничную заставу, и теперь с чувством смущения и недовольства собой не находил в себе никакого чувства к ней, теперешней сильной, цветущей женщине, кроме прежнего чувства безнадежной утраты, которым раньше точила его мысль о ее смерти.

«Это, может быть, самое страшное, что накорезила проклятая война,— думал он.— Никто из нас не убит, но жизнь нашу она все-таки унесла... Где, где в этом мире ты, моя девочка с маленьким сыном на руках?..»

Ночь помигивала в окно неяркими летними звездами; Ивану Степановичу становилось холодно, он кутал плечи одеялом и, согрившись, засыпал лишь незадолго перед самым рассветом.

Эти бессонницы изнуляли его, но в остальном он чувствовал себя сносно и дотянул так до осени, пока вдруг, казалось бы, пустячный случай опять не опрокинул его.

На завтрак и ужин он привык довольствоваться бутылкой кефира или стаканом чая с бутербродом, а обедал в столовой неподалеку от дома. Он так привязался к этой столовой, к ее сложным запахам из кухни, к ее кисейным занавесочкам, к одной и той же официантке в кружевной

наколочке, к тусклой копии с фламандского натюрморта на стене, что, когда в конце лета столовую закрыли на ремонт, он не захотел изменить ей и готовил себе на обед сам какую-то ужасную стряпню из концентратов. Но вот столовая наконец открылась, и он с разочарованием, переходящим в брезгливое раздражение («Ох уж эти нововведения!»), не нашел в ней ничего от привычного. Исчезли занавесочки и салфеточки, исчез фламандский натюрморт, исчезла официантка в наколочке, и вместо запахов из кухни — запахов жареного лука и печеного теста — стало пахнуть от разноцветных пластмассовых столиков сальной мочалкой. Но главным, что вызвало его неудовольствие, было самообслуживание. Все приходилось тащить на стол сразу — и суп, и жаркое, и кофе, затем возвращать поднос, идти в буфет за минеральной водой, и при всем том у него начали дрожать руки, и он расплескивал суп и кофе по подносу.

Однажды он уронил поднос и, уже не владея собой, стал громко бранить новые порядки, а заодно и горничную, убравшую битую посуду. Его посчитали пьяным; вышла из своего кабинета заведующая, холодно сказала: — Пойдемте со мной.

«Упаду. Скандал», — успел подумать он и повалился на подвинутый кем-то стул.

Через несколько дней он оправился и пожелал увидеть сына, мурманским адресом которого заручился еще раньше. Одевшись в свою безукоризненно отутюженную форму без погон, с колодками всех орденов и медалей, он приехал в такси на вокзал, купил билет, но, выбравшись из душной очереди у кассы, вдруг схватил за рукав милиционера и сказал:

— Скорей проводите меня в медпункт.

Там, на жестком, обитом холодным дерматином топчане он умер, прежде чем ему успели оказать какую-либо помощь.

БЛИСТАЮЩИЙ МИР

Когда летишь в самолете над облаками, то видишь внизу не просто облака, а особый, как бы иной мир, с неповторимыми формами, красками и такими же особыми

и неповторимыми влияниями на все существо твое. Понимаешь тщетность стараний охватить этот блистающий непорочной чистотой мир пятью человеческими чувствами, и с томлением, с болью хочется тогда вырваться из своей телесной оболочки и свободным всепознающим духом влиться в этот свет и беспредельность.

Вот так я летел, кажется, из Челябинска и вспомнил одного человека, знакомого мне, которого теперь вдруг как-то легко и сразу понял, а раньше не понимал.

Встретил я его в тяжелом сорок втором году в огромной землянке военного лагеря под Тейковым, где нас, девятиклассников, помаленьку приучали к будущей армейской жизни. Было это существо доброе, безответное, подслеповато смотревшее через очки близорукими глазами, а без очков становившееся совсем беспомощным и до слезных спазм трогательным. Поев в столовой пшенной каши без масла и соли, оно забиралось на солому, на первый этаж нар и, поджав к подбородку колени, мечтательно изрекало:

— Теперь бы чего-нибудь сладенького...

Потом я не видел его лет шесть и вновь встретил в редакции районной газеты, где стал бывать по средам на занятиях литературной группы. Он значительно опередил меня в литературных начинаниях, печатал отрывки из повести, впрочем, как оказалось, не существовавшей в законченном виде, писал стихи и успел поучиться на сценарном факультете кинематографического института, который бросил не то через полтора, не то через два года.

Он был талантлив, но ленив. Прямо-таки классически, грациозно ленив. В институтском общежитии он как-то надел правый ботинок на левую ногу, а левый — на правую и, лениясь переобуться, проходил так весь день. Вечером, заметив это, студенты возмутились, распластали его на койке и выпороли ремнем. То ли экзекуции был придан шутливый оттенок, то ли наказуемый был от природы необидчив, но рассказывал он мне об этом случае легко, со смехом, походя.

Мы задумали с ним писать вместе повесть. Пока шло время бурных споров, пока плутали мы в лабиринте сюжета, пока витали перед нами в загадочном тумане образы героев, он был деятелен и неистощим на оригинальные выдумки. Но, когда настала пора сесть за письменный стол и водить перышком по бумажке, пора черной работы, он

исчез. Однажды я силой привел его к себе, поймав на улице.

Была весна, бело-розовой пеной вскипали под окном цветущие яблони.

Он попросил пить. Я вышел, а когда вернулся с ковшем воды, в комнате его не было. На столе лежала записка: «Боюсь, заставишь работать. Удрал в окно, в мир».

Я невольно взглянул на этот закоренный мир, на клубы яблоневого цвета, на золотые и синие облака по горизонту, и томящее чувство, похожее на то, что испытывал я теперь в полете над облаками, мягко сжало мне тогда сердце.

Знакомый мой стал работать в редакции секретарем и уже ничего не писал даже для этой скучненькой районной газетки, а только со строкомерной линейкой в руках изо дня в день однообразно макетировал ее номера. Вскоре он женился и очень любил свою жену, но она все-таки была несчастлива с ним, потому что осветить ее жизнь какой-нибудь, хоть малой, радостью он, казалось, был просто не в силах.

И вдруг он исчез. В один день бросил работу, жену и уехал, словно, как тогда у меня, шагнул за окно, в мир. Его скоро забыли: неглубоко прошелся он плугом своих дел по ниве жизни. Некоторое время в городе можно было встретить его жену — в платочке, завязанном на подбородке, с плаксиво опущенными углами губ — и при этом хотелось сбежать от встречи на другую сторону улицы. Потом как-то незаметно исчезла и она.

— А всему причиной рожь, — рассказывал он мне семь лет спустя.

Опять была весна, но уже в другом городе, где от слов «порт» и «море» не веет экзотикой и они обыденны, как в наших хлебопашеских глубях континента слова «село» и «поле». Весна здесь пахла йодом и миндалем. И еще всем сложным букетом южного рынка, где мы случайно встретились у бочки с мальвазией.

— Не знаю, что тогда со мной было, наваждение какое-то, — продолжал мой знакомый. — Приехал я по профсоюзной путевке за девять рублей в дом отдыха. Ты знаешь его, — лесок, грибы, ягоды, речка, песчари, раки. Пошел как-то ночью гулять и вышел из лесу к ржаному полю. Днем здесь бывал — поле и поле. А тогда — стоит в

небе июньская луна, холодная, далекая, и рожь в ее свете сияет голубым блеском. Меня этот блеск точно миллион холодных спиц пронзил. Я и уже как будто не я стыну перед чудом. Отчаяния моего ты, наверно, не представишь, когда я подумал, сколько не видел в жизни и не увижу никогда. Право же, решил в тот момент, что лучше не жить с таким гвоздем в башке... Но, видишь, жив и только стал с тех пор неуемн и ненасытен в открытиях чудес мира сего. Нет, я не путешественник,— прибавил он, помолчав.— Я работник. Жена этого не поняла и вышла за другого. Я же по девять месяцев не видел земли, плава- вая матросом в северных морях, даже цингу нажил. Смотри.

Он оскалил нержавеющий ряд зубов и засмеялся.

— Пригодятся при штурме издательств. Закончил книгу.

Мы не расставались весь день, а я все дивился игре подспудных сил души,двигающих человека по неисповедимым путям жизни.

САПОГИ

Начальник инженерно-геологической партии Косарев вылез из палатки и, любуясь эластичной игрой мускулов на своем торсе, стал делать утреннюю гимнастику.

Он был молод и еще не успел до конца переболеть обязательной, как корь, болезнью, симптомы которой состоят в навязчивом стремлении подвергать любое явление жизни пробе на вопросы «почему?» и «зачем?». Нагибаясь, приседая и подпрыгивая, он думал о том, почему настроение человека зависит от таких в сущности преходящих мелочей, как погода, сон, завтрак. Он отлично спал — недолго, но глухо, без сновидений, без проблеска сознания,— утро вставало над степью свежее, ясное, в сухом сверкании осеннего солнца, завтрак обещал быть гурманским — кумыс, мясо подстреленной вчера дрофы, растворимый кофе,— и вот настроение у него такое, что хочется рвануться в солнечную синеву небес и купаться в ней, как вон тот канюк, парящий высоко над палаточным лагерем.

Косарев упал па руки, чтобы тридцать раз отжаться от земли, и канюк, словно подражая ему, тоже ринулся к земле, заметив с подоблачных высот какую-то добычу.

— Ах, дуралей! — сказал Косарев, увидев, что канюк нырнул в заложенный геологами шурф.

Охотясь за змеями, эти птицы часто попадали в шурфы и бились там до изнеможения в тщетных усилиях расправить свои широкие крылья и снова взмыть в родную стихию небес. Тогда приходилось накидывать на пленника куртку, спускаться в шурф и помогать канюку выбраться на волю.

Косарев отжался тридцатый раз, поднялся и полез в палатку за курткой и сапогами. Без резиновых сапог в шурф спускаться было нельзя, потому что за ночь туда набивалось до десятка гадюк, которых надо было еще пришибить камнем или геологическим молотком на длинной ручке.

Куртку и молоток Косарев нашел, а сапог на месте не оказалось.

Он вспомнил, что вчера его заместитель по хозяйственной части Сосновка взял у него отслужившие срок носки сапоги, обещал принести новые и вот — не принес.

«Ну, почему людям непременно нужно напоминать об их прямых обязанностях?» — спросил себя Косарев, и настроение у него стало не совсем плохое, но все-таки хуже, чем давеча.

Сосновку он нашел в складе, где тот обычно ночевал, если с вечера поругался с женой. По той же причине завхоз, наверно, забыл и про сапоги.

— Сосновка, — сказал Косарев, — времени половина шестого, и, между прочим, дай мне сапоги. Взял вчера мои, а новые не принес. Почему?

— Одну минуту, Юрий Михалыч, — ответил сиплым со сна голосом завхоз.

Он долго зевал, потягивался, кряхтел, отплеывался, потом закурил, и Косарев, глядя на его серое даже под степным загаром лицо, думал:

«Ну, почему люди так наплевательски относятся к своему здоровью? Курят до завтрака, пренебрегают физическими упражнениями, ссорятся на ночь с женами, встают утром в дурном расположении духа... Почему?»

Он думал так, и настроение у него самого становилось от этих мыслей все хуже.

— Размер какой? — спросил Сосновка.

— Сорок первый.

Завхоз, согнувшись, ушел в глубь склада и вскоре вынес новенькие, в седой пыли талька сапоги.

— У меня, Юрий Михалыч, — сказал он, — накопилось пар тридцать списанных. Надо бы уничтожить, а то от них в складе не повериешься.

— Уничтожь. За чем же дело встало? — сказал Косарев.

— По инструкции положено в вашем присутствии.

— Ну, вот оно — мое присутствие. Валяй действуй, как положено, — усмехнулся Косарев, а про себя подумал, что на всякие пустяки зачем-то существуют специальные инструкции.

Сосновка опять ушел в склад и стал швырять оттуда сапоги, пока не нашвырял большую черную грудку, зеркально поблескивающую на солнце глянцевыми голенищами. Потом он выкатил толстый чурбан, поставил его на торец, как плаху, и топором с широким лезвием стал в два удара отрубать сначала от головок носки, а потом головки от голенищ. Удары по резине получались плескучие, как пощечины. Изрубив пар десять, Сосновка сложил резиновую лапшу поодаль от склада в кучу и, полив из бутылки бензином, поджег. Черный вонючий дым поплыл в сторону по легкому утреннему ветерку. Пламя в черном дыму билось оранжевое, зловещее, как на антивоенном плакате.

К складу за какой-то надобностью, а может быть, просто так, пришел наемный рабочий — старик Авдей Мионов. Когда он нанимался на работу, его из-за ветхости не хотели брать, но он вырвал у молодого парня лопату и стал копать, да так сноровисто и неутомимо, что к обеду вынул из шурфа земли больше всех. Он был махонький, этот старик, с гнутой, как серп, спиной и длинными толстыми руками.

— Здорово живете, начальники, — сказал он. — Эко товару-то сколь накидали — купцы!

Он поднял из груды один сапог и стал вертеть его у подслеповатых глаз, щупать, пощелкивать по подошве. Сапог был целехонек, как, впрочем, и все остальные. Сосновка тем временем опять принялся за свое занятие — стукнул топором раз, и отскочила чашечка носка, стукнул два, и отвалилась, похожая на колено трубы, головка.

Видно, только теперь Авдей Миронов уяснил смысл происходящего. Он прижал ко груди сапог и в изумлении посмотрел на орудующего топором Сосновку, а потом на Косарева, точно недоумевая, почему начальник не останавливает завхоза, который не иначе как сбесился. И Косарев под этим взглядом вдруг как бы со стороны увидел и себя, и палачествующего Сосновку, и этот инквизиторский костер, и нелепость того, что здесь делалось, стала ему до обескураженности очевидной.

— Они что — сапоги-то... Заразные, что ли? — неуверенно спросил Авдей Миронов.

— Какого еще черта — заразные, — прикрикнув, ответил Сосновка. — Вышел им срок носки, и — под топор.

— Дык ведь прочные совсем сапоги!..

— Прочные не прочные, вышел срок носки — подлежат по инструкции уничтожению.

— Ты погоди, милоч, — быстро заговорил Авдей Миронов, придерживая занесенную руку Сосновки. — Ты, милоч, отдай их мне... Я в них полсела обую, в поле ходить... К нам их не привозят, сапоги-то... Зачем же добро под топор?

«Да, зачем?» — спросил себя Косарев и, морщась, сказал вслух:

— Ты, Сосновка, и верно, отдай-ка сапоги старику, пусть в село унесет.

— Нельзя, Юрий Михалыч, — возразил завхоз. — По инструкции мы не имеем такого права.

— Почему?

— А я знаю?

— Ну, продай, — настаивал Авдей Миронов.

— Еще хуже придумал! Не могу, дед... Да отпусти ты руку-то мою, черт двуличный! Впился, словно клешней, — отбивался от него Сосновка.

— Хоть одну цару продай!

— Уйди!

— Сосновка, — опять вмешался Косарев, но уже не так уверенно. — Отдай, право, ну их к черту...

— Да что вы, Юрий Михалыч! — взмолился завхоз. — Порядка не знаете? Я раз вот так же на Кольском раздал валенки, а потом пошел слух, будто я их пропил... Выговор по партийной линии схлопотал, едва под суд не угодил... Хватит с меня, учен... — Он вдруг криво усмехнулся в сторону Авдея Миронова и прибавил:

— Ты лучше укради, дед. Хватай пару и тикай па полусогнутых. Мы глаза закроем.

— Вот и вышел дурак,— без злобы, но угрюмо сказал старик.— В мальчишестве на ярмарке украл глиняный свисток — до сих пор уши горят.

Он бросил в кучу сапог, который все еще прижимал одной рукой ко груди, и отошел в сторону.

— Кончай, что ли,— раздраженно сказал Косарев и почувствовал, что от его хорошего настроения не осталось и следа.

Когда обрубки последнего сапога были брошены в костер, он вспомнил о канюке, попавшем в шурф, и пошел вытаскивать его. Геологи берегли этих птиц, помогавших им бороться со змеями. Шел он и в утешение себе думал о том, что скоро сюда придут строители и возведут большой новый завод и что такие мелочи, как поношенные сапоги, не стоят того, чтобы из-за них портилось настроение.

Но оно все-таки было у него испорчено...

Отойдя шагов на двадцать, он оглянулся. Сосновки не было,— должно быть, ушел в склад, а старик Авдей Мионов сутуло стоял над костром и, видимо, в знак порицания содеянного над сапогами злодеяствия мочился в черный дым и оранжевый огонь.

ОГОНЬ

В ту зиму стояли сухие жгучие морозы. За ночь дорожная чайная промерзала так, что отсыревшие в кухонном пару обои покрывались пышными лишаями игольчатого инея.

Однажды утром, с трудом оторвав примерзшую к косякам дверь, в чайную вошел шофер тяжелого лесовоза Василий Силов, молча подвинул к печке стул, поставил ноги в затвердевших валенках на охапку дров и открыл печную дверцу.

Хилый огонек, возившийся там, в дровах, зацадил серенькой копотью и погас.

— Изверг ты! — со слезами в голосе сказала буфетчица Ленка.— Я на два часа раньше встаю, чтобы разжечь ее, треклятую, а ты загасил.

— Ничего,— сказал Сиров.

Он вынул из кармана засаленных и холодных, как жель, брюк складной нож, настрогал с полена тонких стружек, надрал бересты, нащепал лучины, переложил по-своему дрова в печи — нишей — и развел под ее сводом огонь. Скоро печь ревела, высасывая из чайной студень, провонявший табаком и сальными котлами воздух.

Ленка повеселела, проворней забегала по маленькому, на пять столиков, зальцу, дышала в ладони, тыкала на столы солонки, перечницы. Была она вся кругла — и щеки, и плечи, и грудь, и задик, и даже ножки были круглы в икрах, и, казалось, натолкнись она на стенку — отскочит, как мячик.

Среди леспромхозовской бойкой шоферни, часто залетавшей в чайную, Ленка слыла бабенкой доступной, хотя никто не мог убедительно и достоверно сказать, что пользовался ее расположением. Так, видно, выкобенивались друг перед другом своей удалью и болтали зря: раз живет бабенка одна, без мужика, с нагуленным где-то мальчонком, значит — понятное дело.

— Эй! — крикнул от печки Сиров. — Дай-ка мне водки.

Ленка даже не повернулась к нему.

— Сдурел? — только спросила она, вытирая горячей тряпкой обледеневший пластикатовый прилавок. — При дороге не торгуем. Да и с машиной ты.

— Дай, говорю, дура, — повысил голос Сиров. — Заболел я, не видишь?

Он и впрямь весь как-то обмяк на стуле, ноги у него ехали по железному листу у печки, а лицо было красно, в крупном поту.

— Погоди, я на плитке погрею, — всполошилась Ленка.

И вскоре принесла стакан теплой водки, которую Сиров выпил залпом, стуча стаканом о зубы.

— А машина? — спросила Ленка.

— Ребята поедут, отбуксуют... А я готов... Зря выехал, — то ли хмелея, то ли окончательно слабея, едва говорил Сиров и закрыл глаза.

Ленка постояла над ним, потрогала его липкий от пота лоб, залезла рукой за рубаху, ощупала спину, грудь.

— Горишь, Вася, — сказала она. — Пойдем-ка ко мне, полежишь. А за машиной я пригляжу. Пойдем, Вася, не беспокойся.

Через смерзшиеся звенящие сугробы закутанного по-

верх стеганки пуховым платком привела Ленка Силова в свою избу, уложила в постель, а когда за ним приехали из леспромхоза, чтобы увезти в больницу, не отдала, ругалась с шоферами их же крепкими словами и выходила сама.

Васька Силов был человеком нелегким. Поэтому и занимал в общежитии хоть и крохотную — три на четыре шага, — но отдельную комнатуху. Жил в ней грязно, пьяно, голодно, ничего не имел, кроме немытой кружки да замасленной шоферской робы, и к лучшему, видно, не стремился. Друзей у него не было, — только собутыльники, да и те непостоянные, на час, потому что во хмелю Васька ни с того, ни с сего бил их в морду. Двинет и молча, угрюмо смотрит, ждет — обидится человек или нет.

Теперь со сливой то под одним глазом, то под другим стала ходить Ленка. Но всегда она умела повернуть так, что Васька в этом ее украшении был вроде бы непричищен, — или терла полы с мылом и поскользнулась, или впотьмах на косяк налетела, или сапог с полатей некстати упал. В селе дивились Ленкины соседи, в леспромхозе — знавшие ее шофера: зачем ей этот угрюмый мужик, почто терпит от него, неласкового? Да и не баловал ее, надо сказать, Васька своими наездами. Не на каждой неделе вваливался в ее чистую, высланную пестрыми половичками избу, усталый, грязный, и сначала пил, ел, а потом уже мылся на задах в баньке и заваливался спать...

Летом, когда лилось с неба беспощадное огненное солнце, взялось пожаром придорожное село с чайной. Мелкую ребятню заперли в каменной, стоявшей поодаль от села школе, а взрослые кидались, кто с чем, на огонь, стараясь сбить его со своих изб и дворов.

На пожаре всегда, даже в тихую погоду, бывает ветер. И вот словно оранжевым лоскутом, оторванным от огненного вихря, накрыло вдруг Ленку, и все на ней — платишко, волосы — взвилось короткой вспышкой пламени.

Кто видел ее тогда, говорили, что она осталась стоять черная, как головешка. Глаза у нее остались целы, и такой она увидела себя сама. Ее пытались оттащить подальше от огня, но она рвалась из рук, оставляя в них клочья обгоревшей кожи, и кричала:

— Зачем я ему теперь? Зачем я ему такая?

И, вырвавшись, побежала в огонь, в гудящий, добела раскаленный смерч.

Скорей всего, она не выжила бы после таких ожогов, но все было так, как было. И об этом, конечно, рассказали Ваське.

В тот же день Силов нашел в школе, где разместились погорельцы, Ленкиного мальчонку Ромку и молча повел его за руку к своему лесовозу. Председателю сельсовета Латынину, инвалиду войны, орденоносцу, когда тот попытался вмешаться и остановил их, пообещал оторвать вторую ногу.

— Да ведь его в детдом сдать надо. Я ж в ответе,— взывал Латынин.

— Во, видел — детдом? — спросил Силов, показывая сбитый на железках кулак.

— Да почто он тебе? — спросил Латынин.

— Усыновлю. Мой будет.

— Да ведь ты кот!

— Во, видел — кот? — опять сказал Силов.

В общежитии он призвал к себе в комнату уборщицу, старуху Пашуту, вывалил перед ней на стол ком пятерок, рублей, трешниц и приказал:

— Смотайся, карга, за жратвой и учини мне здесь чистоту. С занавесками, с посудой... Поняла?

Сельчане опять дивились: ну, останься за Ромкой изба, материно добришко, тогда понятное дело, а так — зачем коту мальчонка? И подбивали Латынина взять у него Ромку по суду, но Латынин, хлебнувший в свое время горя и помудревший на его горькой выучке, рассудил подождать, посмотреть, что будет дальше.

Той осенью Ромке пришла пора учиться в школе. Силов привез его на лесовозе, и на Ромке, как на всех, была серая, чуть не по росту школьная форма с белым подворотничком, а за плечами — блестящий дерматиновый ранец...

Тому уже много лет. Ромка теперь живет в городе, учится в техникуме. Силов без него снова захламил, запустил комнату в общежитии леспромхоза, где работает теперь уже по ремонту машин, и только перед студенческими каникулами призывает к себе совсем уже состарившуюся Пашуту и приказывает:

— Учини-ка мне здесь, карга, чистоту.

Она прибирает комнату, обстирывает ее хозяина, и он все дни, пока гостит Ромка, ходит чист, трезв и смирен.

Случилось мне как-то прожить несколько дней в тульском селе, в избе колхозницы Нюры Стрепетовой, пока добровольные механики со всего села помогали шоферу Коле чинить машину, на которой я ехал.

Нюре тогда было около сорока лет, и цвела она, как золотая осень, яркой, зрелой, чуть грустной красотой.

Коля — лихач за рулем и в любви, молодой, с бесшабашинкой парень — говорил про нее, судорожно вадыхая:

— Опаляющая женщина. Не то, что те болонки.

Каких «тех болонок» имел он в виду, было неизвестно; я только знал, что болонками он называл всех маленьких крашенных в блондинок женщин и относился к ним пренебрежительно.

Нюра была стройна и туга телом, с лицом румяно-смуглым, с тяжелым комлем черных, но кое-где выцветших до медной рыжины волос на затылке и взглядом каким-то медленным, обволакивающим. И чем красивее выглядела Нюра, тем в большее раздражение приводило Колю то обстоятельство, что замужем она была за мужичонкой вовсе пустяковым. Возможно, в парнях он был и хорош собой — рослый, с крупными правильными чертами лица, — но теперь от запойной жизни припух весь, обряк, нездорово побагровел и к тому же, опохмелясь какой-то дрянью, потерял голос, — сипел со свистом и клекотом.

По своеобразной Колиной системе определения человеческой сущности он был «коптителем».

— Что это такое — коптитесь? — спросил я.

— Не горит мужик, коптит только смрадно и зловонно, — объяснил Коля.

В колхозе коптителем не работал, шабашил, где придется, по печному ремеслу, а еще промышлял лепкой из гипса и раскраской копеек-копилок.

Нюра, видимо, брезговала им, не пускала пьяного в избу, и он спал в сарае на сушилах, если мог туда забраться, а нет — валялся прямо у лестницы в пыль и щепной мусор. Тогда рядом с ним пристраивалась собака Стелка — серо-рыжая сука с хвостом в репьях, — и он, наваливая на нее тяжелую пьяную руку, сипел ласково;

— Ах ты, про-по-о-и-иц...

В хмельном изнеможении он был спокоен, но, когда случилось ему не допить, зверел и кидался на людей, всегда с расчетом выбирая слабого.

Однажды ночью мы с Колей были разбужены шумной возней в кухне, грохотом табуреток и сипящим свистом копителя. Колю подкинуло, как пружиной. Я выскочил вслед за ним в кухню и увидел, что копитель, схватив Нюру за распущенные волосы, тащит ее к входной двери, а Нюра молча, лишь тихо постанывая, чтобы, видимо, не услышали дети, старается разжать его пальцы и освободить волосы.

Мне показалось, что Коля хрястнул по руке копителя чем-то тяжелым, — такой был хрусткий, сухой звук. Копитель схватился за руку и грязно выругался.

— Маленько я ее, стерву, до топора не дотащил, — с трудом выдохнул он. — Быть бы ей без башки.

Почувствовав в небольшом, но жилистом, ловком Коле силу, превосходящую его дряблую массу, он отступил и, уходя, просипел:

— А вы сейчас же... к чертовой матери...

Нюра пятерней выбирала вырванные волосы.

— Ложитесь. Он теперь не придет, — устало проговорила она.

Коля заикнулся было что-то сказать, но Нюра перебила его:

— Я же в рубашке стою. Идите, ложитесь.

Мы вышли.

Утром, как обычно, я проснулся позже Коли. Из боковушки через тонкую перегородку мне было слышно, как Нюра звякала чашками и говорила:

— Нет уж, Коля, что теперь от меня осталось... А в девушках я, правда, хороша была. Только быстрое это время. Мигнуло, как огонек на ветру... Мне семнадцати еще не было, когда немцы сюда пришли, но я была здоровая, рослая и знала, не уберегусь от этих рыжих кобелей, ежели не схитрю. Ох, что я над собой только не делала! Лицо в кровь ногтями раздирала, грязью мазала, чтобы струпья пошли. За пазуху сухой навоз клала, чтоб разило за версту, в рванье со вшами ходила... От этой-то грязи, думаю, отмоюсь.

— Эх, — с досадой сказал Коля и чем-то крепко при-

стукнул по столу. (Это, как я узнал потом, было у него ребро ладони намято до каменной твердости.) — Подумать, для кого эдакую красотищу берегла!

— Он не всегда такой был, — опять послышался ровный голос Нюры. — Ушел на фронт, мы и погулять-то успели два-три вечерочка, а когда вернулся, сразу поженились. И жили хорошо. Вон, видишь, — четверых народила. Это ж не по неволе делается.

— Ребята у тебя славные, — сказал Коля.

— В любви нажиты, — вздохнула Нюра. — Они всегда так-то хороши выходят.

— С чего ж он у тебя пьет?

— А кто вас, мужиков, поймет, с чего вы пьете? Протрезвеет, поплачет, покается и опять — горькую. Баловство. На суде оправдывался и такую небывальщину про меня наплел, — если б не дети на мне, руки б на себя наложил.

— На каком суде? Какую небывальщину? — спросил Коля.

— Да и вспоминать-то об этом — на душе погано становится. Суд ему товарищеский был за пьянство, когда он еще в колхозе работал. Так он сказал, будто через то пьет, что я в войну с немцем путалась, офицером, который у нас стоял... Все вы тут, кричит, немецкие подстилки... Врет. Я девушкой за него пошла... Даже нецелованной...

В горнице долго молчали.

— Гнала бы, — послышался наконец глухой Колин голос.

— Эко у тебя все просто, — усмехнулась Нюра. — Гнала, а он не идет. Летом в сарае спит, а зимой приползает на крыльцо — нешто я без сердца, дам замерзнуть? Подумаю, что отец он моим, и открою.

— Бабы... — сказал Коля и вздохнул тяжело, протяжно.

Видно, нелегкую задачу задала жизнь молодому бесшабашному уму его. В этот день мы уехали. Всю дорогу Коля молчал, лишь изредка роняя нелестные замечания по поводу усердия самостоятельных сельских механиков в ремонте его машины, и, только когда открылись нам вдали кущи Ясной Поляны, спросил — кого? Меня? Незримый дух великого мыслителя Толстого?

— А подумаешь — что, право, делать бабе? Э-эх....

Мы слушали очень хорошего певца и вышли из зала притихшие, боясь расплескать то сложное настроение восторга, грусти, окрыленности, какое способна создать только музыка.

Был тихий морозный вечер. Острый пушок инея игольчато сверкал на тротуарах, крышах, заборах, фонарных столбах. Фонари висели в темном воздухе, как огромные фиолетовые пузыри. Замерзшие окна троллейбусов светились изнутри рыже и тускло.

Кто-то один из нас вздохнул, и, вторя ему, все тоже дружно вздохнули.

— Если бы у меня был голос! — сказала женщина, любившая попеть слабым, еле слышным голоском для себя, когда шила, или готовила обед, или в нестройном хоре праздничной компании. — Если бы мне голос, я бы охотно пела людям, где только можно. Без просьб, без уговоров, без бисов, без аплодисментов... Пусть меня ненадолго хватило бы, но я пела бы всюду — на сценах, площадях, в ресторанах, с балконов...

— Да, это, пожалуй, счастье — петь людям и видеть, что голос твой находит отзвук в их душах.

Это сказал сослуживец той женщины — невысокий застенчивый человек в большой мохнатой шапке, точно придавившей его своей громадностью — и, видно, почувствовав несоответствие своего облика с высокой патетикой сказанных слов, добавил смущенно:

— Эко я кудряво загнул.

Мы опять шли молча, прислушиваясь к себе и к хрусту инея под ногами, потом тот самый маленький человек в шапке задумчиво сказал женщине:

— А может, одного голоса-то и мало... Вот я давеча в зале видел слезки у вас на глазах, и за это певцу честь и хвала. Но, пожалуй, даже этот народный певец не может похвастаться таким успехом, какой имел однажды многогрешный.

Мы остановились, точно враз примерзли к тротуару.

— Ну, уж вы того...

— Как это?

— Когда?

— Вы?..

— Представьте себе, я,— сказал человек в шапке.— Многие ли сегодня в зале плакали? Вот вы, ну еще, может быть, три-четыре чувствительные дамочки. А я однажды вызвал слезы всего зала. Там было больше трехсот женщин — и все не просто тихо пускали слезу в платочек, а рыдали откровенно и громко.

— Ну, это уж похороны какие-то,— сказал один из нас.

— Никакие не похороны, а обыкновенный концерт самодеятельности в фабричном клубе. Мне тогда было лет девять, и жил я с матерью в ткацком поселке. Маленьком таком, глухом, с одной фабрикой и станцией, где останавливался один поезд в сутки. Ну, сами догадываетесь, война тогда была. Поселок затемнен, холодно, голодно, ткачихи по двенадцать — восемнадцать часов из цехов не выходят... Ветер, помню, в этом поселке как-то особенно уныло свистел, подлец. Там росли высокие тонкие сосны, вот он на них и выводил, как на тоскливых струнах... Клуб был — кубическое, очень неуютное сооружение. Не отапливалось, конечно. И вот там наша школьная самодеятельность давала концерт. Собрались ткачихи — полный зал, сидели в пальто, в платках. Мужчин — ни одного. Воздух в клубе от дыхания отсырел, и пахнуть стало, как в ткацком цехе, — жирной влагой, хлопчаткой. Старшеклассники разыграли какую-то партизанскую пьеску, спели про синий платочек, поплясали, а потом вышел на сцену я. Что такое было тогда это «я»? Востроносая синюшная рожица, тонкая шея в хомуте широченного воротника, огромные валенки с голенищами раструбом... Петь мне нужно было какую-то артековскую песенку, слова которой и сейчас не помню и тогда забыл, как только очутился перед залом. Учительница пения пробренчала на промерзшем клубном роялишке вступление, а я молчу. Она опять дала вступление — молчу. Учительница старается подсказать мне слова, шипит что-то по-гусиному, но я уж ничего не воспринимаю, обалдел совсем от стыда и вдруг, не знаю сам как, запел без сопровождения первое, что пришло в голову. «Позабыт, позаброшен, с молодых-юных лет я остался сиротой, счастья-доли мне нет...» Учительница убежала. В зале тишина стоит мертвая, и только головочек мой слабенько вызванивает: «Вот умру я, умру...» Слышу, в зале женщины начали всхлипывать, а когда я спел про могилку, на которую, знать, никто не придет, ударились все в голос. Никаких аплодисментов мне не было

и бисов не было, но знаете, что женщины кричали из зала? «Ничего,— кричат,— малец, не пропадешь с нами, прокормим, не бросим...» И все в таком духе. Мы с матерью были эвакуированные, почти никто не знал нас в поселке, и ткачихи приняли меня за настоящего сироту. Вот вам и голос... Не голос пел, а горе. А оно жило тогда в каждом сердце...

Он замолчал и, так как мы продолжали идти молча, воскликнул, видимо, желая привлечь наше внимание к главному в своем рассказе:

— А женщины-то! Ткачихи-то! Не бросим,— кричат,— прокормим... Каковы, а?

КОСТЕР НА ВЕТРУ

1

Говорят, что теперь этот город на Днепре живет в тени садов, дышит запахом роз и тамариска, слушает шум новозданного моря, но я застал его еще в те времена, когда он только зачинался и представлял собой хаотическое сочетание асфальта и вязкого песка, изящных колоннад и безобразных времянок, первоклассных машин и выгребных уборных, молодых парков и захламленных пустырей.

Удивительная осень стояла тогда. В одну ночь вдруг растаял крупитчатый снег, запахло, как от разломленного арбуза, и влажный ветер с юга принес бархатистое осеннее тепло.

В один из таких дней, полных тепла и ветра, я зашел на строительство Дворца культуры. Там, у дощатого сарайчика, куда рабочие складывали инструмент, полыхал костер. Ярко-белое бездымное пламя металось из стороны в сторону, припадало к земле и опять взвивалось кверху, хлопнув на ветру, словно длинное полотнище. Вокруг, как я и ожидал, собрались рабочие. Эти сходки у костра, сложенного из щепного мусора и смоченной в мазуте пакли, происходили регулярно на стыке двух смен. Многие жили на стройке бессемейно и, приходя на работу раньше времени или не спеша возвращаться на железные койки своих общежитий, травили здесь под разговоры махру и табак. Когда я подошел, разговор имел оттенок легкой перебранки.

— Они роят на всенародной стройке, а что же такое — не разумеют, — бранил кого-то каменщик Микола Федчук.

— Брось, надоело. Это мы на каждом столбе читаем, — с ленцой и пренебрежением в голосе отозвался однорукий штукатур Ананий Волков.

И сейчас же штукатур Гриша Астахов гвозданул кулаком воздух:

— Правильно, Микола Василич! А ты, Волков, молчал бы, если за длинным рублем сюда приехал.

— Верно, головастик,— усмехнулся Ананий. — В точку попал. А ты тут зачем?

— Я?

— Ты.

Кто-то предусмотрительно потянул Гришу за стеганку, и он ограничился одним лишь словом: «ш-штык!» — выражавшим, судя по интонации, высшую степень презрения.

— А что? Я правду говорю, как умею,— сказал Федчук.— Я в Канаде из-под палки за шестерых робил, а они на всенародной стройке за себя сробить не могут.

Из местной газеты мне было известно, что Федчук работал сначала на гашении извести, потом в свои пятьдесят восемь лет пошел в ученики, стал каменщиком, усовершенствовал шаблоны для кладки кирпича, и «теперь его портрет не сходит с доски Почета». Так писала газета. О Канаде там не говорилось.

— Ты заведи его, заведи! Он такие эллипсы начнет выгибать — только держись,— посоветовал мне Ананий Волков.

— Эге ж! — улыбнулся Федчук.— Мной судьба забавлялась, как ветер листом. Из края в край кидала, и такое от нее я терпел, что рассказать — не поверите. Пришлось и тяжело, и горько, и солотко. Даже капиталистом был.

— Ты уж лишнего на себя не наговаривай,— с испугом сказал Гришка.

— А ей же богу!

— Вот и загнул бы чего-нибудь, чем зря собачиться,— посоветовал Ананий.

— Зачем загигать? Без брехни,— сказал Федчук.— Родом я с Буковины, гуцул, а нас в то время богато тикало в Америку.

2

— Вы не подумайте, что во мне бес какой-нибудь зудливый сидел,— нет! Смолоду я хозяйствовать любил, по колена в земле стоял, руки в нее по локоть завязил, и, если бы не нужда, никогда бы меня оттуда не выколупнуть.

Первый раз стронулся я с места в двенадцатом году. Раньше до ветру ходил — на хату оглядывался, а тут вдруг попал сразу в тридевятое царство. Засевчик у нас был махонький, ртов в семье богато, вот батька и записал меня у вербовщика в Бразилию. Робил я там два года на маисовых плантациях, скопил кое-как на дорогу и подался до дому. И куда меня только потом не кидало! В австрийской армии был, в русском плену был, в Канаде был, в Соединенных Штатах был...

— Да ты не скачи, как заяц! Валяй от печки, — перебил его Ананий.

— Ну, добре. Вернулся я из плена, женился, народил двух дочек, оглянулся на свое житье и дюже зажурился. Хата, гляжу, завалилась, кусать нечего, дочки мои брызны просят, а у меня одни буряки. Тут опять агент навернулся — вербует в Канаду лес валить. Думаю, бес с ним. Спытаю еще раз судьбу. Жинка по слабости пола, конечно, плачет, не пускает... У нее в Канаде батька и два брата сгинули. Но я хозяин: постановил и поехал. Было это в двадцать шестом уже...

— Какая же у вас тогда власть стояла? — полюбопытствовал Ананий.

— Румынская.

— Что же ты у нас-то не остался, когда в плену был? — с изумлением в голосе спросил Гриша.

— А мать? А батька? А хата? — не сразу ответил Федчук. — Во сне Буковину видел...

— Да не сбивай человека! Дай рассказать, — вступился за Федчука Ананий.

— Ну, как из Гавра до Квебека ехали, — про это и рассказывать нечего. Всю дорогу в трюме сидели, — продолжал Федчук. — В Квебеке выстроили нас на палубе, врач каждому веки завернул, потом сторожа в цивильном платье загнали всех по вагонам и повезли. Куда — никто не знает. Я уж тертый калач был. Думаю — не-ет, ученые мы по вербовке робить. И решился тикать. Был у меня лист — письмо от соседа Маковчука до его брата в город Виннипег. Поезд как раз в том Виннипеге остановку сделал, я и тикал через окошко. Вышел на площадь, а т-а-ам!.. Автомобили гудят, трамы грохочут, люди, как муравьи, палкой помешанные, бегают... Никак не разумею, куда мне идти. Словил какого-то дядю за рукав, су-

нул ему письмо: укажи, мол, добрый человек, где Маковчук живет. Он и указал — понял. Иду до Маковчука: так, мол, и так — имею от вашего брата лист.

«Какого брата? Нема у меня братьев! И листа я не хочу».

«Как, — говорю, — нема братьев! По твоей же роже видно, что ты самый что ни на есть Маковчук с-под Черновиц!» Засмеялся.

«Ладно, говорит, иди до хаты, я шутил».

Переспал я у Маковчука, утром дал он мне пятнадцать центов, научил, как найти в городе офис — контору, как спросить там работу, а напоследок сказал:

«До меня назад не ходи. Нема у меня никакого брата».

— Вот штык! — вставил Гриша.

Федчук раскурил от щепочки мятую папирску, глубоко затянулся и вздохнул:

— И тут я оказался фирменно битый... Нашел в городе тот самый офис. Стоит дом с колоннами вроде театра, перед ним площадка, а на площадке наро-о-ду — как лесу. Вижу, какой-то человек на деревяшке манит меня пальчиком. Эге ж, думаю, работу дать хочет. Отошли мы с ним в закоулочек, вдруг он как секанет меня палкой по башке, да еще раз, да еще... Я и упал. Жинка моя! Дочки мои родные!.. Блукаю по городу, плачу, а назад в офис боюсь идти. Под вечер зашел в кафе покушать на свои пятнадцать центов. Гляжу, двое дядей по зеленому столу шары палками гоняют. Один посмотрел на меня и говорит:

«Бить будут».

Обрадовался я русской мове.

«Так я, говорю, уже битый!»

«Еще будут».

«Да за что, добрый человек! Скажи!»

«Дура! — говорит. — Ремень у тебя на штанах с австрийской бляхой, а тут этого духа после войны дюже не любят. Брось».

Ремень я, конечно, пожалел, повернул его бляхой внутрь, а человеку спасибо сказал. Стал он меня пытять, кто я, откуда, зачем приехал. Я ему все, как попу, рассказал.

«Дурень ты, — говорит, — Микола. Не знаю, что с тобой и делать. Ладно, идем со мной».

Привел он меня в какой-то дом. Сидят там круг стола

люди, пьют горилку, едят руками биб¹. У меня даже тряса в коленях сделалась от радости. Подошел к нам хозяин — сивый старичина, как голубь.

«Кто такой при тебе?»

«Возьми к себе крайнца²», — говорит Головатый (моего вожака Головатым звали).

Хозяин только рукой махнул.

«Не надо! Их тут до черта шляется».

«Все же... — просит Головатый. — Хоть на ночь».

«Ты кто?» — пытается меня хозяин.

«Федчук».

«Федчуков много. По прозвищу как?»

«Криводышлый».

Как сказал я это, хозяин даже подскочил.

«Да я ж, — говорит, — из-за твоего батьки в Канаду тикал, язви его в душу! Помнишь, побил я твоего батька, а меня за это судить хотели?»

«Никак, — говорю, — не помню».

«Ну, добре! Садись кушать биб. Он у меня дармовой. Горилка за гроши, а биб дармовой. Но сегодня для тебя и горилка дармовая. Пей!»

Посадил он меня за стол, поит, кормит, а сам все про ридно село пытается. Даже заплакал, как сказал я, что вербу и криницы грозой побилло... Потом повел меня спать. Наверху у него вроде нашего общежития было, только спали по двое в одной койке. Лег и я с кем-то, утром вскинулся — тьфу! Лежит со мной кто-то серый, ледащий, изо рта дух нехороший прет. Хотел я потихоньку встать, а он тоже проснулся, взял с тумбочки пачку газет, сует мне:

«Купи».

«Эх, — говорю, — добрый человек! Откуда ж у меня гроши на твою газету?»

«А ты кто, — пытается, — такой, что у тебя грошей нема?»

«За ними, — говорю, — и приехал с Буковины».

Сосед мой только посмеялся.

«Я, — говорит, — здесь уж двадцать лет пропадаю, ничего доброго не бачил. Вот сейчас газетами кое-как перебиваюсь. А сам я, между прочим, тоже с Буковины, с села Лашкивки».

¹ Биб — гуцульское кушанье.

² Краянец — земляк (укр.).

«Да ты,— говорю,— мой краенец. У меня жинка с Лашкивки».

«А как ее звать?»

«Санда Тодоровна».

«Сорохан?»

«Она».

Как кинется на меня тот человек и ну целовать, и ну плакать... Я думал, порченный какой, толкнул его, а он и говорит:

«Неужели, сынку, твое сердце не чувствует? Ведь я Тодор Сорохан, твоей жинке батька».

Тут и я заплакал.

«Что же мы, батька, будем делать?»

«А что,— говорит.— Утро, пора и снадить».

Шесть недель кормил он меня на свои гроши, а потом нанялся я за сходную цену к фермарю Мандрику на два года. Просил у него грошей вперед.

«У меня,— говорю,— батька грыжей мается, надо доктору платить».

Башкой только покрутил.

«Подождет батькина грыжа. Другие с ней до ста лет живут».

Так и не пришлось поправить батьку. Сожгли его и даже праху не дали. Дюже плакал я, что не осталось батькиной могилы. Страшно это. Был человек и вдруг — фук! — нет ничегошеньки...

Федчук умолк.

Было слышно, как бьются о берег мелкие торопливые волны, стучат голые ветви платанов, и эти звуки ясно давали почувствовать, какая глубокая тишина стояла несколько секунд у костра.

— Когда же ты капиталистом-то был? — подозрительно спросил Гриша.

3

— Это особая история,— вяло откликнулся Федчук.

— Насмотрелся я там на их вольготную жизнь,— продолжал он, постепенно воодушевляясь,— и захотелось мне самому стать капиталистом.

— А, б-бодай тебя! — выругался Ананий.

— От Мандрика ушел я с грошами. Невеликие, конечно, гроши, но все же капитал! Задумал скупать на озерах

у рыбаков рыбу, возить ее в городе по домам и иметь от этого барыш. Знакомый украинец Гнатюк предложил мне компанию сделать. И такой он широкий хлопец был — не захотел скупать рыбу, а будем, говорит, ее сами ловить. Заверили мы у нотариа договор, купили сеть, лодку, провиант, а когда гроши уже подошли, вспомнили, что рыбу-то возить нам в город не на чем. Стали шукать третьего компаньона с лошадей и повозкой. Нашли одного фермаря. Дюже бедный: в землянке живет. Пошли опять до нотариа, перевели договор на троих и подались на озеро Нордбей. Глядим — а оно уже льдом встало. Ну, делать нечего. Срубили мы кемп¹, потом начали лед долбить и пускать под него сети. Ох, и тяжка ж эта работа! Сеть мерзнет, руки на ветру пухнут, со спины иней иголками сыплется. Но рыба идет! За неделю нашвыряли мы больше тонны белой рыбы, шуки, фермарь свез ее в город и продал не по три цента за фунт, как мы гадали, а по пяти. Капитал растет — и настроение у нас растет. Вот, думаю, какой я умный!

Поехал фермарь опять в город. Ждем его неделю, ждем другую... Рыба идет, а фермаря нема! Кончился у нас провиант, потом керосин. Гнатюк бранится.

«Слухай,— говорит,— Микола. Ну его к бису, вшивого фермаря. Ты стереги сеть, а я пойду до городу, куплю кобыленок и зараз назад буду».

Ушел. Я один на озере остался. А зима люту-у-ует, ветер сечет, вша одолевает! Кушаю одну рыбу без соли, огонь кое-как держу, а Гнатюка будто черти поховали. Эх, думаю, не пропадать же мне тут! Испек на углях три рыбы, взял топор и пошел на солнце... В лесу мороз гукает, на деревьях каждая веточка инеем опушилась, поползни — птахи малые — по сосновой коре шур-шур, шур-шур. Тихо, хорошо. Только ведь зимний день какой? Сверкнул — и нет его. Зашло солнце — кругом снег, лес, тьма... Засек я дерево — опять к нему точнехонько вышел: кружу, значит, на одном месте как привязанный. Достал из кармана печеную рыбку, а она будто кость. Отогрел за пазухой, покушал и стал топором яму копать, чтобы согреться. Выкопал по пояс, залез в нее, кричу, плачу, пою, молюсь, жинку зову... Чую — кончаюсь...

Федчук запрокинул голову и некоторое время смотрел в небо, где, быстро меняя свои очертания, бежали облака,

¹ К е м п — лагерь (англ.).

то тут, то там открывая широкие голубые проплешины.

— Эх, нема таких ночей в Радянском Союзе. Как дождался я солнца — не помню. Пошел опять на него. Вдруг вижу — следы! Одни — огромные, с метр, другие — маленькие, зверячьи. Они, может быть, и от лихого зверя, но я уже совсем ошалел: пружу прямо по ним, из последних сил выбиваюсь. Слышу — впереди собаки загавкали. Посвистал я — выскочила из леса стая собачищ, а за ними — человек с винтовкой, на снегоходах. Бросился к нему и не добежал, в снег башкой зарылся.

Оказался он охотник, индеец. Привел меня до своей землянки, зайца облупил, зажарил, дал мне заднюю ногу, а я и укусить ее не могу. Тогда он лепешку испек. Потом накрыл меня кровавыми шкурами, обнял и грел до самого утра... Добрый был человек, ох, добрый! Утром никак одного не пустил — до другого охотника, а тот — до третьего, а уж этот — прямехонько до города.

Ну, в городе я, конечно, стал своих компаньонов шукать. Дознал, что фермари в тюрьму упекли за то, что индейцам водку продавал, а Гнатюка со всеми грошами и след простыл... И стал я опять пролетарием.

Гриша вдруг засмеялся. Он был явно рад, что репутация Федчука осталась незапятнанной принадлежностью к эксплуататорскому классу.

— Ну, а после этого домой подался? — спросил один из рабочих.

— Не-е-е! После я еще пять лет блукал по свету, — отозвался Федчук. — На товарнике под вагоном в Штаты махнул, потом опять в Канаду вернулся — лес рубил, дорогу строил, могилы копал, коров доил... К этому делу я, между прочим, через тюрьму прислонился. Остался зимой без работы, а зима, ох, тяжка в Канаде. Ребята и надумили в тюрьме зимовать. Хотел я полисмену в лицо плюнуть — раздумал. Обязательно бить будет, а там в полисмены не берут человека меньше ста пяти кило весом. Взял тогда кусок льда и вдарил по витрине. Осудили меня на шесть месяцев, держали в тюрьме недолго, а потом послали на ферму коров доить. Там хорошо было. Хлеба давали килограмм, кормили три раза в день, молоко я крал — и вышел к весне с толстой рожей. Потом по объявлению нанялся в город Ванкувер на строительство гидростанции...

— Ну, как там? — заинтересовались все сразу.

— Противу нашего? — Федчук помолчал. — Я тут такой счастливый!

Он оглянулся и, выбрав из всех меня, одетого не по-рабочему, сказал:

— Я имею такой же костюм, как у вас, и мы можем ходить рядом.

— Костюм... Это совершенно неважно... — смущенно пробормотал я.

— О, вы не разумеете! Там у меня не было костюма. А здесь, когда я приехал в отпуск до дому, я всем купил даринки. Матери — хустку¹, жинке — чеботы, дочерям — велосипеды, а батьке — горилки. Себе я купил костюм за семьсот карбованцев и думал, что буду первый на селе. Ну, и что же? Думаете, был я первый? Нет! Я был последний. Теперь куплю костюм за две тысячи. А Ванкувер? Что Ванкувер! Я там жил в яме, робил заступом и был бедный. Мои рабочие руки тянутся к Радянскому Союзу. Недавно корреспондент привел под микрофон, и я стал говорить. «Слышишь, Мандрик! — говорил я. — Это я, Федчук, который робил у тебя на ферме. Теперь я в Радянском Союзе, на всенародной стройке, и уже получил премию, потому что стал изобретателем...»

Я и там был изобретателем. Робил на бумажной фабрике в Эмис-Каминке, стоял во дворе у транспортера, подвешивал к нему деревянные кубари. Как-то лопнула водяная труба — кубари сами и поплыли в дверь на фабрику. Я тогда пошутил инженеру: вот, мол, как вода за нас робит. А утром гляжу — канал роят. Транспортер сломали, стали цепкой кубари по каналу гнать. Восемнадцать рабочих — долой, только трех оставили. Пошли мы в унион — союз — жалиться. Фабрикант и указал на меня: вот, мол, кто во всем виноват. Хотели меня ребята бить, но я в ту же ночь тикал из Эмис-Каминки — небитый... После этого и до дому подался... В тридцать пятом году. Без грошей...

— В тридцать пятом я родился, — задумчиво сказал Гриша.

— Вот я и говорю, что ты головастик, а тужишься квакать, — вскипел вдруг Ананий Волков. — «За длинным рублем!» Мне, может, этот рубль во как нужен!.. Скажи, плохой я штукатур?

— Штукатур ты хороший, — признался Гриша.

¹ Хустка — платок (укр.).

— Ага! А как я этого достиг, знаешь? Я могу рассказать. Тоже с рыбой было дело, как у Федчука, хотя в капиталисты я не лез.

— Расскажи, Ананий,— попросил один рабочий.

— Не буду.

— Ну вот! Растравил, а сам в кусты. Почему не будешь?

— Не буду — и точка. Все одно Гришка меня своими подначками собьет.

— Не дадим! Молчи, Гришук.

— Я молчу...

— Ну то-то! Смотри, ни гугу,— предупредил Ананий.

Маленькое сухое лицо его собралось мелкими морщинами, так что на месте глаз остались только узкие, слюдянисто блеснувшие в свете костра щелочки, и он рассмеялся.

4

— Я потому смеюсь, что очень забавный случай впереди будет,— пояснил Ананий.— С чего уж и начать, не знаю... Короче, пришел я с фронту без левой клешни и сразу упал духом. Детишков у меня теперь счетом восемь, а тогда шесть было. Но это, я скажу, все одно много. Чтобы прокормить такую саранчу, особо при моей штукатурной профессии, позарез две руки нужны. Вот и задумался. А от задумчивости — что? Пьянство. Не знаю, как там в Канаде, а у русского человека это так... Стал я, значит, пенсию свою дотла пропивать, а потом и барахлишко из дому потаскивать. Дотаскался — смотрю, ничего уже не осталось, и надо дальше чем-то промышлять.

До войны любил я рыбачить. Наш край Владимирский — озерный, весь речками, как паутиной, повит: есть где рыбу взять, коль рыбак с головой. А у меня к этому делу сызмала талант был. Ну, и начал я той рыбой промышлять. Летом на червя ловлю, на букару, на ручейника; по перволедью — на блесну; зимой — на мормышку с мотылем. И так ловко насобачился одной рукой насадку делать, что рукатый за мной не угонится. К штанам па коленке у меня клееночка была пришита. Сейчас я на нее червя или мотыля вытряхну — цоп его крючком, и — готово. Одно неспособно было: со льда на глубоких местах ловить. Никак одноручь леску не выберешь. Пихаешь ее в

рот и... гм... И вокруг шеи до пяти раз обернешь, а конец все в лунке. Одно слово — неспособно.

Ловил я, однако, во всякое время достаточно. После выйду на базар, разложу рыбу на кучки — эта десять целковых, эта — пятнадцать, эта — два червонца, а эта для кошки — и за рубль... Поначалу стыдился, глаза прятал, а потом покрикивать стал: «А вот, гражданки, свеженькая! Подходи, налетай, не зевай!..»

Блеснил я как-то по перволедью на озере Мшары. Озеро это провальное, глубины непомерной, чистое, как слеза, и все сосновым бором обросло. Напал я на приглубное местечко — окунь берет редко, но такой черт: ото дна не оторвешь. Никак я с ним одной рукой не совладаю. Потом вижу — на льду еще рыбак появился. Ходит с пешней и все ближе да ближе ко мне подрубается. Подошел вплотную. Глядь — а он тоже без руки. Здорово, мол, приятель! Слово за слово — разговорились. Того Андрюхой зовут. Встали рядом. Я говорю:

«Давай, Андрюха, сообща ловить. Как у меня окунь возьмет, я с леской отбегу, а ты ее у самой лунки поддержи, чтобы за край не задела».

Так и приноровились. Если бы кто со стороны видел, живот надорвал. То я, то Андрюха сорвемся вдруг с места и бежим сломя голову от проруби — умора!

Спаялись мы с дружкой — водой не разольешь. На всех озерах и реках вместе. А после рыбалки — в чайной. Еще пуще стал я запивать. Раньше хоть часть улова домой приносил, а теперь перестал — все начисто пропиваем.

Сидим как-то в буфете на станции, ждем поезда в город, пьем. Всю спустили, только я одну щучонку фунта на полтора ребятишкам оставил. Андрюха совсем уже на сносях, да и я порядком окосел. Вот в таком кураже сели мы в вагон, дружок и говорит мне:

«Дураки мы с тобой, Нанька (он меня Нанькой звал). Корежимся всю зиму на морозе, а можем жить как у Христа за пазухой. Только нахальства набраться».

«Как это?» — спрашиваю.

Выпростал он свою культию, шапку долой — и бойким голосом:

«Добрые, сознательные граждане! Братья, сестры, папаши и мамыши! Подайте калекам на пропитание... Пой!» — шепчет мне.

Спьяну это смешно вроде казалось, я и гаркнул:

«Раскинулось море широко-о-о...»

Одежонка у нас была самая для случая подходящая: рвань рыбацкая. Стали граждане Андрюхе в шапку деньги сыпать. Прошли мы весь вагон. В тамбуре Андрюха деньги в карман начал пихать. А меня, не совру, вдруг затопшило даже:

«Андрюха, — говорю, — брось эти деньги сейчас же, а не то я в морду тебе дам».

«Дурак ты, — говорит. — Мы на них в городе сейчас выпьем. Пошли дальше, привыкнешь».

Чувствую — и сам я виноват, что поддался, и оттого еще пуще осерчал. На боку у меня в противогазной сумке щука болталась. Схватил я ее за голову да хрюсь дружка по морде.

Конечно, будь у меня две руки, я бы его не тронул. Ну, а как мы в равном состоянии, то не зазорно было и по рылу ему разок съездить: не втравливай! У меня все-таки два ордена и четыре медали...

Домой я приехал сам не свой, аж дрожу весь. Две недели на озеро не ходил. Вот тут-то и встретился я со своей совестью. Глажу мальчонку по голове, а сам голову-то вниз давлю, чтобы, значит, в глаза не смотрел.

Помаялся так, потерзался и поехал в Москву. Пришел там на протезную фабрику, показал мастеру кельму, сокол, терку — штукатурный свой инструмент — и говорю:

«Должен ты, трудовой человек, меня понимать. Погибаю через свою нетрудоспособность. Можешь сделать такой протез, чтобы я эти штуки держал?»

«А какую из них, — спрашивает, — тебе в левой руке нужно держать?»

«Вот эту», — показываю на сокол.

«Обожди, — говорит, — померяю».

Мерял он меня всячески, как портной, а напоследок обнадежил:

«Сделаем», — говорит.

Ну, сделали. Вернулся я домой, стал опять на озерах рыбачить, а по вечерам учился сокол держать. Наконец решил испытать себя.

«Давай, — говорю жене, — халупу свою штукатурить».

«Да что ты! — кричит. — Зачем ее штукатурить?»

«Молчи, дура! От клопов».

Набросал я на стену штукатурку, стал соколом подбирать и уронил, конечно. Если б бабы рядом не было, за-

плакал бы, как дитё. Однако сдержался и снова. Месяца полтора, наверно, с одной стенкой бился. А не прошло и году — весь дом снутри и снаружи в лучший вид произвел... Потом в стройконтору поступил. Так-то вот...

А сюда я — точно, за длинным рублем приехал, потому что он моей саранче нужен. И дело, головастик, не в том, длинный он или кучый, а в том, что я при своей инвалидности могу его честно заработать.

Ананий повернулся к Грише и с грозной ноткой в голосе спросил:

— Понял?

Гриша сконфуженно потупился.

— Случай-то забавный обещал, — напомнил кто-то.

— А как я его щукой по морде — разве не смешно? — удивился Ананий.

— Н-не очень...

— Ну и ладно. Вон смена кончилась. Пошли, ребята!

5

Вместе с ними я поднялся на строительные леса. Приближался вечер. Меловые обрывы за Днепром долго хранили фиолетовый отблеск заката, потом мертвенно позеленели в свете осенних сумерек и наконец как будто впитали в себя густую синь ночи. На берегу и на темной воде Днепра заблестели огни.

Прямыми линиями они тянулись вдоль городских улиц, кольцами опоясывали котлованы, змеевидной гирляндой висели над эстакадой пульпопровода, кучей грудились на земснаряде — и все сообща кидали на бегущие облака мутно-оранжевое зарево. Ветер словно мягкой лапой гладил по лицу.

Костер внизу все еще горел, и вокруг него сидели сменившиеся рабочие. Их фигуры — темные с одной стороны и красноватые с другой — напоминали плакат давних революционных дней, который я видел в какой-то книге по полиграфии.

— Огнями любуетесь? — раздался сзади меня голос.

Я оглянулся. Кто-то стоял в ярко освещенном проеме окна, и мне с наружных лесов не было видно его лица.

— Кто это? — спросил я.

Он шагнул словно из рамы портрета и остановился рядом со мной. Это был Гриша Астахов.

Несколько минут мы продолжали молча смотреть на огни. Их было великое множество. И все — яркие и тусклые, ровные и беспокойно бьющиеся под рукой электро-сварщика, далекие и близкие, желтые и голубоватые, — дробясь и переливаясь, повторялись в мелких волнах Днепра.

— Когда-нибудь, — тихо сказал Гриша, — мы будем рассказывать нашим детям, как работали здесь их отцы.

Я улыбнулся. Было забавно услышать такие слова от семнадцатилетнего паренька, занимавшего в общежитии узкую железную койку, не имевшего ни дома, ни жены, ни детей, но так уж он, недавний выпускник ремесленного училища, штукатур, понимал значение и смысл своего труда, что заранее гордился им перед потомством.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Из окна гостиницы вижу, как по огромному песчаному пустырю мелкими шажками не ходит — бегаёт коренастый старик с белой апостольской бородкой, приседает, чертит что-то на песке пальцем и бежит дальше. Его сопровождают двое — тощий парень на длинных ногах и пухленькая девушка, которой, кажется, всегда жарко: у нее расстегнут ватник и платок откинут с головы на спину. Я уже знаю, что это — садовник Степан Маркович Майков и его бригады. На улицах города я часто встречал их, всегда занятых, спешащих и деловитых; здороваясь, они каждый раз стыдливо прятали свои руки, выпачканные в нездешнем — привозном — черноземе, но было как-то особенно приятно пожимать эти руки, стараниями которых вдоль улиц — еще не достроенных — вытянулись ряды деревьев, заслоняющих от глаз безотрадный вид песчаных кучегуров.

С Майковым меня познакомил преподаватель физики из института гидромеханики Виталий Иванович Малыгин, считавший себя «старожилом» этого полуторагодовалого города. В дождь, в холод, под пронизывающим ветром он бродил со мной в добровольной роли проводника по всей стройке. Невысокий, подвижный, с благодушной полнотой во всем теле, он шагал, мужественно подставляя дождю и ветру свое длинное одутловатое лицо с маленьким носиком,

и рассказывал обо всем вдохновенно и длинно. Слова совершенно свободно исходили из его круглого, аккуратного рта, он ни разу не споткнулся, подыскивая нужное слово, точно читал по писанному. Манерой говорить так неприужденно и книжно отличаются обычно люди очень знающие, начитанные, но не глубокие. Таким в сущности и был Виталий Иванович Малыгин.

Знакома меня с Майковым на огромном пустыре перед столовой, где шла планировка площадки под новый парк, он весело воскликнул:

— Представьте, этот оригинал пришел на стройку пешком за две сотни километров!

— Почему же пешком-то? — спросил я Майкова.

В кротких глазах старика на миг сверкнул какой-то бесоватый огонек, и, заговорщически нагнувшись ко мне, он сказал:

— Удача у меня такая.

— Удача по-украински натура, характер, — подсказал мне Малыгин. — Так, Степан Маркович?

— Мабуть, и так, я не спору.

Улыбки его не было видно, но чувствовалось, что она играет в белой бороде, лукавая, колючая, готовая ужалить.

— Да и погода была не та, чтобы на машине ехать.

— Дороги размыло?

— Нет, хорошая, знойная была погода.

Он взял меня за пуговицу, притянул к себе и, все так же бесовато играя глазами, сообщил:

— Я всю жизнь землю эту ногами мерил. В гражданскую ходил, в Отечественную, в партизанщине ходил и теперь надо было пройти, посмотреть да смекнуть. Разумеешь?.. Бывайте здоровы.

Он отошел от нас на несколько шагов, присел, выгнув колесом крутую стариковскую спину, и стал чертить пальцем на мокром песке, объясняя что-то бригадиру.

Бывают встречи и события, которые внезапно освещают новым светом кусочек забытого прошлого, и тогда он всплывает в памяти отчетливо и ярко. Так вспомнился мне после встречи со старым садовником город моего детства.

В то время город представлял собой довольно беспорядочное скопище серых бревенчатых домов, кирпичных церквей мясного цвета, занятых под склады; ларьков — продуктовых, галантерейных, скобяных, — и просто неза-

строенных пустырей, заросших седой вонючей полынью.

В самом центре находились знаменитые Ямы. Когда-то здесь брали для строительных целей известняковый камень и оставили цепь глубоких рытвин, заросших потом сорной травой. Сюда валили мусор, свозили падаль; Ямами пугали нас, детей, как обиталищем воровских шаяк, вряд ли, впрочем, существовавших.

Как-то неожиданно из тихой жизни нашей улицы вынырнул большой косматый человек и встал на виду у нас. Фамилии я его не помню, взрослые звали его просто Яковом, хотя был он уже не молод. На узких плечах его покоилась голова без шеи, спина сутулилась, ходил он, неестественно наклонясь вперед, и казалось, что жизнь долго била по нему, как молот по длинному гвоздю, но не вбила, а только погнула слегка.

Дом Якова стоял в конце улицы, возле самых Ям, и глядел на мир двумя окошками сквозь заросли дикого винограда, словно из-под насупленных бровей. За домом рос сад, вздымаясь пышными клубами зелени над заборами и крышами.

Большая семья Якова — жена и пять или шесть дочерей-погодок, миловидных и очень похожих друг на друга, — летом от зари до зари трудилась в саду. Старшие дочери продавали на городском бульваре цветы редкой красоты — тюльпаны, пионы, ирисы. Сам Яков работал, кажется, на железнодорожной станции, но все свободное время проводил в своем саду.

— Все вот этими руками сделано, — говорил он своему соседу Федору Кантонистову.

Руки были широкие, с короткими пальцами; на суставах кожа сгрудилась в толстые складки: в них и под квадратными ногтями залегла несмываемая грязь; на тыльной стороне ладони, выпукло вздымая бурую кожу, змеились сизые жилы. Яков и Федор Кантонистов — в летах, подслеповатый и какой-то мохнатенький, точно вывалянный в пуху перин, — сидели на лавочке перед домом. Был вечер; смуглое маслянистое солнце, разжигая пожар зари и кидая на окна домов красноватые отблески, скатывалось в конец улицы. Шли с пастбища коровы, останавливались возле закрытых ворот и просяще ревели низким сытым ревом.

— Сад у тебя хороший, редкостный, — охотно соглашался Кантонистов, кивая клинообразной головкой. — Входишь в него, как в сказочное царство. Дивно!

Но, когда Яков простился с ним и пошел, словно падая вперед, сосед тихо, со злобой и презрением проворчал ему вслед, щуря красные глаза:

— Развел сырость, все заборы у меня сгнили, а за-тейник!

Однажды Яков вышел с лопатой, выкопал несколько квадратных ямок и посадил перед домом деревья.

— Правильно, — похвалил Кантонистов, — большое украшение всего вида будет.

Яков, возбужденный, с блестящими глазами, сел на лавочку.

— Вот так бы по всей улице протянуть, — сказал он с не свойственной для него страстностью. — А потом — по всему городу. Во второй ярус, скажем, посадить сирень, а по низу пустить бордюрчик из жимолости... Заиграл бы тогда город, ух!

— Дивно! — подхватил Кантонистов.

— Я хочу с таким делом в горсовет обратиться, — решительно признался Яков. — Я уже и чертежи составил, все как полагается. Думаешь, примут дело?

— Должны, — убежденно сказал Кантонистов, а через час, собрав вокруг себя мальчишек, нашептывал им: — Вы, огольцы, сломайте у Яшки деревья-то, я вам за это морковки с гряды надергаю. Ладно?

И мы добросовестно заработали по пучку моркови...

Потом сломали деревья во второй раз и в третий...

Того, кто попался в могучие руки Якова, он поворачивал, рассматривая, словно диковинное насекомое, и говорил, как будто советовался:

— Ну, что ты дрыгаешься, как поросенок? Напакостил — и дрыгаешься? Уши тебе драть? Или в школу свести? Стыдно, наверно, будет? Если перед всей школой-то осрают, а? Плохо ведь будет, брат?

Сидя на лавочке с Кантонистовым, он рассказывал, задумчиво улыбаясь и отводя косматые волосы от глаз:

— Был в горсовете, виделся с председателем. Смешной такой человек. «Я, — говорит, — сам люблю эти цветочки-листочки. Только планы у тебя, — говорит, — очень уж широкие, не по силам сейчас нам. Погоди, — говорит, — дойдет и до них черед». Спрашиваю: долго ждать? Руками развел. «Я, — говорит, — человек в союзных масштабах маленький, мне пророчествовать трудно. Жди». «Лад-

но, — говорю, — долго ждали, еще немножко можно. Я дождусь!»

Может быть, от страха перед угрозой Якова осрамить на всю школу, а может быть, от доброты сердечной и раскаяния кто-то из мальчишек рассказал Якову о кознях Кантонистова. Их перестали видеть вместе на лавочке, а Яков при встрече с соседом даже отворачивался. Подслеповатыми злыми глазками Кантонистов выцеливал идущего мимо Якова и всегда бросал что-нибудь обидное.

Мы играли в прятки, закидывая палку. Я побежал за ней на улицу и слышал, как Кантонистов, стоя у своих ворот, спросил с ехидцей мирно шагавшего Якова.

— Ждешь все? Ждешь? Ну, жди. Лбом стену не прошибешь.

Яков остановился, стремительно сграбастал своей ручищей оторопевшего Кантонистова и притянул к себе.

— Кому ты пакостишь? — задыхаясь, спросил он, поворачивая соседа в руках, как поворачивал пойманных мальчишек. — Ты думаешь мне, Яшке, пакостишь? Размозжил бы тебе, погань, голову о камень, ей-богу, не жалко! Да землю пачкать неохота.

Вспоминая все это, я сижу в парке и смотрю, как по Днепру ходят широкие плавные волны. Они без ряби, без пноздреватой пены на верхушках, и вода поэтому кажется похожей на густое синее стекло. От нее, от земли, обильно sprыснутой вчерашними дождями, поднимается пар, и вся заречная даль с холмами, меловыми оврагами, постройками струится и плывет, словно истаивая на глазах.

Парк юно зелен, свеж; в траве, яркой, как молодая озимь, кое-где приютились даже цветы, и только голые пирамидальные тополя, торчащие вдоль берега, точно туго связанные веники, напоминают о том, что стоит глубокая осень. Этот безоблачный, ласкающе-мягкий день выпал невзначай среди других — по-осеннему мокрых, ветреных и холодных. И кажется, что все радуется ему, все благословляет его. Недалеко от шумных, лязгающих железом причалов резвится, взрывая остекленевшие волны, стройная перелетная уточка, она упивается этим синим водным раздольем, ликует, приветствуя солнце, щедро льющее на землю свое последнее тепло. Глядя на нее, хочется и для себя найти такие движения, порывы, может быть, песни, в которых излилась бы радость, рожденная в душе миротворным сиянием этого дня...

У входа в парк девушки в расстегнутых ватниках сгружают с грузовика тяжелые бетонные вазы. Несколько таких ваз уже есть в парке; с них, словно перекипая через край, ниспадают вьюнок, хмель и настурция.

На этом же грузовике приехал Майков и теперь сидит рядом со мной. Он снял шапку и, белый, как голубь, смотрит вдаль зачарованно кротким взглядом. Чтобы завязать разговор, спрашиваю:

— Плохо, наверно, приживаются саженцы на песке?

Старик глядит на меня так, словно только что заметил, и говорит с ленцой в голосе:

— Привыкнут. Человек и тот ко всему привыкает, а дерево — привыкнет.

Молчим.

— Я, хлопец, самовары люблю, — неожиданно говорит Майков. — Поставишь его в такой день на стол, ну — словно солнца кусок в хату внес. На Украине чай не любят, а я — люблю. Я ведь сам-то нездешний родом — ярославский. Однако смолоду на Украине живу, привык и к обычаям и к языку.

— Не тянет на родину?

— Забыл. Я еще юнцом оттуда ушел, закинуло меня под Варшаву, там и садоводство освоил. Учил меня этому делу один помещик, у которого я батрачил. Они, помещики-то, тоже для себя кадры готовили, чтобы потом соки из них жать. Он же отправил меня сюда, на Украину, вроде бы на практику, а я тут и остался. Да, пожито, поброжено... А в эту землю навечно врос. Хорошая земля, сильная, любой росток пути выносит. В колхозе под Никоподем у меня фруктовый древопитомник был, славно дело шло.

— Трудно вам здесь?

— Семьдесят мне, — как бы напоминая, говорит он. — В эти годы все уже не легко... Да меня берегут, вот в санаторий посылают. Ехать?

— Не знаю, вам видней.

— Вот то-то — не знаешь!

Он вдруг рассердился, нахлобучил шапку и принял какой-то обиженно-ершистый вид.

Опять долго молчим. Но, видно, теплая ласковость дня действует на него умиротворяюще. Мало-помалу глаза его вновь приобретают выражение кротости, он блаженно потягивается, вдыхает и говорит сквозь улыбку:

— Бархатный день. Весной пахнет...

И действительно. Как часто бывает в такие осенние дни, полные влаги, тепла и солнца, в воздухе нет-нет да и повеет коротко, но внятно, полузабытой весной. Сейчас это ощущение особенно стойко, благодаря весеннему виду парка, и, может быть, именно оно томит радостью, просящейся вылиться в песне, как томит настоящая весна...

ЖИВАЯ ВОДА

Лирическая повесть

Родина. Что скажет о ней дитя
ее, что откроет, — не откроет чужой,
прохожий человек. И то, что увидит
чужой, не знает рожденный на ней.

М. Пришвин

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В низовьях реки Клязьмы до сей поры стоит на берегу избушка, в которой жил некогда бакенщик Алексей Ефимович Бударин, или попросту дядя Лёня.

Был он уже в преклонных годах, когда сидели мы с ним однажды вечером на обрубке бревна возле избушки и смотрели на реку. В ногах у нас дотлевал маленький нежаркий костер. Тяжелая майская вода бежала широко и стремительно, пенно завиваясь у берегов. Мглистые болота, ольховые крепи и дубовые рощи левобережья медленно затягивали натрудившееся за день солнце.

— Посмотри-ка, чегой-то там плывет? — спросил дядя Лёня, глядя из-под ладони на речной плес.

Я посмотрел и ахнул:

— Лось!

— Лось! Право, лось! Вот ведь беда — лось! — заволновался дядя Лёня.

Выставив из воды горбоносую, увенчанную широкими, как чаша, рогами голову, лось преодолевал напористое стремление воды. Вот он уже ступил на дно, вышел на бе-

рег, отряхнулся и медленно зашагал в глубь поймы. Много величия, силы и даже как будто сознания своей красоты было в осанке этого заповедного зверя, и дядя Лёня как-то потянулся к нему, опираясь руками в обрубок бревна. В это время за изгибом реки коротко и резво рванул тишину поймы пароходный гудок. Лось метнулся, вскинул голову и, все убыстряя бег, помчался к лесу, без усилия выбрасывая тонкие, с широкими копытами ноги в белых чулочках.

— Вот бы мне лосиные-то ноги!.. — с каким-то томлением сказал дядя Лёня. — Всю бы землю напоследок обежал. Так бы и стеганул по болотам, по гарям, по лесам...

Он сразу обмяк и маленьким комочком свернулся над костерком.

С тех пор часто бывало, что мы поглядим друг другу в глаза — и я спрошу:

— А что, дядя Лёня, вот бы лосиные-то ноги?

Он так и встрепенется весь.

— Ударился бы по болотам — и-э-эх!

В то время я давно уже собирался в пешее путешествие по древней Владимирской земле, моей родине, но всегда какие-то дела и заботы житейской повседневности мешали мне.

«Время свистит над головой — только шапку держи, чтоб не сдуло, — подумал я. — Далеко ли те годы, когда и мне придется мечтать о лосиных ногах...»

И в то же лето, кинув за плечи рюкзачок, уже шагал навстречу ветерку по пути, predetermined всей моей предыдущей жизнью, а спустя еще десять лет повторил его на лодке.

Зачем я пошел и чего искал? Кому-нибудь этот вопрос, может быть, покажется ясным: ты, мол, писатель, вот и пошел «собирать материал», кропать вечным перышком в записной книжке всякие наблюдения. Но такой нужды у меня не было, и я ни в тот, ни в другой раз не искал никакого «материала», не делал никаких записей, а просто нуждался в непосредственном ощущении родины — ее людей, неба, солнца, ветра, рек, озер, болот, лесов, лугов, полей... И эта маленькая повесть есть не что иное, как отрывочные воспоминания о тех днях счастливой близости к ним.

Оба раза путь мой лежал вниз по Клязьме. Выбор его был для меня естествен. Кого, выросшего на любой реке, не манила она вниз, к неизведанным своим излучинам, перекатам и плесам! Вспоминается мне наивное детство, когда надо было непременно иметь с друзьями общую тайну, чтобы эта тайна скрепляла дружеский союз. А жизнь была проста и не дарила мальчишек никакой, хоть самой завалящей тайной. И тогда трое мальчишек выдумали ее сами. Каждый надрезал около большого пальца руку, выдавил каплю крови и расписался ею в клятве отправиться на будущее лето в путешествие по Клязьме.

Один из мальчишек переусердствовал: размахнул руку так, что пришлось перетянуть ее жгутом и бежать в больницу. Врач, накладывая швы, качал головой:

— Хлеб резал! Как же ты ножик-то держал, пострел? Отец есть? Мать есть? Вот и скажи им, чтобы сняли с тебя штанишки да чик-чик, чик-чик... В другой раз не станешь баловать.

Кровавая клятва была вложена в бумажный цветок и спрятана в вентиляционную отдушину, чтобы летом быть вынутой оттуда и приведенной в исполнение.

Но жизнь рассудила по-своему. Был ветреный летний день. По улицам, вихрясь, носилась пыль, в лицо хлестало колючим песком, и как-то остро, неприятно блестели стекляшки, всохшие в подметенную ветром землю. Мальчишки в тот день ходили по родительскому заданию то ли покупать электрический утюг, то ли отдавать в починку часы. На мосту через железную дорогу им попались идущие на обед рабочие; они были возбуждены, шли большими толпами и все повторяли слово, которое до сих пор означало для мальчишек игру, а теперь раскрывалось в истинном своем смысле: «В-о-й-н-а...»

Так еще детской клятвой был предопределен мне путь по Клязьме.

Я видел много российских рек и вовсе не по пристрастию туземца могу сказать, что Клязьма с ее притоками Киржачом, Пекшей, Воршей, Колокшей, Нерлью, Судогой, Нерехтой, Уводью, Тезой, Лухом, Суворощью и другими, более мелкими, — один из самых красивых речных бассейнов Средней России. Все эти реки и речушки не похожи друг на друга; одна бежит, прозрачная до дна, студеная

летом и не замерзающая зимой; другая медленно, едва заметно влачит сквозь камыши и темные ямы свою зеленую воду; третья несется через смуглые пески, через лесные завалы изжелта-коричневым, пенным, водоворотным потоком; четвертая серебристой чешуйчатой змейкой вьется в ромашковых и лютиковых лугах, ныряет под мосточки, тоненько звенит в прозеленевших сваях старых плотин и мельниц...

Я давно замечал, что река, вблизи которой вырос человек, откладывает своеобразный отпечаток на его характер. Даже глаза щурят по-разному волжане и дончаки, днепровцы и уральцы, клязьминцы и деснинцы. И если говорить о Клязьме, то я сказал бы, что она вплетает в характер человека какую-то лирико-меланхолическую жилку, начинающую нежно вибрировать от соприкосновения с природой даже в каком-нибудь отчаянном ковровском ушкуйнике, кому, как известно, сам черт не брат. Что тому виною? Медленные рассветы в розовом тумане, ветреные полдни с грудями золотисто-синих облаков на горизонте, крик перепела во ржи бледным вечером июля или переливчатые звезды в черном провале августовского неба?..

Все эти черты есть, пожалуй, и у других рек, но есть, есть у каждой из них своя, одной ей свойственная сила, которую поди-ка разгадай и назови.

О Клязьме, пересекающей Владимирскую область с запада на восток, я мог бы рассказывать бесконечно, потому что она пересекла и всю мою жизнь, но только в обратном направлении — от мальчишеских рыбалок на неприхотливую уклейку до заповедных мыслей на ее берегу в седой теперь уже голове. Но впереди и без того о ней еще много, много скажется попутно.

МЕДУНИЦА

Весна в самой зрелой своей поре: цветет медуница. В плену у водяного царя тоскует по ней новгородский гость Садко:

Теперь, чай, и птица и всякая зверь
У нас на земле веселится;
Сквозь лист прошлогодний пробившись, теперь
Синеет в лесу медуница.

И такое это время, что не только пленного гостя — нынешнего свободного человека точит червь. Ходит он взье-

рошенный, говорит невпопад и все норовит или дров на свежем воздухе поколоть, или с женой поругаться. Счастливей тот, у кого в душе живет охотник. Тот хватается ружье — и поминай как звали. Возвращается он успокоенный: бродяга в нем утолен, и опять в семье — мир, на душе — покой, на лице — улыбка.

Одним из таких дней и был тот день, когда сидели мы с дядей Леней на обрубке бревнышка возле костра. А вскоре, собрав вещевой мешок, купив фуражку с каким-то пошловатым клеймом на подкладке — «кепи-спорт», я двинулся в путь.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Пестрый летний базар встретил меня шумом, духотой, сенной и навозной пылью. Здесь вперемешку стояли лошади, грузовики, тележки; исступленно визжали поросята; поодаль от мясных, молочных и овощных рядов толкалась барахолка. Молодой человек, размахивая трикотажной рубашкой, кричал с кавказским акцентом:

— Бобочка! Бобочка! А вот персидская бобочка!

Куча охотников, жарко дыша друг другу в затылки, разглядывала ружье. Пожилая колхозница долго старалась заглянуть через их головы, вытягивала шею, подпрыгивала и наконец потянула одного из охотников за рукав.

— Милай, чегой-то тута продают?

Тот медленно повернулся, окинул ее ленивым взглядом и сказал:

— Аэроплан.

— А вот свежее! А вот, молодчик, утрешнее! — наперебой кричали молочницы, стоило только кинуть в их сторону обнадеживающий взгляд.

Я искал попутную машину, чтобы выехать за черту города. Наконец шоферы показали мне на грузовик, который уже подрагивал от конвульсивных усилий мотора.

— Подвези! — крикнул я издали шоферу.

Бывает так — знаешь человека с детства, а он идет мимо и отворачивается. Хочешь кивнуть, ищешь его глаза — нет!

Так и этот шофер, мой одноклассник, отворачивался, а когда наконец столкнулся со мной лицом к лицу и отвернуться было нельзя, сказал:

— Зазнался. В шляпе ходишь.

— Постой, Пашка! — оторопел я. — При чем тут шляпа?

— А при том, что ученый стал — зазнался.

Потом мы долго молчали, очень недовольные друг другом. Пашка, казалось, всецело сосредоточился на преодолении валких районных дорог.

— А у меня как не задалось в седьмом классе с немецким языком, так с тех пор и не учился, — сказал он наконец.

— Жалеешь?

— А чего? Вот сейчас ждет меня на дороге мужичок, дровишки ему надо перебросить. Полтора ста возьму.

— Значит, сытно живешь?

— Хорошо. Жена пятьсот получает, я — сот девять. Да калым на машине всегда есть. Дом купил.

— Ну, Пашка, ты счастливый человек, — сказал я. — Один мой приятель по немецкому языку вот как лихо учился — в шляпе теперь, вроде меня, ходит, а нет у него ни дома, ни жены, ни калыма.

— Не везде калым бывает, — рассудительно заметил Пашка. — Чего он делает-то?

— Адвокат.

— Неужели нет калыма?

— Нет.

— Ну и дурак твой приятель.

Машина встала, осаженная хваткими тормозами.

— Вон мой мужичок голосует, — сказал Пашка. — Шагай теперь сам. Я отсюда в лес поверну.

И я шагаю.

КЛЯЗЬМИНСКИЙ ГОРОДОК

На высоком берегу Клязьмы, взметнув к облакам колокольню старинной церкви, стоит Клязьминский городок — древний Стародуб, некогда удельный город князей Стародубских, Рюриковичей, от которых пошли Пожарские и прочие известные на Руси князья, а первым в Стародубе был посажен седьмой сын Всеволода Большое Гнездо — Иван.

Был Стародуб рушен и татарами, и поляками, и просто временем, но поднимался снова и стоит поныне под именем

Клязьминского городка. Снизу, с берега, приходится за-
дирать голову, чтобы высоко на круче увидеть его дома и
колокольню, окруженную березами, липами и вязами. На-
верху домам стало тесно, они сползли вниз крутыми ули-
цами, а внизу их как бы остопоривают кирпичные корпуса
текстильной фабрики.

Эта фабрика всегда оттягивала из колхоза рабочую си-
лу, и до объединения здешний колхоз иронически называ-
ли «Семь Петров», потому что в нем было только семь муж-
чин, и все Петры.

В сельском Совете я не застал председателя, моего
давнишнего знакомого. Когда-то он руководил богатым
соседним колхозом «Красное знамя», но вдруг выиграл
по двум облигациям сразу восемьдесят тысяч рублей, ку-
пил в городке дом, перевез туда семью, а колхозные дела
запустил. В городке все-таки выбрали его председателем
Совета...

В большой прохладной комнате сидели за столами две
ответственные девушки, был еще какой-то парень не у дел
и молодая мамаша, санитарка больницы, пришедшая реги-
стрировать рождение дочки Леночки.

— Хорошее имя, — сказал я.

— Редко сейчас называют Еленами, — заметила одна
из ответственных девушек.

— На святую Елену родилась, вот и выбрали, — улыб-
нулась мамаша, приоткрывая смуглое личико девочки с по-
ристым носиком.

— А кто отец?

— Газосварщик в МТС.

Я невольно улыбнулся. Святая Елена и сестра милосер-
дия как-то еще вязались, а вот газовая сварка явно пор-
тила весь ансамбль.

Мне давно уже мозолил глаза большой стандартный
плакат с жирной надписью: «Изучайте и охраняйте исто-
рические памятники!» Под верхним обрезом плаката от ру-
ки было написано чернильным карандашом: «Граждане
села Клязьминский городок, бывшего удельного города
Стародуба! Вы живете в историческом месте!»

— А какие у вас исторические памятники? — поинте-
ресовался я, когда мамаша ушла.

— Какие? — равнодушно переспросила ответственная
девушка. — Церковь... Бугры да ямы.

— Как же называется эта церковь?

— Не знаем.

— Ну, а охраняете вы ее?

— Как же! Сторожа охраняют. Там пекарня, склады.

Таков был дан мне урок краеведения в Клязьминском городке.

СЛАВА

Девушки, ходившие к Клязьме на ключ за водой, озорно сверкнули на меня из-под платков бедовыми глазами, и одна из них сказала:

— С полными ведрами вас встречаем. К счастью.

И это было действительно счастьем, когда за меловыми обрывами глазу открылось все сразу — и подсиненная ветром Клязьма с серебристыми чайками над ней, и кипень дубовых рощ, и груды золотистых облаков, и глубокое, словно пьющее глаза твои, небо.

Когда у изгиба реки я подошел к лесу, невидимая в чаще птичка сказала мне: «Добро пожаловать».

Я усмехнулся этой совсем детской догадке и остановился послушать: если пискнет еще раз — значит, пищит просто так, по птичьей надобности, а промолчит — значит, на самом деле, приветствовала меня. Она промолчала, и я, ослеслаивленный еще больше, зашагал вперед. Дорога вела дубовым лесом, где еще сохранились крупные ландыши. Здесь стояла парная духота, вились тучи комаров, и хотелось поскорей выбраться к речному простору, чтобы опять с головы до ног окатил свежий ветер. Наконец он мягко пахнул в лицо.

У прорвы, как называлось это место Клязьмы с отходящей от нее заросшей старицей, сидели на берегу неводники. Когда я подошел к ним, они не спеша докуривали, собираясь дать новую тоню. Оглядели меня, похватывая дымок из коротеньких сигарок, и один спросил:

— А ты, случаем, не Никитин?

Я почувствовал, что улыбаюсь смущенно и самодовольно: вот ведь узнали меня читатели, эти заросшие недельной щетиной, пропахшие тиной и чешуей рыбаки!

— Точно, он, — признался я.

— Похож, — сказал рыбак.

И другой сказал:

— Похож.

И третий подтвердил, что, да, похож, пояснив при этом:
— На братишку, говорим, своего похож, на Гошку. Он только-только тут с нами был, в Ивлево пошел. А знаешь, почему так называется — И-вле-во?

— Нет, — обескураженно ответил я.

— Жила тут раньше барыня. Вот в Москве она и звала к себе гостей: доедете, мол, до Коврова, потом до Репников — и влево. Так и получилось — Ивлево.

Я поднимался молоденьким березняком на высокий берег, к этому самому Ивлеву, и посмеивался над собой. Все относительно! И на этих берегах имя моего двоюродного брата Гошки, искуснейшего, удачливого и вездепролазного охотника и рыбака, куда громче любого литературного имени. А сам я, конечно же, всего лишь похож на него.

ГОСТЕПРИИМСТВО

Деревни гостеприимней городов. В деревне можно постучаться в любой дом, и это в порядке вещей, а в городе, потому что в нем есть тесная гостипица с запахом карболки и дуста, это считается неприкрытым и даже предосудительным.

Усталость как-то свалила меня под ивовым кустом на песчаной косе. Сапоги мои были в пуху одуванчиков. Убранное цветами шиповника, ликовало первоначальное лето; медовый зной струился над лугами, и с широкого речного плеса доносился дремотный плеск, каким дышит в полдень всякая река и слушая который хорошо лежать без мыслей на смуглом прибрежном песке, смотреть в глубокое небо, следить, как тают в нем облака, уплывают куда-то и возникают вновь — чистые, белые, легкие...

Под вечер на песчаную косу пришел истерзанный комарами рыболов, расспросил, куда иду, и стал уговаривать, словно давнего знакомого:

— Зачем тебе куда-то тащиться? Живи у нас, рыбу станем ловить. Не хуже мы, наверное, других.

Вскоре я уже сидел в просторной кухне за выскобленным до янтарной желтизны столом и пил кисловатый грушевый чай.

Встретив корову, вернулась хозяйка.

— Вы на берегу нашим бабам бумагу показывали? — спросила она.

Я вспомнил, что просил колхозниц, расчищавших капустное поле, показать мне по карте дорогу.

— Вот дуры, — осторожно сказала хозяйка. — Гомонят по деревне, что у нас человек подозрительный: дорогу не знает и никуда не торопится.

— Да-а-а, — задумчиво протянул хозяин. — Был у нас случай, нашла моя собака в лесу парашют.

Помолчал и как бы невзначай рассказал еще случай:

— В войну объявился тут поп. Гадатель. Бабы, известно, к нему валом валят. Интересуются про мужей да сыновей узнать. Руку давал им целовать... А потом обнаружилось, что он в парике. Рыжий такой детина, молодой.

Потом привалило в избу сразу человек двадцать, и тут получилось совсем по Твардовскому:

... Ну что ж, понятно в целом,
Одно неясно мне:
Без никакого дела
Ты едешь по стране.
Вот, брат! — И председатель
Потер в раздумье нос. —
Ну, был бы ты писатель,
Тогда другой вопрос.

И надо же было видеть, как обрадовался мой гостеприимный хозяин, когда оказалось, что гость по всем документам и есть писатель.

— Эх, бабы! — сказал он и покачал головой. — Все вы балаболки и трясогузки.

А потом нарочно уговорил меня выйти и до потемок просидел со мной на завалинке.

ЖАРКИЙ ДЕНЬ

В тот день я поднялся рано и сразу за деревней, как в коридор, вошел по узкой тропке в росистую рожь. Здесь кончалось прохладное поречье, и теперь меня долго будут сопровождать на пути ржаные поля, пыльные картофельники, будет палить солнце, и только изредка накроет своей тенью какая-нибудь умица тучка, овеяв легким ветерком.

Из-за синей кромки далекого леса уже вставало солнце. Они, как фокус огромной линзы, наведенной на небесный свод, становилось все меньше, все горячее, и казалось, что небо вот-вот задымится и вспыхнет в этой ослепительной

точке маленьким язычком пламени. Калено-жаркий, тяжелый вставал день.

В бескончаемо длинной попутной деревне под плетнями истомно стонали в лопухах куры; мутноглазые собаки вяло тявкали из-под крылец.

Даже легкая «кепи-спорт» тяготила меня. Я снял ее и подумал в тоске: «Дождя бы...»

Два плотника, покуривающие на срубе, заметив меня, подмигнули и засмеялись:

— С праздника-то шапка всегда лишняя.

Я вспомнил, что вчера мимо меня, пыля и грохоча, прокатила телега с нарядными парнями и девочками. Один из парней завалился на спину, задрыгал ногами и хмельно крикнул:

— Престол нынче! Гуляем!

Вот и меня плотники, должно быть, приняли теперь за похмельного гуляку, которому и шапка-то на голове тяжела.

ПРОБЛЕМА

В пути достала меня телеграмма из редакции одного журнала: «Просим написать острый проблемный очерк о современной деревне».

На выходе из Кочетихи, как повернуть к селу Троицко-Татарову, я попросил в крайней избе пить. Все признаки указывали на то, что хозяин был пришиблен той чугунной похмельной тоской, когда не только в каждой телесной жилочке человека, но и в бесплотной душе его до того погано, словно он предал, ограбил или убил кого-то. Сидел он на крыльце помятый, в распушенной рубахе, свесив босые ноги с корявыми коричневыми ногтями, а рядом жена, похожая на татарку, собирала щепки и точила мужа, как ржа железо. Поэтому, наверно, хозяин и обрадовался моему появлению. Он вынес кружку с квасом и сказал:

— Сейчас все квас дуют.

Я присел на крыльцо. Не торопясь, выяснили, кто я, кто он, чей это громадный дом напротив и почему в такую снежную зиму все-таки померзли сады. Василий (так звали хозяина) говорил, а сам все посматривал, как у конюшника мужик закладывал в борону лошадь, неистово матюгая ее.

— Нет, не работники нонче, — подвел он итог своим наблюдениям. — Квас дуют.

Хозяйка вдруг бросила на землю уже собранные щепки и в сердцах плюнула себе под ноги.

— Как бревно посередь дороги у нас престол этот. Наедут — стоп. Считай, два трудодня корова языком слизнула.

Она опять принялась подбирать щепки, а Василий опасно покосился на нее и вздохнул:

— Я же сказал, квас дуют. Главная проблема сейчас — опохмелиться, а в сельпо ни четверки. Всю вчера съпили.

— Ну вот тебе и здорово живешь! — возразил я, вспомнив о «проблемном очерке». — Завтра все пройдет, и никакой проблемы не останется. Какая же это главная!

— Верно, — засмеялся Василий. — Главная — картошку пробороновать.

— А потом траву скосить, а потом хлеб обмолотить, а потом ту же картошку выбрать, — подхватил я. — Нет, это не главная.

— Э-э-э, куда ты загибаешь, — протянул Василий. — Погоди, дай подумать.

Он подумал немного, как-то очень своеобразно помогая себе мышцами лба, и сказал убежденно:

— На данном этапе главная проблема — по десятке нам на трудодень получить. Сейчас по четыре получаем, а надо до десятки достичь.

Однако «на данном этапе» мы не остановились, забрали дальше. И я подумал. «Да, сколько бы проблем ни перечислили мы, все они будут разрешены Василием или уже разрешены им. И только он сам — главная и вечная проблема».

МСТЕРА

За каждой вещью лежит целый мир, о котором она может рассказать дотошному уму. Кто сделал ее, из чего, зачем, кому она принадлежала, как была добыта — не значит ли действительно открыть мир, загадочный и неповторимый, если узнать все это?

Так однажды рисунок акварелью, висевший у меня над столом в деревянном доме, открыл мне прекрасную душу русского человека, которого уже давно-давно нет в

живых... Но о рисунке есть отдельный рассказ. А сейчас это рассуждение об истории вещей пужно лишь для того, чтобы объяснить, как большой разговор начался с маленькой статуэткой.

Это незатейливое изделие художественной керамики, изображавшее зобастого птенца, украшало в Мстере стол художника Игоря Кузьмича Балакина. Заметив, что я рассматриваю статуэтку, жена художника Нина сказала:

— Раньше я работала вот на таких изделиях, ведь я по профессии техник-керамик, а мстерский живописец из меня получился случайно.

— Как же так?

— Да вот вышла замуж во Мстеру за своего Игоря, а керамику тут делать нечего. Попробовала себя на росписи шкатулок в художественной артели, и неожиданно дело пошло. Теперь вот и малюю...

— Нет, ты заметил, как она это сказала! — встрепнулся Игорь Кузьмич.

— М-м-да, — только и нашелся ответить я.

— Вот именно! А знаешь почему?

— Нет.

— А вот пойдем завтра со мной в артель, станет ясно.

Утром мы пошли в артель. Цех живописи представлял собою несколько просторных голых комнат, невольно наводящих своим видом на мысль о том, что вкус и уют должны присутствовать не только в домашней обстановке, но и на производстве, где человек проводит треть своего времени.

За столами самой грубой работы и, мне кажется, очень неудобной формы сидели художники. Во всех комнатах их было около ста. Я не пропустил ни одного, каждому глядел через плечо и со многими разговаривал. Работали они очень напряженно, не тратя много времени на разговоры. Некоторые расписывали сразу две, а то и три коробочки, шкатулки, пудреницы.

Я начинал кое-что понимать. Лишь вчера на витрине, хранящей лучшие образцы мстерской живописи, я видел работы изумительной тонкости, полные изящества, несущие печать несомненного таланта и нежной души. Рисунки были так легки, так хрустально-хрупки, что стекло и дерево витрины казались слишком грубым для них хранилищем, и они невольно сочетались в воображении с мягчайшим бархатным или замшевым футляром.

Другое я видел теперь из-за плеча художников. Что-то увяло в рисунке, хотя он по-прежнему был радужно ярким, что-то исчезло в нем, как будто погасла искра божья.

— Купили бы вы, скажем, такую морду? — грубовато, но с искренней горечью спросил меня вдруг художник Громов, показывая коробочку, расписанную на тему «Что ты жадно глядишь на дорогу?».

Я взглянул. Русская красавица с красной лентой в черных, как ночь, волосах выглядела на рисунке препохabetно.

— Мне не все еще понятно, — сказал я Игорю Кузьмичу. — Что же заставляет художников, простите за прямоту, так откровенно халтурить?

И тогда дружный хор голосов твердо ответил:

— Вал.

Расшифровывалось это так. Оказывается, в системе промкооперации художественные артели были поставлены в совершенно одинаковые условия со всеми прочими артелями. Таким образом, артель, делающая, например, скалки, и артель, выполняющая тончайшую творческую работу, получали план выпуска валовой продукции, просто исходя из механической мощности. Специфика творческого труда в расчет не бралась: может художник физически сделать три миниатюры в день, пусть делает. И получилось в конце концов так, что если двадцать лет назад художник делал три — пять миниатюр в месяц, то теперь, чтобы обеспечить себя минимальным заработком, он должен плодить их по сорок штук.

— Докатились, что и говорить! — вставил слово бывший живописец старик Куликов Александр Николаевич. — Вон Павлушка Снятков сразу по четыре коробки пишет. Нам в прежнее время иконы-то не позволяли так писать.

Не нова мысль, что торговля и искусство сочетаются всегда в ущерб последнему. И грозный «вал», который вздымался над искусством Мастеров, еще раз с очевидностью подтверждал ее.

УРОК КРАЕВЕДЕНИЯ

Александр Николаевич Куликов сам уже не писал: не тот уже был глаз, не та рука. Работал он в цехе черной лакировки, где я и познакомился с ним. Ссудулясь над

шкатулкой, он повернул ко мне морщинистое лицо и, быстро метнув из-под очков, оправленных медью, живой взгляд, сказал:

— Заходите ко мне часиков в шесть. Ленинская улица, дом пятьдесят три. У дома — вяз.

И вот я сижу в этом просторном доме, который когда-то знавал более шумные дни. Тогда с Александром Николаевичем жили его сыновья; двое из них погибли на фронте, другие в свой срок разбрелись по белу свету.

Александр Николаевич был первым председателем артели «Пролетарское искусство», в которую сорок лет назад объединились бывшие мстерские богомазы. Свои воспоминания об этих давних годах Александр Николаевич записал в тетрадь под заголовком «Некоторые данные по истории развития мстерских артелей художественных ремесел».

Я приготовился пережить скучные часы, просматривая эти испещренные старческими каракулями страницы, но, едва углубившись в их содержание, уже не мог оторваться до конца. Беллетристическая живость записок прочно удерживала мое внимание.

«10 января 1923 года Владимирский артсоюз прислал на мое имя отношение с просьбой создать группу из бывших иконописцев-мастеров для росписи деревянных изделий, которые могут быть направлены на предполагаемую в 1923 году Всероссийскую сельскохозяйственную выставку...

В марте первые изделия, исполненные созданной группой, были отвезены во Владимирский артсоюз. Правление разложило их на большом столе, рассматривая работу каждого мастера в отдельности. Вещи были приняты... За них учинили расчет и дали вторую партию деревянного «белья», более изящного. Кроме того, артсоюз в виде поощрения дал авансом под вторую партию работ сливочного масла, крупы и пшеничной муки.

Я помню тот день, когда ехал на двух подводах со станции с этой мукой и маслом. По-праздничному грело теплое мартовское солнце. Очевидно, кто-то передал товарищам, что Куликов, мол, везет вам два воза муки, но товарищи не поверили. Еду я около перелесков из деревни Раменье, а мои товарищи идут меня встречать и, когда увидели, что я действительно везу муки, масла и крупы, пришли в восторг. Александр Федорович Котятин даже сказал:

— Ну, надо еще лучше нам работать. Видно, что нашу работу ценят».

Эта тетрадка оказалась не единственной. Александр Николаевич, видя, что я заинтересовался его записками, выложил передо мной еще несколько тетрадок. В рукописи «Кому принадлежали каменные строения до Октябрьской революции 1917 года в поселке Мстера» была дана яркая сжатая картина дореволюционного мстерского быта.

«Двухэтажное каменное здание по улице Нижней (ныне Ленина) принадлежало Занцову Ивану Васильевичу с сыновьями. Занцовы имели фольго-уборочную мастерскую, но главным их занятием были поджоги складов на реке Тюмбе и в Затоне. В этих деревянных амбарах, стоявших до двадцати штук в ряд, хозяева фольго-уборочных мастерских хранили стекло, киоты и другие товары. Сыновья Ивана Васильевича — Митька, Петр (немой) и Ванька — воровали из этих складов, что поценнее. В почное время амбар очистят и зажгут. За что сын Ванька пошел в тюрьму и там погиб».

Удивительно много — история, уклад целой семьи, судьба ее отпрысков — спрессовано в этой короткой справке. И так почти о двухстах домах с той же точностью, краткостью и выразительностью.

Надолго остановила мое внимание и тонкая синяя тетрадочка, на которой было написано: «Некоторые сведения о мстерских обрядах и обычаях в XIX—XX веках, до Октябрьской революции».

В наше время обряды почти начисто исчезли из народного быта, кроме, пожалуй, свадебных и похоронных. Живы они лишь в воспоминаниях стариков, которые понекому уходят, унося с собой сокровища своей памяти. От обряда не остается ничего; его невозможно восстановить во всей полноте по каким-нибудь черепкам, как, скажем, керамическое искусство прошлого. Поэтому обряды надо сохранить в записях — литературных и музыкальных, — сохранить с любовью и заботой, как великую ценность, ибо они дают яркое, образное представление о быте народа, дают ключ к пониманию строя его души, образа его мыслей, его эстетических наклонностей, семейных и экономических отношений. Они одушевляют книжную историю народа.

И синяя тетрадочка Александра Николаевича Куликова как раз делает это великое скромное дело. Вот обычай, называемый капустником, как он записан Куликовым:

«Население Мстеры после праздника воздвиженья, 14 сентября, начинало убирать на своих огородах капусту. До первого октября (по старому стилю) всю ее нужно было обязательно убрать, так как с покрова пастух выгонял на огороды скотину. Кто к этому дню не убрал капусту, тот уже пенял на себя.

Когда начиналась рубка капусты, по обычаю приглашались девушки, подруги. Они-то и рубили ее в больших корытах, становясь по четверо с каждого боку. Во время работы девушки пели, величая в песне хозяина и хозяйку дома. Тут же проказили и шутили. Если к ним подходил парень, девушка тайком брала из корыта белой капусты, подкрадывалась к парню сзади и натирала ему капустой лицо. Парень бежал за девушкой и проделывал то же самое. Никто не обижался. Это почиталось за шутку».

Разве не видишь сквозь эти бесхитростные строки картину хрустально-чистого, подмороженного первыми утренниками дня, не слышишь стук тяпок, песни девушек, их смех, безобидную перебранку с парнями?..

Время близилось к ночи, а Александр Николаевич все подкладывал мне рукописи. Среди них были записки по истории Мстеры, над которыми он работал уже двадцать лет; история прилегающего к Мстере села Барско-Татарова и других селений мстерской округи; труд, посвященный возделыванию мстерского лука, и, наконец дневник текущих мстерских событий...

Когда я вышел от Александра Николаевича и шагал потом притихшей ночной Мстерой, все эти дома, калитки, заборы, деревья как-то ожили в моем воображении. Вот дом воров и поджигателей Занцовых, обративших эти темные дела в доходное ремесло. А вот дом владельца иконописной мастерской Василия Сосина, который предпочитал держать у себя спившихся мастеров, платя им втридешева. Эти липы и вязы посажены любителем садов и парков фабрикантом Крестьяниновым. А тут жила «художница цветными шелками» Марья Морозова, чьи изумительные вышивки я видел вчера в местном музее...

Я шел и думал о том, сколько интересного и нужного пропадает в забвении из-за того, что редки такие самородные краеведы, как Александр Николаевич Куликов. Ведь краеведение зачастую считается у нас делом, не стоящим серьезного внимания. Это видно хотя бы из того, что в школах оно целиком передано кружкам, которые, как

правило, занимаются от случая к случаю и охватывают далеко не всех школьников.

А между тем краеведение нужно не столько как самоцель, но как мощное средство воспитания. Ведь любовь к Родине начинается не с абстрактных понятий, чуждых детскому уму и сердцу, а с привязанности к тому, что повсечасно окружает нас: к вязу под окном родительского дома, к светлой речке, куда бегал в детстве удить пескарей, к сосновому бору, чей шум слушал в ветреный день, ко всем близким и милым людям, кому отдана наша любовь. Поэтому знать природу своего края, его историю, быт, экономику — это значит укоренять в себе любовь к Родине.

КАПЛИ ДОЖДЯ

...По дороге через поле спелой ржи лихо катил красный автобус. Из окон его высовывались пионеры в белых рубашках, махали руками, что-то кричали. И таким юным праздником веяло от всего этого, что и сам потом весь день чувствовал себя счастливым мальчишкой.

Зимой я прилетел из Сибири и, когда уже ехал на электричке из аэропорта в Москву, то постарался вспомнить все, что видел за эти несколько часов пути. Вспомнил, что ел жареного омуля в Свердловске, видел в розовой морозной дымке сизые хребты Урала, потом любовался красивой россыпью огней Казани и все. Правда, кругом были люди, но, отгороженные друг от друга высокими спинками кресел, они так и остались для меня просто пассажирами — без имени, без биографии, без судьбы.

И мне под стук колес подмосковной электрички пришла на память мысль неугомонного землепроходца Короленко о том, что поезда, пароходы и прочие виды транспорта, которые подарила нам цивилизация, отрывают писателя от страны, от ее природы, от ее народа.

Быть может, чтобы сократить этот разрыв, я и шагаю теперь по проселочным дорогам...

Я люблю говорить с деревенскими стариками. Кроме того, что большинство из них — чистейшие родники русской речи, свободной от всякой словесной дряни, вроде «ассортимента», «метиза», «оргвыводов», они еще много

знают. Богаты они, конечно, не теми книжными знаниями, которые даются образованием, а теми, что исподволь накапливаются в течение всей жизни. Они знают, где и как поймать рыбу, как замесить хлеб, как отделить пчелиный рой, вспахать землю и посеять зерно.

Мы часто даже не считаем это знаниями, а между тем они не менее важны, чем алгебра, биология, история или физика.

Парень сидел на крыльце, бил прутиком по широкой штанине и рассказывал, что его друг Васька, перебравшийся недавно в город, влюбился там в актрису.

— Васька в актрису влюбился? — переспросил большой, спокойный кузнец Ватулин с обидой в голосе. — Фу, какое свинство! Ведь она его мизинца не стоит. Хорошая, говоришь, актриса? Все равно не стоит. Ведь Васька в прошлом году на празднике самого меня перепил и на гармонии играет так, что душа рвется.

Узнать и понять себя как человека в природе и в обществе — это уже так много, что хватит рассказывать на всю жизнь. Нельзя, однако, смотреть только в себя. Надо переносить свое на окружающих, а от них на себя.

НОЧЛЕГ В ЗАБОРОЧЬЕ

В полную силу полыхало над пыльными дорогами солнце. На многие километры вокруг дремали в полудневном оцепенении поля, и казалось, что все живое, всякая былинка молитвенно просит: «Дождя!»

О, эти косые солнечные дожди первоначального лета! В ясном небе сгустится вдруг сине-серая дымка, и до самой земли падает от нее сотканная из золотистых нитей завеса. Добродушно проурчит гром, скатится куда-то за горизонт, словно телега по бревенчатому мосту; зазвенят под ударами капель лужи, и начнется бойкий, веселый разговор воды с травой, с крышами, с деревьями, пшеницей и овсами...

Такой дождь переживал я в деревне Золотая Грива. Светлое название — Золотая Грива и темное — Дегтяр-

ка. И просто поразительно, как пристали они двум соседним деревням. Золотая Грива стоит на песчаном бугре, открытая со всех сторон, тянет к небу белую колокольню и смотрит окнами на светлые стороны — восток и запад. Дегтярка же прикрыта дубами, ветлами, и, подойдя к ней, упрешься в глухие стены сараев. Лицом она повернулась к темному бочагу с илистыми берегами и глядит на север.

Здесь я остановил красивого парня в серой рубаше распояской и спросил дорогу.

— Вам надо идти вот здесь,— показал он вдоль бочага.— Но все равно вы собьетесь, поедете лучше с нами.

Появились еще парни с корзинами, набитыми свежим, еще дымящимся мясом, мы сели в утлый ботник, тотчас же наполнившийся до половины водой, и переплыли на другую сторону бочага, где стоял в дубовой роще грузовик.

Он быстро домчал нас до большой деревни Заборочья. Здесь у колхозного правления, ожидая чего-то, толпился народ, и все принялись бестолково рассказывать мне дорогу, упоминая кустики, вешки, сухие сосенки, возле которых надо было повернуть налево, или направо, или чуть-чуть.

— Куда же идти об эту пору, почь на носу,— вмешался председатель, рослый мужчина с густой, совершенно седой шевелюрой.— Поинка, проводи его к Генке, пусть ночует. Где Генка?

Пока искали Генку, мы сидели с председателем на пороге правления, отгоняя веточками комаров. Подошел Генка — в майке, босой, с вожжами в руке — и к нашему разговору о хозяйстве прибавил:

— Скотина в прошлом году была изо всех. Нынешний год тоже сена хорошие, прозимует.

— Погоди,— сказал председатель.— Сперва скосить надо.

— Скосим. В сенокос дашь по три рубля авансу на день — и скосим.

— Погоди,— опять сказал председатель.— Пожалуй, по три-то не выйдет.

— Ну, а для колхозников прошлый год как был — «изо всех»? — спросил я.

— Изо всех,— сказал Генка.— Четыре года подряд так работали, а в прошлом получили по два рубля, по полкилу хлеба, сколько хошь картошки да сена.

Парни сгрузили с машины мясо, и шофер — тот, что

первым встретился мне в Дегтярке,—спросил председателя:

— Кому нести? Студень кто будет делать?

— У нас завтра праздник,—объяснил мне председатель.— Приедут делегаты из «Маяка», будем подводить итоги соревнования. Только тут дело ясное: у них шестьдесят гектаров кукурузы не посеяно. Мы вчера проверили. Оставайтесь посмотреть, наши речи послушать.

Когда, поуживав душистым ржаным хлебом с холодным молоком, я укладывался в чистой Генкиной горнице, он зашел погасить лампу и сказал:

— У маяковцев шестьдесят гектаров кукурузы не посеяно. Слабы они выйдут против нас.

Утром тяжелая синяя туча принесла дождь. Приезд делегатов из колхоза «Маяк» совпал с ним, но они, даже не зайдя в правление, отправились смотреть хозяйство. Председатель, волнуясь, несколько раз подходил к окну и твердил:

— Пусть смотрят, ничего. У них шестьдесят гектаров кукурузы не посеяно.

Туча вскоре иссякла, и собрание разместилось на лавках в тени огромной березы, еще ронявшей на кумач стола крупные капли. Председатель вынул записную книжечку и, особенно упирая на достижения, зачитал длинный ряд цифр. Его не перебивали. Только один раз к столу подошли гуси, и председатель, махнув на них книжечкой, сказал:

— Полинка, прогони эту тварь.

В речах бесконечное число раз вспоминались шестьдесят гектаров кукурузы, сделавшие-таки свое дело: маяковцев признали побежденными. И обед для них потом был такой прочный, что маяковский председатель, отодвигая от себя тарелку с почками в масле, признался:

— И тут одолели. Мы для вас намеренно жидко поставили.

А вдоль деревни уже ходила гармонь. Был веселый, в меру хмельной праздник. Только под самый вечер шофер сел в свой грузовик и сказал, что поедет жепиться. Его с хохотом вытащили из кабины и заставили плясать. Да еще какой-то мохнатый дедушка, сидевший на завалинке, вдруг спросил меня:

— Хочешь, я тебе про пчел все расскажу?

— Все?

— Все,— подтвердил дедушка.

И упал носом в песок.

А когда пришла поздняя летняя ночь, на чьи-то ворота, за которыми мычала корова, повесили экран, и кинопередвижка показала фильм про кубанских колхозников, которые только и делали, что пели, влюблялись и лихо катались на комбайнах.

ЛЕС

Когда в раннем детстве я ходил за грибами, то лес, помню, был у самого города. А недавно там, где рос мой первый гриб, я у знакомого судьи мылся в ванне и после баюлся пивом под воблу.

Я вовсе не в осуждение людям говорю, что они потеснили лес: пусть живут шире и удобней! Но можно было сделать так, чтобы лес остался, как прежде, у самого города. Можно было занять то место, где рос мой первый гриб, а ту чащу, куда я боялся заглянуть и где сейчас загородный пустырь, свалка, тощий картофельник, ту чащу оставить под первый гриб моего сына.

Конечно, зрелый лес надо рубить — не давать же ему стариться и гибнуть,— но это уже промышленность, и не об этом я говорю...

Теперь люди все больше понимают свою оплошку, и вот недавно я прочитал в газете, что мой город победил в соревновании по озеленению улиц. Да и сам я, не по газете, а по жизни, вижу, как лес входит в город и как долговязые лесные липы постепенно кражистеют стволами и круглеют кронами на вольном свету наших широких улиц.

Мне при этом всегда вспоминается безвестный волжский Ставрополь, прославившийся потом как центр строительства Куйбышевской ГЭС. Был он одноэтажный деревянный городок с немощеными улицами и с таким обилием серого, грязного городского песка, что вполне оправдывал свое ироническое название, данное ему строителями,— «Ставропыль». Однако здешние старожилы помнили другие времена, когда улицы города сплошь зарастали мягкой гусиной травой, а в палисадниках перед окнами домов цвели кусты сирени и жимолости. Тогда вокруг города гудели на ветру могучие сосновые боры. Их корни

цепко держали песок. Но чья-то лихая рука свела вокруг Ставрополя лес; оголенные пески, подхваченные заволжскими суховеями, ринулись на город, затопив его улицы.

Люди поняли свою оплошку и там. Ставрополю все равно было стать дном морским, но в новом городе, на высоких сосновых холмах, уже ревностно берегли каждую ветку. И куда бы я ни заходил — в клуб, школу, столовую, в квартиры и даже в автоколонну, — всюду смолисто пахло хвоей и лежали светлые выбкие тени соснового бора.

У меня лично жизнь связана, как и с рекой, с лесом. Я часто думаю, что им я обязан и своим творчеством. В минуты восторга, которыми так щедро может дарить природа, человеку хочется, чтобы все люди глядели одними с ним глазами, чувствовали одним с ним сердцем; он сам щедр. Не потому ли так часто берется за перо именно тот, кто по роду своей профессии или по рыболовно-охотничьей страсти стоит близко к природе? Я не помню, когда мне впервые открылось, что я писатель. Но первый сознательный позыв к слову родился именно из этой потребности делиться с кем-то счастливыми минутами близости к природе. Так было нацарапано обычное детское: «Один раз мы ходили за грибами». И теперь, когда родственники мои удивляются: «В кого ты? Никто в роду у нас не писал, откуда ж это у тебя-то?» — я, смеясь, говорю:

— Из леса, вестимо!

ЛУХСКОЕ ПОЛЕСЬЕ

Был нежаркий, туманный час рассвета. Дорога шла сырыми кустарниками; сквозь них просвечивала темная вода болот; бревенчатые гати колыхались и пружинили под ногами. Я миновал окруженную ржаными полями деревеньку Симбирку, и передо мной, величественный и строгий, встал сосновый бор. По обочинам песчаных дорог еще проглядывали кое-где неяркие цветы, но вскоре и они исчезли, уступив место седым мхам, ржавой хвое и жесткому, точно жестяному, черничнику.

Лес поглотил меня. Я замотался в нем, потерял дорогу, ел сухари, чернику, лесную малину, пил из ручьев, а утомившись, ложился в сухой глубокий мох и смотрел,

как ветер комкает облака и как падают, падают и не могут упасть бронзово-красные стволы сосен.

Уже вечерело, когда я сидел под засохшей сосной. Желтые лучи закатного солнца косо прошивали лес, полный того невыразимого покоя, который помогает ощутить его без себя, то есть таким, какой он стоит сам по себе, не воспринятый ничьим глазом и ухом.

Мертвое дерево надо мной роняло с веток сухую шелуху.

«Дерево падает, а лес стоит», — вспомнил я поговорку знакомого лесного объездчика Феди.

Федя любил лес беззаветно. «Безлесье неугоже поместье», — говорил он и в сухую пору лета, когда в красном лесу стояла горячая смолистая духота, а в болотняках трещал пересохший мох, с неподдельным хозяйским беспокойством принюхивался к ветру: не наносит ли гарью. Он так прочно соединился душой своей с лесом, что решал через него самые сложные вопросы человеческого бытия. Эти откровения, по-видимому, являлись ему без усилия мысли, в результате мгновенного и непроизвольного обобщения опыта и выражались в пословицах, как издревле выражалась всякая народная мудрость. Наверно, десятки раз он легким прикосновением валил трухлявый ствол березы, видел ржавую крону засыхающей сосны и наконец заключал: дерево падает, а лес стоит.

Но, как всегда, в пословице смысл слов перерастал их буквальное значение, и в этом случае она по-Фединому выражала мысль о том, что в одиночку человек смертен, а в массе вечен. Какими бы то ни было путями, но надо дойти до нее, потому что, не будь человек защищен подспудным сознанием бытия, он не мог бы пережить даже мысли о смерти — об ужасной его трагедии, о миллионах лет, стремительно скользящих во вселенной.

КЩАРА

Одно из чудес Лухского полесья — озеро Кщара. Если верить карте, к нему ведет единственная дорога. На самом же деле, весь лес был изрезан машинными дорогами, проторенными тяжелыми лесовозами; дороги эти разной свежести пересекались, кружили, разветвлялись, и, хотя еще раньше знатоки уверяли меня, что «там кругом указ-

ки», никаких указок я не встретил и вскоре обнаружил, что сбился. Следы человека встречались повсюду: отпечатки шин кое-где были совсем свежими; вчерашний дождь не смыл следы босых ног на песке; то справа, то слева слышался далекий гул автомобильного мотора; стояли целые леса сосен со стрелообразными надрезами, из которых в железные стаканчики капала тягучая живица, — но самого человека не было, и я не мог ни у кого спросить дорогу.

Лишь под вечер совсем неожиданно сквозь сосны блеснуло мне отраженным светом зари лесное озеро. Чистое, без единой травинки, оно, как в чаше, лежало в сухих песчаных берегах и было наискось перечеркнуто резкой границей света и тени. Светлая полоса быстро сужалась, за ней, бороздя багряно-лимонную воду, спешили две уточки, но тень догнала их и накрыла, как ястреб крылом. Озеро померкло. Надо мной предвестницей ночи метнулась летучая мышь. На дальнем берегу верхушки сосен еще золотились в лучах солнца, но вокруг меня весь берег с его старыми костерищами, рогатками, остовом шалаша и полусгнившей землянкой уже погрузился в настороженную полутьму и походил сейчас на древнее становище, покинутое в предчувствии беды племенем, услыхавшим недобрый гул под землей. Меня предупреждали, что в этих местах недавно провалились три гектара векового леса. Теперь это предостережение довершало иллюзию покинутого становища, и все вместе было так прекрасно, значительно и жутко, словно я стоял, подобно героям фантастической «Плутонии», на пороге детства человечества.

Заночевать я решил в развалинах землянки, где хранилась бочка с живицей. Песок на полу был мягок, но не прогрет солнцем, и, проснувшись среди ночи от холода, я вышел из землянки.

Глубокая, мертвая, затягивающая, как омут, стояла тишина. Одиночество, которым я так наслаждался весь день, точно мохнатая лапа, вдруг стиснуло мне сердце, и неодолимо повлекло к жилью, к огню, к людям.

«Да полно, есть ли тут жив человек!» — пробовал я разумным доводом унять бессознательный порыв к бегству.

И не выдержал, пошел наугад вокруг озера, боясь, что круг замкнется, а я не встречу ни кочующих рыбаков, ни лесорубов, ни сборщиков живицы.

Но вот впереди забила, захрипела на цепи собака.

Немного погодя на тусклом фоне озера обозначилась остроконечная стреха избы, и, постучавшись у ее дверей, я, как в середину книги, вступил в незнакомую людскую жизнь.

Это было жилье лесного объездчика Федя.

ЛЕСНОЙ ПОСЕЛОК

...Шагаю седыми хрусткими мхами, солнечными просеками, смолистыми борами. День ли, ночь ли — я все равно иду, если есть желание, а нет — живу там, где нахожу воду, чтобы размочить сухарь.

Однажды ночью, прикинув по карте расстояние до лесного поселка, я затоптал небольшой костерок и зашагал, чувствуя дорогу ногой, как лошадь. Впереди меня бесшумно носились ночные птицы; лес тихо перешептывался; в его темных глубинах то трещала ветка, то падала шишка, то булькала вода.

Уже за полночь я вошел в поселок. На ярко освещенной танцевальной площадке толпилась молодежь, у магазина разгружалась машина с продуктами, и бегали неведомо почему бодрствующие мальчишки. Они отконвоировали меня к коменданту. На стук вышел седобородый дед в гимнастерке и подштанниках, зевнул и, отказавшись смотреть мои документы, сказал:

— Ступай, сударь, в общежитие и ночуй. Там свободных коек полно.

В общежитии, длинном деревянном здании барачного типа, действительно нашлась койка. Но сон не давался мне. Я ворочался на скрипучей койке, считал до пятисот — все было напрасно. Кто-то долго кашлял в углу и наконец сипловато спросил:

— Не спится, товарищ?

— Да...

— Пойдем со мной на озеро удить, хочешь?

Я согласился. В углу зашевелилась белая фигура, облачилась в черное и на минуту пропала, как невидимка, пока не прорезалась снова на сером фоне окна. По осанке, по голосу, по шарканью ног угадывался человек немолодой, кряжистый. Он взял удочки, лежавшие вдоль плинтуса, котелок, и мы вышли.

Мой спутник хмуро глядел из-под косматых бровей, и

пепельные жесткие усы топорщились у него как-то очень нелюдимо.

Огромное озеро, похожее на все местные лесные озера, чистое, обрамленное соснами, плескалось у самого поселка. Дул утренний ветер, наволакивая серые, ненастные облака. Мы закинули удочки. Ловить было неинтересно: поплавок прыгал на волнах, с воды наносило холодный туман, липнувший к лицу, как мокрая паутина.

— Мне тоже не спится,— сказал лесоруб после долгого молчания.— Все думаю, какой у меня зять будет.

— Ну, что тебе о зяте думать? Дочь найдет,— сказал я.

— Оттого и думаю, что уже нашла. Сегодня в деревню пойду, на свадьбу. Бабы там одни; наверно, окрутил их зять.

— Может, и не окрутил. Не торопись обижать человека.

— И то правда,— засмеялся лесоруб.— Давно дома не был, вот и кажется, что там поруха да разор. А ты почему не спишь?

— Тоже давно дома не был.

— Да... Вот так и живем,— задумчиво сказал лесоруб.— Пойдем-ка завтракать. У меня вчерашняя уха есть.

И, объединенные в душе общей тоской по дому, мы пошли прочь от серого ветреного озера.

Днем попутная машина увезла меня дальше, в глубь лесов.

В кузове набралось еще человек десять коммунистов, ехавших на общее партийное собрание лесокомбината. Никогда я не переносил такой жестокой тряски под мелкий дождичек, как на дорогах лухских лесов. Машина виляла между соснами, прыгала на ухабах; по головам нас хлестали мокрые ветви, и мы, держась друг за друга, всей массой валились на борта, на кабину, на дно кузова.

Наконец парторг постучал по крыше кабины. Машина, взвизгнув тормозами, стала как вкопанная, нас кинуло на кабину, а на подножке во весь рост выпрямился шофер, стройный, тонколицый, в берете набекрень, гроза поселковых девчат, и невинно спросил:

— В чем дело?

— За третьим рейсом, что ли, спешить, Никита?

Никита чуть улыбнулся, оглядел нас и сказал:

— За фиалками.

С рекой, лесом, полем нужно быть один на один. Тогда это творческий союз, а не пикник или прогулка.

На фоне темного ельника стояла одна-единственная березка — вся желтая и сквозная, и ветер уже рвал с нее первые листья, кидал на суровые ели, точно награждая их золотыми медалями за стойкость перед будущими холодами.

Слышал, как в августе пел соловей. Может быть, и какая-нибудь черемуха цвела для него во второй раз? Бывает ведь и так.

Ветхие старцы из окрестных деревень говорили, что они не упомнят, когда еще стояла в июне такая гнусная погода, а в августе, у самого сентября, было так благоприятно.

Особенно горячился по этому поводу дед Севастьян Подкорытин. Он был старик научный и очень напирал на циклоны и атомные взрывы. Радио играло в его жизни огромную роль. Он был награмотен, глух, и только мощные радионаушники, которые он всегда волочил за собой на длинном проводе, связывали его с большими событиями мира.

На озере и всю дорогу в машине Ваня страшно матерился, а если ему выговаривали за это, отвечал самодовольно:

— Что? Не нравится крепкое слово?

Когда же проезжали по бревенчатому мосточку, вдруг сказал:

— Как на ксилофоне проиграли.

Вот это-то, пожалуй, и было единственное крепкое слово за весь день.

Егерь Фигуровский посадил у себя яблоневый сад. Созидательная миссия собственника на этом и кончилась бы, хотя никто не молвил бы о нем худого слова — ведь

как-никак, а он украсил крохотную часть земли. Но Фигуровский привез саженцев еще и соседу. Да так с тех пор и возит из совхоза ежегодно по тысяче саженцев. И маленький поселок над Клязьмой шумит яблоневыми садами истинного украшателя земли.

Любуюсь августовским небом и думаю: для метеора, быть может, тысячи лет мчавшегося холодной глыбой через мрак Вселенной, встреча с Землей губительна. Но как ярко вспыхнет он напоследок в ее атмосфере, и не стоит ли этот миг возгорания тысяч лет скитаний во мраке!

Я пишу — это значит, я роняю свои листья. Но пока я корнями в земле, бояться нечего: мой сад опять зазеленеет.

НЕРЛЬ

С нежным, как бы чуть бурлящим именем этой реки связано у меня одно из самых высоких наслаждений прекрасным, какое мне когда-либо доводилось испытывать. Недалеко от ее слияния с Клязьмой возле села Боголюбова стоит древний храм Покрова — чудо русского архитектурного мастерства. Мне всегда кажется, что создан он без помощи рук, одним лишь вдохновением, равным чародейской силе сказочных волшебников. Есть в нем что-то непостижимое, действующее не на глаз, а на душу, начинающую как-то торжественно, возвышенно и грустно томиться при виде этой белокаменной поэмы древних времен. Увидевший этот храм хоть раз уже не может сказать, что в жизни его не было счастливых минут.

Недавно я получил из Ясной Поляны письмо от В. Ф. Булгакова, где есть такие слова:

«...Не завидуете ли Вы мне, что я живу в Ясной Поляне?»

Я, в свою очередь, завидую Вам, что Вы живете в древнем Владимире, поблизости от прекрасных Успенского и Дмитриевского соборов, поблизости от храма — мечты и белого лебедя — церкви Покрова на реке Нерли.

Сорок лет тому назад я посетил Владимир, пешком

сходил в Суздаль, ночевал на каменных плитах в сторожке Спасо-Евфимиевского монастыря, посетил тюрьму для сектантов, в которую Победоносцев собирался засадить Льва Толстого, и испытал чувство необыкновенного обаяния, любуясь на заброшенный в русские поля архитектурный шедевр: церковь на Нерли.

Много, много раз потом в течение долгой жизни, в разных условиях, во дворцах и тюрьмах, восставал в моем воображении и памяти чудесный храм, и всегда это видение сопровождалось высоким, отрешенным от всего житейского и блаженным чувством.

Так могут действовать только самые высокие произведения искусства.

Приветствую Вас и старый Владимир! Если будет случай, приветствуйте, пожалуйста, от меня храм на Нерли!»

Я всегда с вниманием и уважением отношусь к таким просьбам, которых немало, и, бывая на Нерли, не забываю поклониться стенам прославленного храма от имени тех, кто просит об этом. А самого меня всегда возвысит над житейскими невзгодами поющая гармония его очертаний.

Благословенна русская река, несущая на своих водах этого дивного «белого лебедя».

СЧАСТЛИВАЯ

Есть в летнем полдне средней русской полосы с его неровными ветерками, со стрекотом кузнечиков в траве, с каленым зноем, с воздвигнутыми из голубого и золотистого света кучевыми облаками по горизонту что-то отрешающее от повседневных забот и мирской суеты.

Я лежал с тепевой стороны у стога сена. Их было много на длинном узком лугу, зажатом между двумя дубовыми гривами, а дальше по дрожанию воздуха угадывалась Клязьма, и мглисто-синей грядой чуть ниже облаков высился ее правый берег. По гребню его и в широких распадах пестрели разноцветные крыши изб, желто-белесо сверкали на солнце ржаные поля и темными кущами застыли в безветрии деревенские вязы, тополя и липы.

В пойме, давно уже отшумевшей покосом, было прямо-таки пустынное безлюдье. Те, кто натоптал и наездил в лугах эти едва уже заметные тропинки и колеи, зарастающие мягкой отавой, занялись на том берегу делами

другой страды; в луговых болотцах тоже давно отгремели выстрелы первых дней охотничьего сезона; рыболовы держались вольных плесов клязьминского низовья. Кто еще мог появиться здесь? Грибы и орехи не уродились в этом году, смородина отошла, клюква еще не поспела... Я чувствовал, что был один, может быть, на много километров вокруг, и оттого не сразу понял, что слышу человеческий голос, а не какой-то иной звук лугов и леса. Всегда присутствует в дремлющем воздухе полдня этот тонкий вибрирующий звук, слитый воедино из шороха листвы, посвиста птиц, возни мелкого зверья, плеска вод и, кто знает, какого еще трепетания не видимой нами жизни. Но то, что я услышал, вскоре стало выделяться из него, приближалось и наконец отчетливо оформилось в мелодию колыбельной песни, слов которой я еще не мог разобрать.

Множество раз сравнивался женский голос с журчанием ручья, пением жаворонка, звоном колокольчика, и я уж не знаю, с чем бы сравнить мне этот немудрящий тоненький голосок, вся прелесть которого была в какой-то прозрачной девической, даже детской чистоте. Он пел за гривой, где пролежала торная тележная дорога, выходящая на луг, и я отполз чуть в сторону, чтобы не спугнуть его своим присутствием. Скоро можно было разобрать и слова песни. Не слышал я их раньше и, увы, не запомнил. Да и вряд ли это была какая-нибудь записанная собирателями песня, а не импровизация, вылившая в первых намернувшихся и полусвязанных между собой словах ласковый лепет матери над младенцем.

— Устали мы с тобой,— послышался ее голос совсем близко.— Вон и носик у тебя весь в капельках. Гуля ты моя, гуля!..

Как и я, женщина была уверена, что она одна здесь, и разговаривала громко, не таясь. Она, видимо, присела у соседнего стога или на краю гривы в тени дубов, сопровождая каждое свое действие смехом и ласковым воркованием.

— Подожди-ка, мы пеленочки-то раскинем. Посучи пожками, посучи. Жарко гуленьке, жарко малому... Ох,— сказала она вдруг совсем будничным, даже чуть с хрипотцой голосом,— сколько стогов-то наметали! Водить не перевозить.— И опять певуче зажурчала:— Ну, что гуленька куксится? Что милый куксится? Дать гуле молока?

Некоторое время ее не было слышно, но потом, теперь уже совсем тихо и опять с какой-то детской прозрачностью в звучании голоса, она запела:

— С гулей к папке пойдем, папка скажет: дура, малого взяла, по лугам в жару пошла. А нам дома тошно, а нам дома скушно. Печь мы истопили, на крыльце сидели. Под крыльцом-то куры квохчут, тихо стонут. Курам тоже жарко... Гулин папка глупый, с нами распростился, в пойму закатился. Там болота пашет, пни, кусты корчует. Комары его грызут, покоюшка не дают...

Так ли точно слово в слово пела она — не ручаюсь, но мне ясно представились и томительно жаркий деревенский полдень с этим стонущим квохтанием разморенных кур под крыльцом, и молодая женщина с первенцем на руках, влекомая какой-то счастливой тоской через эти залитые солнцем луга к мужу, который, по-видимому, работал сейчас на осушке заречных болот, и даже их предстоящая встреча с ворчливой перебранкой, скрывающей глубокую радость и горделивое любование друг другом...

Размеры ее счастья, видимо, смутили ее самое, и женщина попробовала испугать себя.

— А если нас молония убьет? — вдруг спросила она, внезапно оборвав пение, и я представил, как округлились при этом ее глаза.

С минуту она молчала. Но потом послышался ее счастливый, даже какой-то пьяный от счастья смех.

— Выдумает же, глупая! Молония! Небо ясное, тучек нет, листочки не шелохнутся. Пойдем потихоньку, гуленька.

Я выждал некоторое время и выглянул из-за стога. По дороге между стогами удалялась высокая тоненькая женщина в белом, мелкими цветочками сарафане и такой же косынке, неся на руках что-то такое крохотное, что почти не было видно даже за ее узкой спиной.

Если бы в эту минуту тучные стога стали бы расступаться перед ней, а сквозящие солнцем дубы склонили свои вершины, я, пожалуй, не увидел бы в этом чуда.

ДЯДЯ ЛЕНЯ

Случалось мне встречать бывалых людей, и смотришь — и свету он повидал, и жил чуть не до ста лет, а знает всего лишь, что раньше «карасин» был копейка, а

теперь рубль. У другого — любая история, даже про тот же «карасин», непременно с искоркой. Не просто, значит, что дорожке стал, а надо при этом собеседника поддеть, чтобы не очень нос задирал.

Была такая история и у бакенщика дяди Лени, только не про керосин, а про пиво. Разопреет после ухи какой-нибудь начальственный гость из тех, что в изобилии набегают на бакен к свежей рыбе, и скажет: хорошо бы холодного пива потяпуть и почему это даже в городе его не стало вдоволь? А дядя Леня серьезно ответит:

— Солод перестали сеять.

Тот думает — и впрямь не слышать, чтобы сеяли где-нибудь. И смотрит без улыбки, дураком.

Была история и про Удалого — востроухую подвижную собачонку с хвостом кренделем. Сначала и истории-то не было, а просто каждый день за обедом начинался разговор с детьми:

— Дурак твой Удалой, папа. Опять в деревню убежал.

— Молод еще, учить надо.

На другой день опять:

— А все-таки, папа, твой Удалой дурак.

— Молод. Учить надо.

И давно уже минула скороспелая собачья молодость, а дядя Леня все выгораживает пса:

— Молод еще, учить надо.

Но при этом глаза его смеются: вот, мол, в чем секрет вечной молодости.

Эти смеющиеся глаза, эту искорку в поведении сохранил дядя Леня до конца дней своих.

Шел я налитыми овсами в погожий августовский день. И когда достиг деревни Калиты, увидел в тени на лавочке дядю Леню. Сидел он сгорбившись, с усами, повисшими по углам рта, под соломенной шляпой, как маленький грибок. Узнал и он меня. И глаза его засмеялись.

— Деревня-то Калиты, что ли? — спросил я.

— Калиты.

— Бударин Алексей Ефимович тут живет?

— Тут.

— Дома он?

— Да вон к девкам побег.

...Через полгода я хоронил его на деревенском кладбище среди сверкающих снегов и белых заиндевших берез...

Есть что-то в первобытной охотничье-рыболовной страсти украшающее человеческую натуру, и потому люблю я встречать на берегах и в поймах человека с ружьем или удочкой.

О поречных тропах можно написать целое лирическое исследование. Они как бы отражают неугомонный, дотошный характер русского рыбака и охотника. Нашу рыбалку и охоту у меня никак не поворачивается язык назвать спортом. Это где-то там, у Хемингуэев, спорт, а у нас что-то такое — «пуще неволи», — иначе не назовешь. Встретишь в пойме мужичка, заросшего трехдневной щетиной, в рваной робе, со стареньким ружьишком или самодельной березовой удочкой — ну какой тут спорт! Спортсмен рисуется мне непременно в шортах, кедах и с пластиковым козырьком на лбу. И удочка у него — чудо химической промышленности — гнется в кольцо. Ловит он форель по лицензиям.

Начало охоты застало меня в Бельковской пойме, под Ковровом. Надо ли говорить, сколь трепетно ждали этот день охотники всего князьминского побережья. Но, как и следовало ожидать, он горько разочаровал их. Пойма точно вымерла; лишь изредка пролетит какой-нибудь шальной дрозд, в которого тут же посыплются килограммы дробы истомившихся по выстрелу охотников.

А помню я эту Бельковскую пойму, полную ут্যা, бекасов, дупелей. И видно, что это уж горькое знамение нашего века — оскудение пойм и загрязнение рек. Так и стонет в ушах грустная чеховская «Свирель»:

«Летошный год мало дичи было, в этом году еще меньше, а лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется... И рыба... Мне не веришь, спроси стариков; каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше...»

Поет, поет свирель, а охотники, чтоб как-то разрядить ружья и душевное напряжение, накопившееся за дни ожиданий и приготовлений, палат по картузам, консервным банкам и бутылкам.

Один хвастается:

— Ударил по картузу в подкидку, три минуты потом сверху черные хлопья падали.

Возле лужи, заросшей осокой и ольшаником, сидят трое, приканчивают четвертую поллитровку. Рассказывают:

— Утром выплыл из елка чирок, а ружья у нас в руках ходят. Стреляли все трое, не попали. Теперь ждем вечерней зорьки. Может быть, выплывет. Да только, кажись, опять не попадем.

У стога новая встреча, новый рассказ:

— Ночевали мы на гривке. Выпили. Мой товарищ пошел до ветру, ввалился по пояс в воду, стоит с закрытыми глазами, спит. Я его растолкал, он озирается, спрашивает: «Где мы ночуем-то?» — «Да вон, говорю, дым от костра, иди на него». А дым-то ветром относит, товарищ и пошел по нему. Метров на двести ушел. Слышу — вопит. Привел его за рукав к костру, он ругается. Не туда, дескать, привел, не наш костер.

Так и развлекаются кто чем вместо охоты.

СТАРАЯ ПЛОТИНА

Было, говорят, и былшем поросло. Я стал мерить прошлое уже не годами, а десятилетиями и при случае имею право сказать, что такое-то де было с десятков лет назад.

Была за Клязьмой на Уводи-речке деревенька, вся из серых бревен, под жидкой тенью ветел, со старой колоколенкой над косогором, и приезжал я туда как-то летом по одному торжественному случаю. Там строилась на Уводи колхозная гидростанция. Уже высился среди цветущего буйства лугов ее сруб, весь, как янтарем, пронятый смолою; уже свивалась в тугие бурлящие струи вода в узком горле перемычки; уже мотался вокруг какой-то дед в подшитых валенках и вдохновенно пророчествовал, что рыбы теперь тут нагрудит, как в котле; и председатель колхоза то и дело перезванивался по телефону с учреждением, название которого проносилось с грациозным итальянским полновзвучием: «Сельэлектро».

В этот день должны были закрыть перемычку. Из города на воскресник приехали комсомольцы. Сверкая золотом труб, бухал марши сводный оркестр всех городских заводов. Некошенная пестрая пойма еще ярче расцвела

кофточками, косынками, майками. Пирамиды известкового камня на зеленой траве слепили глаза своей белизной.

Соразмерна ли торжественность решительного момента значению события? Мне кажется, нет. И перекрывается петлистая камышовая Уводь или мощный многоводный Енисей, в одинаковой радости вздрагивают сердца тех, кто причастен к этому делу. Когда в горловицу перемычки, грохоча и всплескивая, посыпались камни с первых носилок и оркестр с новой силой грянул что-то бравурное, даже у меня, стороннего наблюдателя, предательски перехватило горло крутой спазмой. Не то ли самое испытывал я и на Куйбышевской гидростанции, когда увидел, как после многих бесплодных попыток в землю, словно горячая игла в масло, полез под нажимом вибромолота стальной шпунт...

Ах, что за чудесный это был день! Встревоженные чибисы с писком носились над поймой. Ветер трепал прибрежный ивняк и комкал все звуки — удары копра, голоса людей, рев труб, плеск и грохот камней — в какой-то монолитный гул труда и ликования. Нельзя было удержаться от соблазна схватить неровный, словно кусок колотого сахара, камень, взвалить его на плечо и, пробежав по шатким мосткам, сбросить во вспененную воду. И странно, совсем забыв тогда о главной цели своего приезда сюда, то есть о сборе так называемого литературного материала, я вскоре как-то очень легко, со светлым чувством уверенности и радости написал свой первый напечатанный рассказ «Однажды летом».

Мог ли я спустя десять лет не воспользоваться случаем и не побывать на маленькой гидростанции, где лежал в перемычке и мой посильный камень? Я вспомнил о ее близости как-то вдруг, и наш лагерь на Клязьме, отладив все минимальные удобства походного быта, уже готовился к вечерней заре, когда знакомая колоколенка без креста, выступавшая из поемных зарослей на противоположном берегу, словно позвала меня.

Днем в самую жару прошел неожиданно холодный, даже какой-то обжигающий дождь и оставил в воздухе резкую свежесть осени, как бы напоминая о том, что август уже перевалил за свою середину. Я переехал через Клязьму и долами, полными студеной сырости, напрямик зашагал к Уводи. Но в пойме не ходят напрямик. Мокрый по плечи, весь в паутине, выбрался я наконец из ольховой

крепил на дорогу, не одолев и половины пути, а солнце уже вызолотило небосклон, погружаясь в холодный туман заречных болот. Пришлось прибавить шагу. По совести говоря, мне не хотелось прийти на гидростанцию, которую я помнил празднично залитой щедрым солнцем июля, в такой неприветливый вечер, но кто знает, когда бы еще выпал случай побывать там?

Заросли уже расступились перед дорогой. Впереди открылся холмистый простор, синеющий вершинами увалов, по которым кое-где еще спадали несжатые поля ржи. Колокольня встала передо мной во весь рост на открытом холме, и по ней струился вниз подвижный от тумана, оранжево-желтый отблеск заката. Там под холмом стояла гидростанция.

...Но ее там не было. Полустгнившие бревна с вывороченными скобами торчали из суглинистого берега, вода стремительно бежала по размытому ослизлому каменику между позеленевшими сваями, омывая, как туши каких-то погибших животных, два крутобоких ржавых сопла турбин. Луг, который остался в моей памяти таким расчистленным и гомонливым, был теперь пустынен и дик. Застойную воду в заводях и баклушах сплошь покрывала сочная ряска чуть не с копейку величиной, стебли осоки сухо терлись друг о друга, а одинокая фигура рыболова — парнишки лет пятнадцати с озябшим носом — только еще выразительней подчеркивала запустение и одичание окрестных мест. Он закидывал леску на кривом березовом удилище прямо в водоворот у разрушенной плотины, где медленно вертело и вспучивало густую кашицу из ряски, и часто выхватывал то крупного ельца, то плотицу, выскакивавших из воды с каким-то влажным пробочным чмоком.

— А что, станцию-то давно сломали? — спросил я.

Он переложил удилище из руки в руку и обернулся:

— Давно. Уж и забыли.

— Чем же она вам мешала?

— Морока с ней, — усмехнулся он. — Больше чинили, чем пользовались. А свет на одну избу-читальню давала.

— Ну, а теперь как же?

— Теперь у нас будка.

— Чего? — не понял я.

— Будка, — неторопливо ответил он, опять выхватывая из-под ряски толстоспинную плотву и в то же время

указывая мне свободной рукой в сторону села, куда, по-видимому, к трансформаторной будке, перевернутыми ижицами сбегались длинноногие деревянные столбы с подпорками.

Мне все стало ясным. Стареем и разрушаемся мы, а жизнь, разрушая старое, набирает свежие силы и молодеет. Сожалеть ли и грустить по этому поводу? Конечно же, нет. Но когда я шел по сумеречным долам и уже совсем темным гривам обратно к берегу Клязьмы, именно с чувством грусти и сознанием невозвратимости вспомнился мне тот счастливый мой день, ярко и празднично закатившийся в прошлое. Ведь не всегда доводы разума властны над нашими чувствами.

ВКУС ЖЕЛТОЙ ВОДЫ

До сих пор сохранилась у меня потерянная на сгибах, мягкая, как тряпочка, карта. Она была новой, когда трое мальчишек принесли свою кровавую клятву. Диковатой прелестью нехоженых мест веяло на них от зеленого пятна на карте по левобережью Клязьмы. Бескрайний, уходящий за обрез карты разлив лесов с голубыми кляксами озер, с синей жилкой реки Лух, с одинокой ниточкой проселка, на которой редко-редко где был подвешен кружочек населенного пункта, дохнул на них своим смолистым запахом. Лухское полесье, Карстовые озера, Нерльско-Клязьминская низменность — все эти названия звучали для мальчишек, как загадочный шум лесов, как баюкающий плеск озерной волны, как задумчивый шорох ржаного поля. А Лух! Про эту речку мальчишки узнали, что протекает она среди торфяных болот, что русло ее поросло травой и тростником и что цвет воды в ней желтоватый.

Этот желтоватый цвет окончательно сразил мальчишек. В глазах у них заблестела какая-то сумасшедшинка, говорившая, что теперь они не остановятся ни перед чем, чтобы отправиться в свое путешествие.

Но жизнь, как уже было сказано, рассудила по-своему...

На Лух я вышел в среднем его течении, у поселка Фролищева Пустынь. Там стараниями секретаря партийной организации лесокombината я поселился в пустующей квартире из трех комнат с кухней, чуланами и хозяйственными пристройками.

Из стен здесь во множестве торчали гвозди, дававшие возможность заключить, что мой предшественник был страстным любителем картинок, фотографий и всего, что можно повесить на стенку. Теперь эти гвозди продолжали отлично служить мне, в роскошном просторе располагая на ночь по стенам мои вещи — от «кепи-спорт» до штанов.

Жил я в этой квартире в свое удовольствие. Как в сказке, выходила ко мне из-под печки мышка, а я, за неимением каши, давал ей сахару, а она за это награждала меня, как Машу, тем, что всякая работа у меня спорилась.

Дни мои проходили в скитаниях по берегам Луха. Вода в нем оказалась действительно желтой, даже с коричневым торфяным оттенком, а язи отливали, подобно лиям, темной бронзой.

Свои желтые воды Лух нес среди дубовых рощ и сосновых лесов, между светлыми песчаными берегами, через болота и непролазные крепи.

Путь к устью, куда мне хотелось попасть, был один — водой. Он манил меня, когда я, стоя на мосту, глядел, как вода, омывая песчаный остров, уносится за изгиб реки, в зеленое царство лесов.

«Ну, что ж, — думал я тогда. — Быть может, этот бег воды был первой силой, которую использовал человек в своем движении к культуре и техническому прогрессу. Почему бы не вернуться мне к простейшему способу ее подчинения и не построить себе плот?»

С этой целью я обошел берег, собрав кучу древесного хлама. И чего тут только не было: бревна, кусок забора, намокшие доски, поленья!

Совершенно невозможно было голыми руками создать из этого материала водоплавающий снаряд.

В магазине хозяйственных товаров из инструмента нашелся топорик без топорща, а из связывающих материалов — электрический шнур. Безнадежно обстояло дело с гвоздями. И тогда я вспомнил про свою квартиру и сколько там торчит из каждой стены гвоздей.

Целый день я, ссаживая руки, раскачивал их и вытаскивал, пока наконец не осталось ни одного.

Велик, наверное, был ужас первого человека, когда вода подхватила и понесла его. Но это падение человека с

берега в стихию было той причиной, которая вызвала к жизни современное пароходство. Теперь того первобытного ужаса перед стихией нет: человек защищен всем накопленным за века опытом, поэтому я только посмеялся, когда вода подхватила и понесла меня. За свой опыт я заплатил дешевле, и он не станет причиной развития пароходства, но теперь-то уж я сам буду строить плоты поиному.

То сооружение, которое от толчка колом вынесло меня на середину реки, стало медленно оседать подо мной в глубину. Погрузившись сантиметров на тридцать, оно спокойно поплыло по течению, и я теперь представляю, как был изумлен спросонок тот рыболов, что увидел меня идущим по воде, как посуху.

Моему мешку, картам, сапогам грозило потопление.

Размахнувшись, я выбросил на берег все это, а сам...

Было очень раннее утро, первая птица только-только звенькнула в дубовой роще, когда я возвращался в свою квартиру. И это хорошо, что никто не видел меня, потому что не очень-то приятно встретить насмешливый взгляд и, может быть, услышать ядовитое соболезнавание.

Когда я снял с себя одежду, чтобы просушить ее, то сам не выдержал и громко расхохотался: ни одного гвоздя в квартире не было...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В доме, где была вентиляционная отдушина, давно уже поселились незнакомые люди. Если они пошарят в отдушине, то непременно найдут там бумажный цветок и в нем кровавую клятву трех мальчишек.

Теперь к ней можно прибавить, что одного из них унесла война, другой нелепо и обидно погиб, разбившись при аварии мотоцикла, а третий через много лет вспомнил свою клятву и отведал воды из многих рек и озер своей Родины.

Если брать в расчет весь его путь, то не была ли это живая вода?

Каждый месяц в году по-своему хорош. Но есть у меня два самые любимые месяца — март и август. О марте я как-нибудь расскажу отдельно, а сейчас — об августе, спелой поре лета, поре зрелости плодов, самой богатой поре природы и человека. Вернее, об одном августе моей жизни. Еще вернее, — об одном его эпизоде.

Именно этот месяц мы выбрали для путешествия на лодке вниз по реке Клязьме.

Было чуть студеное, ясное, омытое росой утро. Река клубилась молочным туманом, на противоположном берегу из кустов вылезало неяркое и огромное солнце, точно разбухшее в сырости далеких болот. С широкого обмелевшего плеса город, расположенный на холмах, казался беспорядочным нагромождением голубых, красных, зеленых и желтых домов, поставленных друг на друга, словно кубики. Старинный белокаменный собор с золотым шпилем плыл в небе подобно легкому облаку. На окнах домов и куполах собора лежали красноватые отблески восходящего солнца. Вдоль реки по насыпи, мелькая просветами между вагонами, шел длинный товарный состав, груженный лесом, автомашинами и громадными ящиками, на которых обычно бывает надпись: «Не кантовать!».

Легкий ветерок сваливал паровозный дым к реке, развешивая на реденьких прибрежных кустах его седые лохматые клочья... Было самое обыкновенное августовское утро.

Но для нас оно было не таким уж обыкновенным. Даже, более того, оно было для нас единственным, это первое утро нашего путешествия. Оно запомнилось нам на всю жизнь, потому что единственное всегда необыкновенно и запоминается очень прочно.

И пожалуй, то же самое можно сказать о каждом утре, каждом дне, каждой ночи этого счастливого августа.

В лодке нас было четверо. Леонид Михайлович — бывший редактор флотской газеты, капитан второго ранга в отставке — по праву занимал в нашем экипаже место капитана. Он направлял лодку по курсу кормовым веслом и для острастки экипажа отвергал любое наше предложение

решиительным капитанским «нет!». Писатель Сергей Васильевич по своей солидной полноте и непоколебимому спокойствию вполне подходил на роль боцмана. Я нес нелегкую матросскую службу — греб распашными веслами, тянул лодку против ветра на лямке, рубил дрова, вбивал колья для палатки, таскал на крутой берег ведра с водой и еще выполнял всю работу, которую должен был делать юнга — мой сын. Кроме, впрочем, рыбной ловли и охоты. Эти обязанности он великодушно оставил за собой.

Но речь здесь пойдет не о нас, а о пятом члене нашего экипажа — курице Пеструшке. Она появилась в лодке на двенадцатый день пути. Уже немало было съедено консервированной говядины, гречневых, гороховых, овсяных концентратов, ухи и жареной рыбы, огурцов, помидоров, картошки, яиц, простокваши и творога, и мы начали тосковать по свежему мясу.

Надежда на охоту не оправдалась. Открытие охотничьего сезона застало нас в Бельковской пойме.

Я помнил эту пойму, полную уток, бекасов, дупелей, а теперь она точно вымерла.

— А не бывает у человека от недостатка в пище свежего мяса цинги? — задумчиво спрашивал юнга.

— Нет, — говорил капитан, с отвращением пережевывая кусок жареной щуки. — Бывало, в море мы неделями питались одной рыбой... Впрочем, нет. Была еще солонина и зеленый горошек.

Под Мстерой мне удалось все-таки подстрелить двух куликов. Уже сгустились вечерние сумерки, мы очень утомились и решили полакомиться куличками за завтраком. Но какая-то проворная зверушка опередила нас, стащив наших куличков, в чем расписалась на влажном песке строчкой мелких следов.

— Водяная крыса, — сказал я.

— Хорек, — сказал юнга.

— Ничего вы не смыслите, — сказал боцман. — Это — горностаичик.

— Черт бы вас побрал! Проспать такой завтрак! — сказал капитан. — Нет! В Вязниках идем в столовую и едим мясо, сколько влезет.

Но сколько может человек унести в своем желудке? В вязниковской столовой мы до отвала наелись бифштексов, побродили по городу, съели в пельменной по две пор-

ции пельменей, а впереди был еще долгий путь до следующего по маршруту города Гороховца.

— Мне о рыбе даже подумать тошно,— грустно сказал боцман.

— Не холодильник же возить с собой,— раздраженно сказал я, тоже подумав о рыбе.

И вдруг спасительную мысль подал нам юнга.

— Можно везти мясо в живом виде,— сказал он.

— Корову? — язвительно спросил капитан.

— Барана? — фыркнул боцман.

— Курицу,— спокойно возразил юнга.— Ко-ко-ко...

Цып-цып-цып...

— Нет...— начал было капитан, но запнулся.

Боцман — человек решительных действий — перебил его:

— Это мысль! Идемте на базар и купим курицу.

Базар! Летний базар в Вязниках! Россыпи вязниковских огурцов — сочных, хрустящих, источающих запах свежести и утренней прохлады; пирамиды налитых, готовых лопнуть от спелости помидоров; груды темно-рубиновой владимирской вишни; запахи лука, чеснока, черной смородины, солений... Голова идет кругом!

Торговки куриной живностью занимали хоть и небольшой, но отдельный ряд.

— Кто из вас умеет выбирать кур? — спросил капитан.

— Не нарваться бы на какую-нибудь старую мочалку. Придется потом грызть сухожилия. Коров, кажется, по зубам выбирают. А кур?

— По гребешку,— сказал боцман.

— Нет,— на всякий случай сказал капитан, но спорить не стал.

— Вот эту,— решительно показал юнга на пеструю, упитанную с виду курочку, которая лежала связанная по ногам в плетеной из прутьев корзине.

— Нет,— сказал капитан.

— Эту,— настаивал юнга. — Смотрите, какая красивая.

— И гребешок яркий, не синюшный,— поддержал юнга боцман.

— Из всех курочек курочка,— умильно запричитала торговка, плотненькая старушка с румяными щечками. — И уж такая веселая, шустренькая, бойкая. И несушка хоть куда. Яйцо кладет крупное, чистое.

— Зачем же продаешь? — спросил капитан.

— А за характер. За бойкость эту самую. Всех остальных долбит, щиплет. Ни курам, ни уткам, ни гусям от нее, изверга, спасу нет.

— Ишь, разбойница, — сказал боцман и ткнул курицу пальцем в бок.

Та хрипло застонала и заворочалась в корзине.

— Берете, что ли? — спросила старушка.

— Ладно, берем, — согласился боцман, ведавший нашим денежным запасом.

Капитан молча взял корзину и повесил ее на руку.

— А корзину-то, милый человек, куда поволок!? — всполошилась старушка, и щечки ее побледнели. — Корзина не продажная.

— Как же курица без корзины? — удивился капитан. — В чем же я ее понесу?

— Уж в чем хочешь, а только корзина не продажная.

— Экая ты неудобная старуха! — рассердился капитан. — Давай уж и корзину. Мы доплатим.

— Нет, — ладила свое торговка. — Корзина не продажная. Сказано, и все тут.

Капитан рывком снял корзину с руки, бухнул ее на землю, сунул курицу под мышку, и мы зашагали на пристань, где под присмотром сторожа была причалена наша лодка.

Вдруг капитан резко остановился и обвел нас каким-то странным взглядом.

— Нет, — процедил он сквозь зубы, — надо немедленно свернуть этой твари голову.

Мы с недоумением смотрели на него.

— Сорви-ка мне под забором лопушок, — сказал, наконец, капитан юнге. — Надо штормовку почистить... — Пр-р-ро-клятая птица.

Я сказал, что видел, как на Кавказе местные жители носят с рынка кур за ноги вниз головой, и они, миленькие, не шелохнутся.

— Не колеблются? — спросил капитан. — Нет? Тогда бери и неси сам, а я к ней больше не притронусь.

Курица, взятая за ноги, и впрямь вела себя очень смиренно и вскоре была водворена на корме под скамейку, где пролежала до следующей стоянки.

Стоянку мы разбили на реке Лух, чуть выше его устья. Быстрый Лух стремительно нес по извилистому руслу свои бронзовые, на торфяном настое воды; было видно, как по

смуглому донному песку шарахаются темные силуэты щук. Мощные прибрежные дубы-великаны шелестели над нами своей листвою, точно нашептывали сказку древних-древних времен. А по ночам в иссиня-черном августовском небе струилась серебряная река Млечного пути.

Приход утра еще задолго до рассвета первой угадывала наша Пеструшка. Вечером она взбиралась на напест-колышек, положенный на две рогатины, и засыпала, как только начинал меркнуть закат, а утром, хлопая крыльями, слетала на землю и будила нас, когда восточный склон неба едва-едва трогала рассветная прозелень.

Пеструшка жила у нас на стоянке уже четыре дня, и концентраты опять успели набить нам оскомины.

На пятое утро капитан стал точить топор. Он довел его лезвие до зеркального блеска и прямо-таки бритвенной остроты, но все еще продолжал свою работу, ни на кого не глядя и хмурия пучковатые брови.

Мы молчали.

Наконец капитан поднял взгляд и протянул мне топор.

— На, — сказал он, — действуй. А щипать будет юнга.

— Почему это мне действовать!? — возмутился я. — Вон боцман ничего не делает. Пусть он и действует, а я, видите, картошку чищу.

— Как ничего не делаю? — возразил боцман. — Я сейчас пойду жерлицы проверять.

И он, несмотря на свою полноту, проворно сбежал с крутояра к реке.

Капитан сильно всадил топор в пенек.

— Пожалуй, сегодня можно обойтись салатом и овсяной кашей, — сказал он. — Подождем до завтра.

Но кашу пришлось отдать Пеструшке и стравить на подкормку рыбам, потому что ее никто не ел, а для салата не оказалось огурцов, и его просто не готовили.

Уснули мы голодные и слегка за что-то сердитые друг на друга.

— Может быть, ты? — спросил утром капитан юнгу, запивая черный сухарик сладким чаем.

— Ну уж, нет! — вскинулся юнга. — Из ружья я, пожалуй, могу ее стукнуть, а топором не буду, увольте.

— Ладно, валяй из ружья, — нехотя согласился капитан. — Только иди подальше, за дубы. Там и ощиплеешь, чтобы тут не сорить. Ступай.

Юнга повесил на плечо ружье стволом вниз, взял Пест-

рушку по-кавказски — за ноги — и скрылся в густом кустарниковом подлеске.

— Нет, отчаянная молодежь все-таки нынче пошла, — вздохнул капитан. Ничего для них особенного трахнуть вот так и — готово.

Мы молчали, ожидая выстрела, но прошло минут десять, и вдруг из кустов вышел юнга, опустил на траву живую и невредимую Пеструшку и прислонил ружье к дубу.

— Вот если бы влет стрелять, — смущенно забормотал он, — тогда другое дело. Вроде бы на охоте. А то я ее на мушку беру, а она травку щиплет... Может, кто-нибудь подкинет, а я ударю, а? Влет чтобы... А?

— Навязалась ты на наши головы, — с остервенением сказал капитан бродившей возле нас Пеструшке. — Чтоб тебе и твоей хозяйке пусто было, идол ты пернатый.

В тот день мы снялись со своей стоянки. Упругая бронзовая струя Луха вынесла нашу лодку на широкий серебристый плес Клязьмы, и уже ее плавное величавое течение повлекло нас дальше вниз.

За полдень на высоком правом берегу показалось село. От него, как желтые ручьи, сбегали к воде по косогору протоптанные в траве дорожки. По одной из них, неся на коромысле пестрые половики, спускалась женщина.

Капитан вдруг резко крутанул кормовым веслом и направил лодку к берегу. Женщина и лодка одновременно сошлись у дощатого плотика.

— Здравствуй, хозяйка! — приветливо крикнул капитан.

Женщина засмеялась — была, видно, веселая — и шлепнула половики на мокрый плотик так, что на нас полетели брызги.

— Здравствуйте, горемычные! — сказала она сквозь смех. — Издалека, знать, плывете. Вон как прочернели.

— Слушай, хозяйка, — серьезно заговорил капитан, не настроенный, как видно, на веселый лад. — Купи у нас курицу.

— Ку-урицу? — удивилась женщина. — Да на что она мне? У самой их полон двор.

— Купи, — настаивал капитан, вытягивая за ноги из-под скамейки Пеструшку. — Хорошая курица. Всеми статьями вышла. Смотри, разве плохая курица?

Мы наконец поняли замысел капитана.

— Из всех курочек курочка, — сказал юнга.

— И уж такая веселая, шустренькая, бойкая, — подхватил я.

— И несушка хоть куда. Яйцо кладет крупное, чистое, — добавил капитан.

— Молодая курочка. Гребешок, смотри, яркий, не синюшный, — заключил боцман.

— Да ведь, поди, краденая, — усомнилась женщина. — Нет, не нужна мне ваша курица. Наживешь с ней беды.

— Экая ты неудобная, — досадовал капитан. — Ну, не хочешь купить, возьми так. Она нам тоже не нужна.

— А коль не нужна, так в котел ее — и вся недолга, — опять засмеялась женщина.

— Мы не едим мясо, — серьезно сказал юнга.

— Больные, что ли?

— Вроде... — неуверенно сказал боцман.

— А с виду не похоже, — оглядывая его, продолжала смеяться женщина.

Капитан между тем не терял времени даром. Он незаметно для нее уперся веслом в плотик, потом со словами: «Да ты, хозяйка, пощупай, какая она сытенькая», передал ей в руки Пеструшку и вдруг резким толчком отпихнул лодку чуть не на середину реки. Я в лад ему ударил распашными.

— Ловко сработано, — сказал боцман.

А на плотике с Пеструшкой в руках стояла женщина и что-то кричала, но мы были уже далеко, и только одно слово донес нам ветер, докатили серебристые волны:

— О-зор-ни-ки!..

МОРЯНА

1

Серый дождь и серый асфальт провожали меня из Москвы. А друзья говорили:

— Ну зачем? Ну куда? Ну почему на Каспий? Там, наверно, начались штормы и дует эта... как ее?... моряна. Лучше бы ты не ездил.

— Моряна? — зачарованно переспрашивал я.

И что-то нетерпеливо напрягалось во мне, как стрелка электрических часов перед очередным прыжком. Мне было весело смотреть на зеленый монолит состава и знать, что еще несколько минут — и он понесет меня через ночное полудремотное покачивание на полке, через поглощающее бдение у окна, через невинную полуправду дорожных разговоров, через грусть случайных встреч куда-то вдаль, к отрешению от всего привычного, чтобы с обтоскованной радостью мне обрести его вскоре вновь.

Пора!

Зашипело под вагонами; люди, точно подхлестнутые, быстро побежали по перрону, и проводники уже встали на подножки. Им, вечно уезжающим и приезжающим, не понятно волнение пассажиров, и поэтому они снисходительно насмешливы с ними:

— Ну-ну, прощайтесь скорей. Поехали.

Да, скорей, скорей! Утробно загудел электровоз. Потом почти неощутимо дрогнул пол под ногами, в дверном проеме сдвинулся фонарный столб, и начался этот долгожданный усладительный переход от покоя к всепокоряющему движению.

2

Осеннее солнце встретило меня в Астрахани — неназойливое, нежное солнце сентября, солнце астр, винограда и первых желтых листьев на асфальте.

Вчера я получил разрешение в совнархозе идти на моторной рыбнице в море и теперь стою на ее палубе, дожидаясь отплытия.

На берегу высится огромный конус соли. Одна сторона его, обращенная к солнцу, золотисто-желтая; теневая — голуба, как снег в лунную ночь. Пахнет хлором — едкого и стойко. Причалы связаны из толстых бревен, баржи тяжелы и черны, река сокрушительно сильна в своем монолитном стремлении к морю.

Мне видно, как наш капитан с узелком чистого белья крохотным жучком пробежал к нам по борту баржи.

Пошли!

Внизу, мелко сотрясая все судно, застучал двигатель.

И пока не скрылись из виду причалы, мы видели в прочном, тяжелом, громоздком переплетении бревен двух девочек — дочерей капитана — и женщину — их мать.

Проснулся и сразу почувствовал, что у меня есть какая-то радость. Долго не мог догадаться, какая же, но вышел из провонявшей выхлопным газом каюты и понял, что радость — это свет. Им было заполнено все пространство, которое охватывал глаз, — легким прозрачным голубым светом, каким, по наивным представлениям моего детства, должен быть залит рай. Мы давно уже шли морем.

Наша рыбацкая лодка ползла по нему, как муха по огромной выпуклой линзе, прикрытой дымчатым куполом, и нигде — ни на воде, ни в небе — не было больше ни одной темной точки, препятствующей взгляду. Только к полудню показался на горизонте бесформенный силуэт плавучего завода, а поодаль, слева от него, густо рассыпанные парусные реюшки с очень стройными легкими очертаниями, зыбко истаявающими в голубоватой дымке далей.

— Вы счастливый, — много раз говорили мне в тот день.

Это потому, что после долгих штормов упал вдруг штиль, и мягкое осеннее тепло ровно струится теперь над морем. Днем оно до синевы сгустило свою окраску, словно светится все изнутри, и какая же благодать, какое умиротворение этот голубой чистый свет! И где же тот седой, суровый, просоленный Каспий, с которым заочно свыклось воображение?

Вечером я стою с парторгом плавучего завода Егоровым на верхней палубе. Море опять сменило свой цвет на серо-голубой, почти стальной, а горизонт по всему кругу стал нежно и туманно розов.

— Солнце красно с вечера — моряку бояться нечего, солнце красно поутру — попадет моряк в беду, — сказал Егоров.

Несмотря на китель и фуражку с «крабом», он весь какой-то отечески домашний, и кажется, что стоим мы не в открытом море, над трюмами, полными рыбы, льда и соли, а где-нибудь на веранде дачного домика.

Еще не дотлел закат, когда вышла совершенно рубиновая луна и, поднявшись выше, стала редкого — золотого — цвета.

Пятнистая рыжая кошка, припадая к палубе, сторожила штормовичков — маленьких птичек, меньше нашего мещанина-воробья.

— Штормовики — к ветру, — сказал парторг.

А красное с вечера солнце? Все — неизвестность и радостное ожидание для меня в этом мире.

4

Утром поднялся чуть свет и через плашкоут, причаленный к плавзаводу, перебрался на ту же моторную рыбницу. Там еще спали. Я тоже прилег на ларе с солью и смотрел, как при полном рассвете на небе продолжала ярко сиять луна. А в глазах у меня сверкающим каскадом низвергалась в трюмы рыба. Вчера я так долго смотрел на разгрузку подходивших к заводу парусных рыбниц, что блеск чешуи словно ослепил меня, заслонив все окружающее этим сильным зрительным впечатлением.

Рыба, рыба, рыба...

Помню, как откинули на палубу брезент, и все, даже привыкшие к ее изобилию рабочие завода, ахнули, увидев россыпь красноперок, никельно сверкавших под солнцем своей чешуей и как-то особенно явно обнаруживших на этом фоне яркую окраску плавников.

В длинных ящиках, переложенные кусками льда, распластались зеленые крокодилоподобные щуки; матовые судаки остекленело таращили пустые глаза... Но не эта случайная рыба определяла смысл всего, что совершалось сейчас в море, — скрипели на рейде якорными цепями плавзаводы, на долгие недели уходили от семей рыбаки, стучали моторы рыбниц, надувались паруса реюшек.

Шла вобла.

В солнечном свете днем, в прожекторных лучах ночью тусклым потоком живого серебра переливалась она из трюма в трюм, вымачивалась в крепких тузлуках, раскачивалась под теплым ветром на вешалах, варилась в артельных котлах рыбаков.

В то утро мы вышли на приемку воблы к острову Тюленьему. Пресная вода, хлеб, соль, лед и письма — наш груз. Соль навалена кучей на палубе, она лучисто сверкает, искрится, а рядом моторист Жора Латышев в красной майке, расстелив брезент, священнодейственно готовит завтрак. Молод, силен и ловок. Толстыми пластинами нарезал холодное мясо, вытряхнул на чистую доску дымящуюся воблу, виртуозным взмахом топора развалил серебристо-красный арбуз.

К завтраку поднялся из кубрика ехавший с нами в свою бригаду бригадир рыбаков Гагорин. Накануне на плавзаводе он крепко выпил после бани и теперь похмельно сумрачен, помят, ворчлив. Обжигаясь, разворошил толстыми пальцами горячую воблу, выбрал икру, вяло пожевал.

— И зачем батька родил меня возле моря! Конеч. Пойду теперь арбузы сторожить.

Но никто не поверил этому, никто не возразил старику. Море по-прежнему было спокойно, и в его лазури, блестя, как новые калоши, кувыркались тюлени.

5

Волны размывают груды соли на палубе нашей рыбницы.

То, чего я втайне боялся все время, началось с полудня. При ясном небе ровный, без порывов ветер погнал вспененную на гребне волну, море стало мутного цвета хаки, и над ним с какой-то тревожной поспешностью пронеслись два баклана.

Будет ли меня укачивать? Неужели все очарование этих дней разрушится морской болезнью в ее отвратительных и унизительных проявлениях?

Когда смуглой песчаной полосой стал в виду остров Тюлений, мы бросили якорь, стравили почти всю цепь, но нас все равно тащит к острову.

Сколько баллов? — осторожно спрашиваю я капитана.

— Девять.

Мы сидим в каюте мотористов и равнодушно, без азарта играем влажной колодой карт в подкидного дурака. Машины застопорены; все мелкие звуки нашей жизни тонут в грохоте и шипении волн; и через час-два мне уже кажется, что никогда не было этого ласкового теплого моря, что вечно кипит оно колюче вспыхивающими на солнце волнами и рассеивает по ветру хлесткую водяную пыль.

— Моряна?

— Она, — отвечает капитан.

— Надолго?

— Бывает, на неделю.

Мы дрейфуем в кругу рыбацких стоек — небольших парусных судов — морского приюта рыбаков; в бинокль от-

четливо видны их безлюдные палубы, мачты, свернутые паруса, тонкие канаты такелажа.

Что делают там в кубриках люди во время таких недельных штормов?

Оступляюще медленно тянется время. Мы обедаем плохо провяленным, сырым, воняющим машиной судаком, спим, опять играем в дурака, а до ночи все еще далеко, все еще слепит глаза бескрайний блеск волн и уныло маячит на горизонте голый остров.

6

Но просыпаюсь ночью, иду в камбуз выпить кружку воды (дает знать себя судак) и думаю:

«Да полно! Было ли все это?..»

Вместе с радостным удивлением перед своей невосприимчивостью к морской болезни испытываю удивление непостоянством стихии. Лунное небо кроют длинные волокна бегущих облаков, в борт тихо поплескивают умиротворенные волны, и нашу рыбницу лишь слегка, даже как-то приятно, переваливает с кормы на нос.

А утро расцветает уже в абсолютном штиле. Мелкое, взмученное штормом море постепенно отстаивается, голубеет, поодаль высовывает из воды усатую морду тюлень и с непорочным любопытством смотрит на нас.

Вчера из-за шторма рыбаки не выбрасывали сетей. Нынче получилось нечто вроде выходного дня: заполоскалось над палубами стоек разноцветное белье, задымились печи камбузов, поднялись на мачтах флаги, приглашая нас подойти. Мы обошли поочередно две стойки, грузили хлеб, воду, почту. Хлеб, который ждали еще вчера, принимали с деловитым равнодушием, но письма радовались открыто, шумно, потом отходили с ними в сторону и, прежде чем разорвать конверт, долго разглядывали его с мягкой и грустной улыбкой.

И вот, пришвартовавшись к одной из стоек, дрейфуем в открытом море, а затейник, весельчак красавец Жора Латышев «отдирает» на балалайке плясовую. Повязанные до бровей платками смотрят на него со стойки три девушки. «Барыня, барыня, сударыня-барыня...» — тоненько и хрупко несется над морем звук струны. Буднично умывается на палубе серый котенок.

Под вечер рыбацкая отвалила от стойки. Я остался у рыбаков, чтобы утром идти с ними «выдирать» сети, и теперь сижу в низком кубрике, разглядывая при тусклом свете фонаря его нехитрую обстановку. Длинный прямоугольный стол, узкие койки вдоль стен, старенький приемник, фотографическая карточка мужчины с крепким, сухим и добрым лицом. Это отец звеньевского Коли Трушкина, погибшего два года назад в море.

Так вот каким оно еще может быть это изменчивое, многоликое море...

Я поднимаюсь на палубу и в красноватом свете луны вижу беспредельную мерцающую равнину, навещающую холодный ужас своей пустынностью, но все же не одолевшую гордый дух человека, бороздящего ее из конца в конец форштевнями своих кораблей.

Я стою на палубе до тех пор, пока внизу, в кубрике, не раздастся приглушенный рокот будильника. Еще темно; слегка подувает теплый ветер и разводит мелкую, пляшущую волну. Рыбаки по трое, молча, наметанно быстро спускаются в подчалки — беспалубные парусные лодки — и сразу исчезают в серых сумерках утра. Я — четвертым на подчалке Коли Трушкина. С нами молчаливый, застенчивый мальчик лет пятнадцати — Федя — и рыбацкая Зоя, строгая, с тонким носом, иконного лица девушка.

Где-то, среди этих красноватых волн качается, кланяется на все стороны маяк, указывающий конец сети, — тоненькая вешка с пучком прутьев на конце, и мне кажется, что, сколько бы мы ни носились по однообразно взбуренному ветром морю, нам не отыскать ее до полного рассвета.

— Вижу, — спокойно и тихо говорит наконец Федя.

Мелкая дрожь азарта начинает трясти меня. Будет ли рыба? Сколько?

И вот, трепеща в тонкой паутине сетей, тускло серебрясь, ошлепывая хвостами днище лодки, хлынула мне под ноги вобла...

Время перестало существовать. Сеть отвесно лезла со своим живым грузом из зеленой пучины в лодку, переполняла ее, давила нас, и я в каком-то экстазе молился морю:

— Дай им рыбы! Ну что тебе стоит, море, отдать им несколько центнеров рыбы! Вознагради их труд, нелегкий и опасный, красивый и свободный. На, возьми серебряную монету в знак того, что я вернусь к тебе, потому что полюбил тебя и смелых людей твоих... И дай им рыбы! Ведь ты хорошее, доброе море... Дай им рыбы!

Сколько часов одолело время в этом стремительном рывке — не знаю. Я вижу себя опять на палубе рыбацкой стойки, посреди сетей и скользких расплзающихся груд рыбы; волны увесисто бьют в дощатые борта судна, рвут его на якорных цепях; море, небо — все в сером морсящем дожде, длинными космами летящем по ветру. Моряна...

Устойчиво в беспросветном ненастье дует моряна.

ЗА СОЛНЦЕМ В АРМЕНИЮ

1

Был на исходе октябрь. С севера вагоны дальних поездов уже привозили на крышах снег, уже давно отсияли холодным солнцем и синевой небес те дни, которые иногда дарит нам поздняя осень, и низкие, провисшие тучи сеяли на озябшую землю то мелкую снеговую крупку, то колющий дождь.

На Пушкинской площади поэт на пьедестале, печально клоня обнаженную голову, казалось, думал:

«Октябрь уж наступил...»

Я глядел на него из широкого окна редакции «Известий» и почти осязаемо чувствовал холод этой бронзы под мелким секущим дождем. А за спиной у меня кто-то воодушевленно рассказывал о том, что в Армении ученые с помощью параболических зеркал концентрируют вечное тепло солнца, превращая его в другие быстротекущие виды энергии на потребу человека.

«Зачерпнуть бы пригоршней из этой зеркальной чаши и плеснуть окрест животворным теплом Араратской долины...» — думал я.

И вдруг вся долина представилась мне такой же чашей, собирающей все тепло мира, — древняя долина, по-

коившая в своих отложениях окаменевший остов Ноева ковчега.

Тогда я, кажется, пообещал редактору отдела даже привезти один из этих обломков, только бы он посодействовал моей поездке в Армению.

И вот состав Москва — Ереван уже несет меня через рощи Подмосковья, поля Украины, степи Дона, горы Кавказа, вдоль берега Черного моря, несет в... Какой эпитет ей под стать? Древняя? Солнечная? Многострадальная? Гостеприимная?.. Но такого, пожалуй, нет, чтобы в нем одном собралась вся суть неповторимого очарования Армении. Так и зудит рука написать: «Нет слов выразить...» Но, если не можешь найти подходящие слова, не берись писать.

2

Каменистое, желто-рыжее от высохшей травы нагорье тянулось за окном вагона. Нагорье накрывал густо-синий, казалось, отвердевший, как монолит, купол неба без единого облачка. И вдруг на горизонте справа по ходу поезда неясно проступила гряда облаков странного, никогда не виданного мной, конического очертания. Их было два, этих слившихся своими основаниями конуса, сотворенных на синем фоне неба из белых и нежно-голубых облаков. Поезд продолжал свой бег через желто-рыжую пустыню, а их очертания все оставались прежними, не подвластные ни ветрам, ни перемене ракурса, и вдруг, как счастливое озарение, меня пронзила мысль:

«Да ведь это Арарат!»

Так вот он каков, горнило остывшего вулкана — обновившееся прекрасное мгновение древних времен планеты, — гора библейских легенд, эмблема Армении, запечатленная на ее республиканском Гербе!

Много чудес сотворила на земле природа, и все они неповторимы, а стало быть, и равноценны по своей красоте, будь то не известное никому озерцо Светленькое в лесах моей русской родины или всемирной славы Ниагарский водопад, и в этом собрании чудес по праву сияет голубым кристаллом чистой воды Арарат. Он еще не раз явится мне на горизонте Армении, а пока поезд увлекал меня все дальше, к древней столице ее Еревану...

Кавказское гостеприимство проявило себя уже в Сочи, когда в наше купе вошел мебельных дел мастер Володя Григорян, возвращавшийся домой с приморского курорта. Молодой, смуглолицый красавец с большими влажными карими глазами в обрамлении длинных лохматых ресниц, он на всеобщее угощение выставил корзину разнообразных фруктов, а через полчаса нашего общения категорически заявил, что в Ереване я ни в какую гостиницу не поеду, — «Ва! Зачем тебе эта гостиница!» — а направлюсь прямо к нему домой и буду жить там, сколько захочу. Причем это устройство моего будущего в его представлении было с самого начала непреложно, как истина, как уже совершившийся факт.

На площади Ереванского вокзала он цепко завладел моим чемоданом, видимо, полагая, что я не захочу остаться без своего командировочного имущества, кинул его в такси, втолкнул туда же меня, и мы покатали в нагорный район Еревана — Арабкир, где у самых ворот мебельной фабрики был Володин дом.

Неожиданное появление гостя не вызвало в семье никакого замешательства, тем более неудовольствия. Я был представлен маленькой, худенькой армянке — жене Володи, его толстенькому, как сусальный ангелочек, сыну — ученику второго класса — и очаровательному тонконогому, живому, как ртуть, существу шести лет от роду по имени Асмик — его дочери. Это был мой веселый игривый дружок во все дни, что я провел в этом гостеприимном доме.

С дороги полагалась баня. Мы пошли на фабрику, и в проходной Володя коротко отрекомендовал меня:

— Мой гость Сергей.

В душевой, где под горячими струями приплясывали голые мебельщики, отработавшие свою смену, он опять сказал:

— Мой гость Сергей.

И в маленьком заведении, сочетавшем в себе магазин и закусочную, куда по правилам банного ритуала мы зашли после душа, все уже знали, что у мастера Володи Григоряна есть гость Сергей, но Володя с порога все-таки провозгласил еще раз:

— Мой гость Сергей!

— Сергей-джан! — воскликнул молодой пухлощекый продавец Каро, как будто знал меня с детства.

Привоздев руки, он в избытке радости исполнил за прилавком медленный восточный танец на месте и спросил:

— Какое вино будешь пить, гость?

— Айгешат, — сказал Володя.

Каро метнулся куда-то в недра магазинчика, выскочил с бутылкой в руке, чмокнул пробкой и разлил в стаканы благоуханный портвейн, глоток которого оставлял на языке нежную, но долго не проходящую терпкость.

О, недостойный! Я попытался заплатить за бутылку портвейна. Каро зажмурился и, присев, в ужасе накрыл голову руками, мебельщики недовольно закачали головами и зацокали, Володя сверкнул на меня из-под мохнатых ресниц двумя карими молниями...

С тех пор я избегал магазинчик Каро по той причине, что он не хотел брать с меня деньги. Даже ходить мимо магазинчика было опасно.

— Сергей-джан! — в восторге кричал всякий раз Каро, завидев меня, и, привоздев руки, исполнял свой танец. — Заходи, Сергей-джан. Я хорошо угощу тебя.

4

Убедив Володю, что мое знакомство с Арменией не может ограничиться его домом, я на третий день перебрался в гостиницу, где меня уже ждал корреспондент «Известий» по Армянской республике, мой однофамилец Борис Мкртчян¹. Ему и его шоферу Рафику обязан я тем, что за две недели пребывания в Армении увидел там гораздо больше, чем смог бы это сделать без них.

Еще в школе историю нашей страны мы ведем с государства Урарту, и вот я стою у руин урартской крепости Кармир-Блур, невольно смущенный сознанием того, что под ногами у меня лежит прах седьмого века до нашей эры, смущенный перед громадой времени, разделившего нас, и даже как-то подавленный ею.

Вообще, когда в Армении заходит речь об истории, столетия будто не в счет; она здесь меряется тысячелетиями. Не будем уж говорить о каменных орудиях шельской и ашельской эпох нижнего палеолита — это времена доисто-

¹ Армянское имя Мкртч соответствует русскому Никита.

рические, — но когда ты можешь в Ереванском музее увидеть и даже украдкой потрогать бронзовую колесницу второго века до нашей эры, найденную при раскопках курганов на осушенной территории озера Севан близ села Лчашен, то невольно ощутишь ветер времени над головой. И архитектура (храм эпохи эллинизма в Гарни, храмы Рипсима, Звартноц), изобразительное искусство (Вишаны — каменные изображения в виде рыб), литература (уникумы Матенадарана) — все здесь восходит к седым векам глубокой древности.

О Матенадаране — хранилище древних рукописей — надо сказать особо, потому что в этой сокровищнице хранятся вещи куда более драгоценные, чем в сказочной пещере Али-Бабы. Матенадаран был закрыт для посетителей, потому что готовился к своему новоселию — к переезду в новое здание, которое уже три года выдерживалось до образования в нем воздушной атмосферы необходимых кондиций. Но магическое слово «гость», подобно заклинанию «Сезам, откройся», подействовало и здесь.

...Тихие, высокие залы, застекленные витрины, и вот я лицезрею рукописи от V века — работы древнейших историков, математиков, географов, философов, писателей, художников-миниатюристов — голова идет кругом!

Доктор филологических наук Соломея Арешан, сопровождавшая меня, тихо сказала:

— Матенадаран — гордость нашего народа. Некоторые произведения древнегреческих философов да и многих других ученых сохранились только в армянском переводе. Это — храм! — Она улыбнулась и не без иронии добавила: — И уже сюда вход мне не заказан.

Я понял намек. Накануне в Эчмиадзине — резиденции каталикоса всех армян — в алтарь храма, где были выставлены драгоценные подарки каталикосу от верующих армян всего мира, разрешили войти только мне, так как женщинам вход туда запрещен.

5

Две недели — слишком малый срок, чтобы увидеть и узнать Армению, мало и нескольких страниц, чтобы рассказать об этих двух неделях. Об одном только Севане — его красоте, проблемах его водоснабжения — можно написать целую книгу, подобную «Колхиде» К. Паустовского.

И все-таки как не сказать о Севане, при взгляде на который голубеют даже темные глаза армян?!

Утром озеро чуть клубилось над поверхностью седым туманцем, но, когда солнце встало в зенит с гористого берега, синяя глубина сделалась прозрачной до самого дна, и там, в неподвижной, как небо, глубине, не плыли, а, казалось, парили стаи форелей. Наверно, это горное озеро на высоте двух тысяч метров изменчиво в своих красках в зависимости от погоды, но я провел на его берегах один только день и унес в себе этот день, как краткое счастье, озаренное золотым светом солнца и синим блеском воды.

Бесшумный лифт опустил нас на стометровую глубину в турбинные залы Севанской ГЭС — начальной в Севано-Разданском каскаде электростанций. Управление работой станции осуществлялось автоматически из Еревана, а здесь среди стерильной чистоты, в голубоватом сиянии ламп дневного света, похаживала лишь уборщица, промакая тряпочкой маленькие лужицы. С нами вместе отлаженностью этой работы восхищались члены шведской делегации — рослые сухопарые мужчины и женщины с белесыми ресницами, — а я все-таки не мог отделаться от мысли, что электростанции каскада, как жадные губы каплю росы с травинки, втянут и выплюнут прекрасный Севан в русло Аракса. Недаром к тому времени озеро отступило уже на семнадцать метров от своих прежних берегов. И недаром мысль ученых, инженеров, гидротехников лихорадочно бьется сейчас над проблемой пополнения Севана за счет подземных и речных вод.

6

Как бы преддверием в Араратскую долину явилась моя встреча с одним из долгожителей Армении — стариком Хачикяном. Она была случайной. По каким-то редакционным делам Бориса Мкртчяна мы завернули в сельский Совет одного из мимоезжих сел. Помню, в комнату вошел невысокий, седоусый старик, и меня сразу же поразила песоразмерная с ростом ширина его плеч, не нарушавшая, впрочем, стройности всей его фигуры, так как он был тонок в талии и узок в бедрах. Старик сказал что-то по-армянски, и председатель дал ему папироску.

— Этому старику сто пятнадцать лет, — сказал мне Борис Мкртчян.

Старик был в легком веселом хмелю. Араратская долина собрала урожай винограда, прикопала на зиму свои лозы, наполнила чаны, бочки и бутылки их солнечным соком и ликовала праздник осени, праздник маджари — молодого вина, которое еще и не вино во всех свойственных ему качествах, но уже и не безобидный сок... Жизнь маджари скоротечна — несколько дней: оно не выдерживает хранения, перевозки, и потому короткий срок его приобретает характер всеобщего праздника, венчающего собой конец уборки урожая.

Через Бориса Мкртчяна я заговорил со стариком о его возрасте.

— Считают, что мне сто пятнадцать лет. Так записали в паспорте, — сказал он, попыхивая папиросным дымком из-под усов. — Но на самом деле мне сто сорок пять.

— Не может быть! — вырвалось у меня.

— Зачем я буду врать? — с лукавым спокойствием ответил старик, выслушав перевод Бориса Мкртчяна. Пенсию ведь мне не прибавят... Я помню еще ту, старую, войну.

— Какую? — спросил я. — Турецкую? ¹

— Нет, в Турецкую я был совсем взрослый, а тогда — совсем-совсем мальчик.

— Неужели иранскую? ²

— Да, — спокойно сказал старик. — Помню, с гор спустилось много, много змей, и старики говорили, будет война.

— Значит, тебе даже больше ста сорока пяти, — сказал я.

— Больше, — задумчиво согласился старик и добавил еще что-то, вопросительно взглянув на Бориса Мкртчяна.

Тот перевел, что старик приглашает нас к себе выпить по стакану маджари.

— Он обидится, если не пойдем, — прибавил Мкртчян от себя.

Это я уже знал без него.

7

...Представьте себе вместе со мной вечерний Ереван. На розовом туфе зданий лежит отблеск заходящего солн-

¹ 1877—1878 годы.

² 1828 год.

ца, журчат струи фонтанов, по-осеннему сухо пахнет листовой пирамидальных тополей...

В такой вечер на тихой улочке я вошел в небольшой особняк, увитый виноградными лозами, и на крутой лестнице, ведущей в мастерскую художника, был встречен его хозяином, чье имя — Мартирос Сарьян — было для меня синонимом Армении. С его картин глядела она — солнечная, прекрасная, яркая и обильная.

У ног старого художника сидел пес — немецкая овчарка — небывало крупный сильный зверь, великолепный представитель своей породы, грациозно и барственно спокойный от сознания своей красоты и силы.

Фотографические портреты Сарьяна не воспроизводят его истинного облика. С них глядит изжеванное годами морщинистое лицо старухи, тогда как морщины Сарьяна рельефны, четки и видятся как борозды мудрости, как работа точного резца, имя которому — время.

Мы поднялись в его мастерскую — высокую комнату с окном во всю стену. На мольберте стоял большой, примерно с квадратный метр, натюрморт, а рядом на столике громоздилась натура, — яблоки, груши, гранаты, грозди винограда... Все это было свежим, точно с ветки, с лозы, а натюрморт уже закончен, и я спросил Мартироса Сергеевича, сколько времени он работал над этим полотном.

— Пять часов. Пять часов с утра без перерыва, — сказал он.

Ему было тогда без малого девяносто лет.

В мастерской старый художник сначала показал мне свои уцелевшие академические работы, написанные почти семь десятков лет назад. Как и полагается по академическим канонам, это были темные линии на темном фоне, выполненные с присущим талантливому художнику мастерством, но это был не Сарьян, которого мы знаем, и знает весь мир. И вот в нижних комнатах дома я вижу наконец не в репродукциях, а воочию картины, сделавшие имя Сарьяна, полные пламенных красок, солнца, жизнелюбия и неукротимого темперамента.

Что я написал тогда дословно в альбом Сарьяна — не помню. Но смысл был таков: чтобы полюбить Армению, достаточно двух недель, но, чтобы выразить ее в красках и словах, не хватит двух жизней.

ПОД СИНИМ НЕБОМ

Все, что здесь рассказано, — было, поэтому и начать рассказ можно так: это было в те времена, когда только что объединились колхозы и в каждом из них появились дальние бригады, куда нелегко путь по необъезженным проселкам.

...Я не садился в сани, должно быть, лет пять и теперь даже обрадовался, когда председатель вечером сказал, что машина в Карево не пройдет и он даст мне лошадь. Древним запахом тулупа, сена, лошади вдруг пахнуло на меня от его слов, почудился в них скрип санных полозьев, перед глазами как будто полыхнул на секунду прозрачно-синий свет мартовского неба.

— Вот и отлично! — воскликнул я. — Только не надо мне никакого провожатого. Я сам управлюсь с лошадью.

— Ой ли? — усомнился председатель.

Во время войны, еще школьником, я много работал летом в колхозах, научился там запрягать, ухаживать за лошадью; зимой возил из лесу дрова в больницу, где работала мама, и теперь надеялся, что еще не успел растерять старую сноровку. Председатель недоверчиво косил на меня калмыцким глазом. Был он скуласт, узкоглаз, до синевы черноволос, хотя и происходил из мест здешних, исконно русских.

— Посмотрим, — согласился наконец он. — Сумеешь сам запрячь — доверю тебе лошадь.

Утром на конном дворе под иронически-внимательным наблюдением председателя мне пришлось самому вывести из стойла каурюю кобылу, снять с деревянного костыля на стене нужную сбрую, захомутать и запрячь кобылу в ладные розвальни, устланные сеном. Председатель потряс за конец оглоблю, проверил, хорошо ли затянута подпруга,

на месте ли седелка с потником, и, смеясь, толкнул меня плечом.

— Ладно. Вижу — можешь. Поезжай.

— А напоить, сена задать сможешь? — спросил конюх, державший в охапке огромный нагольный тулуп.

— Смогу, смогу, — торопливо ответил я, радуясь и предстоящей дороге по весенним снегам, и этому конюховому тулупу, и чуть морозному, осиянному большим оранжевым солнцем утру.

— Тогда валяй, — сказал старый конюх, как раньше говаривал, наверно, напутственное «с богом».

Я повалился в розвальни, и оказавшаяся довольно резвой кобылка вынесла меня за прясла конного двора.

В полях я нарочно пустил ее шагом. На источенной солнцем дороге похрустывали под полозьями льдинки; в полях уже обтаяли юго-восточные склоны холмов и увалов, но еще много лежало и сахарно сверкающего коркой наста снега; далекий берег реки бурел своими суглинистыми обрывами, обросшими прошлогодней травой, и во всем этом ощущалось то тревожащее борение тепла и мороза, которое так неизъяснимо томит по весне все живое.

Чтобы бесконечно длить наслаждение этой медленной дорогой под синим небом марта, я дал волю кобылке шагать как ей вздумается, а сам повернулся на спину и утонул взглядом в этой непорочной синеве. Вскоре я уже не чувствовал ни себя, ни движения саней и, словно в каком-то счастливом трансе, искренне верил, что без всякого усилия лечу куда-то ввысь под волшебной прекрасной музыкой.

Вдруг я услышал над собой лошадиное фырканье и окрик:

— Эй, дядя, уснул, что ли? Пригрело?

Мой полет вмиг стал обычным санным движением по дороге, бездонная затягивающая синева — просто небом, волшебная музыка — просто звоном и хрустом льдинок под полозьями.

Меня на легкой рыси обгонял крупный серый жеребец, запряженный в саночки с широко расставленными полозьями, а в саночках стоял на коленях розовощекий парень в шапке, сбитой на затылок, в расстегнутом романовском полушубке. Жеребец, обходя мою кобылку, вскинул голову и заржал раскатисто, ликующе, с избытком сил и молодой пылкостью.

— Далеко до Карева? — крикнул я вдогонку.

Парень повернулся, осклабился.

— Так поедешь, к вечеру как раз поспеешь.

Я оглянулся вокруг и — странное дело, — не пожалел, что эта мимолетная встреча в пути нарушила мой чудный полусон.

Весна вершила в мире свой праздник. Как это бывает в марте, густота небесной сини настолько приглушала блеск солнца, что на него можно было смотреть несколько секунд, и эти несколько секунд оно виделось идеально круглым тяжелым золотым слитком, лишенным лохматого лучевого сиянья. Зато снега в полях нестерпимо для глаза сверкали изломанным на все цвета солнечного спектра светом, и в снеговую даль можно было взглянуть только через сетчатую шторку ресниц. А воздух! Это был какой-то острый бешеный напиток, заставлявший подрагивать ноздри, льющийся в груди свободно, без усилия и начисто растворяющийся в крови.

В такие минуты невольно зажмуришься от ощущения счастья и скажешь: «Ж-жизнь...»

Карево открылось мне на невысоком изволокe около полудня. Красные и зеленые крыши его уже обтаяли и влажно, свежо поблескивали на солнце. У крайней избы старуха в безрукавочке на меху и толстом платке клетчатой, пледовой расцветки, громко звякая железной лопатой, пробивала в снежной наморози канавку для внешней воды. Я спросил у старухи, где живет Татьяна Ефимовна Молева. Она воткнула в сугроб лопату, заправила прямой ладошкой под платок выбившиеся на висках волосы и, щурясь на меня против солнца, тоже спросила:

— Это телятница-то?

— Она самая.

— Поезжай этим порядком в тот конец... сейчас скажу, который дом... — Она завела под платок глаза и стала считать: — Манька — раз, Андрейка — два, Миша — три... Четвертый дом, милоч. Это и будет Татьяна.

Татьяна Ефимовна ждала меня. Еще накануне председатель звонил в бригаду по телефону и предупредил, что к Молевой приедет корреспондент.

На крыльцо, у которого я остановил кобылку, вышла низенькая женщина в длинной юбке, блестящих резиновых ботах и в таком же клетчатом, как у давешней старухи, платке. Видно, сельмаг снабдил ими всю деревню. Лицо у Татьяны Ефимовны было смугло-бледное с тонкой, не

задубленной ветрами и солнцем кожей, морщинки у рта и глаз придавали ему скорбное выражение, и та же скорбь была в больших серых глазах, чуть посиненных сейчас светом мартовского неба. Она не исчезла и тогда, когда Татьяна Ефимовна улыбнулась, говоря:

— Я двор открою, заводите туда лошадь. Остынет малость, потом напоим.

Первая забота — о лошади, вторая — о путнике, это было в добром крестьянском обычае. Я распряг кобылку и завел ее под крытый дранкою двор, где пахло коровьим стойлом и курами. Потом Татьяна Ефимовна дала мне умыться, и, как только я утерся льняным полотенцем, лицо у меня от холодной воды, весеннего солнца и свежего воздуха вспыхнуло полымем, а веки отяжелели необоримым сном.

— Может, приляжете на часок? — спросила Татьяна Ефимовна. — Идите в боковушку. Я к сменщице сбегаю, а потом обедать будем.

В голове у меня, как от хмеля, стоял туман. Я прошел за перегородку, ткнулся в цветастый ситец подушки, и меня тут же словно придавили наглухо целой копной этих пестрых цветов. Сон был как секунда небытия. Очнулся я от него, видимо, очень скоро, — Татьяна Ефимовна еще не успела вернуться, — но чувствовал себя опять бодрым, свежим и ясным. Тишина, особая тишина деревенского дома с повизгивающим тиканьем ходиков и шорохами живности за стеной во дворе даже угнетала после такого ободряющего сна, и я быстро поднялся, вышел проведать лошадь, вернулся в горницу и в одних носках стал расхаживать по вязаным пестрым половикам, чувствуя переизбыток энергии. И опять с каким-то вожделением думалось мне:

«Ж-жизнь!..»

С настенного портрета в картонной раме на меня смотрел большелобый стриженный под машинку мальчик в солдатской форме. Портрет, видимо, был увеличен с маленькой карточки заезжим ремесленником, но даже эта халтурная работа не могла истребить в глазах молодого солдата их похожесть на серые глаза Татьяны Ефимовны, и я решил: «Сын». Чуть ниже висела еще одна рамочка, в которую был взят какой-то выцветший телеграммный текст с грифом «Правительственная». Я шагнул поближе и прочитал:

«Москва, Кремль.

Уважаемая Татьяна Ефимовна!

По сообщению военного командования Ваш сын, красноармеец Молев Николай Георгиевич в боях за Советскую Родину погиб смертью храбрых, и за героический подвиг, совершенный им в борьбе с немецкими захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 19 июня 1945 года присвоил ему высокое звание Героя Советского Союза.

Посылаем Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вашему сыну посмертного звания Героя Советского Союза, как память о сыне-герое, подвиг которого никогда не забудет наш народ. Шверник».

— Читаете? — раздался у меня за спиной голос Татьяны Ефимовны. Я даже не слышал, как она подошла по вязаным половичкам. — Отнял у меня германец сыночка, и не нянчила я внучат...

Она беззвучно плакала, — вернее, слезы сами текли у нее из больших серых глаз по бороздкам морщин.

О, сколько еще таких слез, сколько таких портретов, увеличенных с маленьких карточек, по избам русских деревень! И не было ничего удивительного в том, что смотрел сейчас на меня со стены еще одного деревенского дома Коля Молев — девятнадцатилетний мальчик, но смерть его была исключительной, хотя и говорится, что перед нею все равны. За два месяца до конца войны, в печальный день марта сорок пятого года, он лег на амбразуру дота, чтобы закрыть товарищей от огня. Быть может, вот так же сиял этот день безупречной чистотой весеннего неба и вечное солнце струило на землю свое первое тепло... Или был он иным, тот — за рубежом России — март... Кто теперь расскажет?

...Уже вечерело, и длинные синие тени тянулись по снегу за нами, когда мы шли с Татьяной Ефимовой в ее телятник. Она наплакалась, рассказывая мне о сыне, но несла свои покрасневшие глаза, не пряча их от встречных, и никто ни о чем не спросил ее. В деревне жизнь на виду; понятно было, что если приехал к Татьяне Молевой новый человек, то она рассказывала ему о сыне и, конечно, при этом плакала.

И весь обратный путь под стылým небом мартовского вечера горящие напряженным мигающим светом звезды казались мне плачущими глазами...

Давно мы дома не были...

А. Ф а т ь я н о в

Ялтинская весна того далекого года была ясной в белом сиянии солнца днем, в переливающимся блеске холодных звезд ночью.

Пышно и стойко цвел миндаль. Дом творчества писателей, стоявший на горе, был окружен миндальной рощей. Выше громоздились многоярусные горы, а еще выше вздымался торжественный и чистый, точно отвердевший, купол неба. Оттуда, с высот, по вечерам стекал сухой колкий холод и держался почти до полудня. Роща не порошила бело-розовой вьюгой лепестков, как северные сады. Без единого зеленого листка она, казалось, навечно оцепенела в своем цветении под дыханием хрустального холода и небес.

Море было видно только из окон третьего этажа нашего дома. Алексей Фатьянов и я жили на втором этаже — в комнатах через стенку. К морю мы спускались по извилистой асфальтовой дороге и часами гуляли вдоль гранитных парапетов набережной, бросали чайкам куски черствой булки, подкарауливали рыбаков, чтобы купить у них изпод полы свежей ставриды, заходили в дегустационный погребок, где за пятнадцать рублей можно было попробовать шесть сортов отличных массандровских вин. Впрочем, обстановка в погребеке нам не понравилась. Стулья-бочки слишком уж отдавали бутафорией, а наставления лектора-дегустатора, сопровождавшие каждый глоток, превращали наслаждение в повинность.

— Лучший способ привить алкоголикам отвращение к вину, — высказал свои впечатления о погребеке Фатьянов.

Больше по душе нам пришлась маленькая — на четыре столика — закусочная «Якорь» над самым морем, против Ялтинской киностудии. Здесь прямо с пылу подавали сочные чебуреки, и мы часто разнообразили ими приевшиеся обеды нашей столовой.

Работали мы по утрам. Проза, требующая усидчивости, прочно удерживала меня в комнате, и мое затворничество сердило Фатьянова. Между двумя строчками ему нужно было покурить, поболтать, прикинуть написанное на слушателя, похвастаться удачей. Он часто заходил в мою

комнату, сажился сбоку стола, иронически смотрел мне под перо. Потом говорил:

— Все-таки какое наслаждение писать по вдохновению! Ты еще мне понятен, ты пишешь короткие рассказы, эта литература сопричастна вдохновению. А вот романистов я не понимаю. Знаю таких — сидят над романами по тридцать лет, точно письма свои на камне высекают зубилом.

Вставал и, уходя к себе, жаловался:

— А у меня не пишется. Ах, Клязьма-речка, подскажи словечко...

У каждого писателя есть чудаческая на первый взгляд привычка к определенному цвету чернил, сорту бумаги, марке пера. Фатьянов писал карандашом в так называемых «общих» тетрадах. На титульном листе одной из таких тетрадей моей рукой написано: «Ал. Фатьянов. Стихи». Она начата в Ялте. Но там в нее легли лишь беглые наброски к поэме «Хлеб» да несколько строф к стихотворениям.

Нет, не работалось ему в ялтинской обстановке.

— И хорошо, — успокаивал его Константин Георгиевич Паустовский. — В нашей работе необходимы перерывы. Вам только кажется, что время проходит бесплодно. На самом же деле идет подспудный процесс накопления мысленного и образного материала и его кристаллизация в художественную форму. Вы этого даже не замечаете, но это так. Талант — это животворящее начало, как сама природа. Работа в нас совершается непрерывно, и не от нас зависит остановить ее. Но природе нужно время, чтобы в глубине породы откристаллизовать алмаз, и таланту нужно оно, чтобы выносить произведение искусства. Кристаллизация образа и есть творчество. Писание — черная работа.

Говорил он это со спокойной обдуманностью и по обыкновению очень тихо, так что в трех шагах его почти не было слышно. Из поскрипывающего плетеного кресла под входной колоннадой на него ворчала Лидия Обухова:

— Классики воображают, что каждое их слово подобно грому и будет услышано, если даже они станут только разевать рот.

Я много времени проводил тогда с Константином Георгиевичем, семинары которого несколько лет назад посещал, участь в Литературном институте. Мы часто гуляли

по Царской тропе, собирая на склонах крокусы, пахнущие медом, ездили к водопаду Учан-Су, к Ласточкиному гнезду или просто в горы за подснежниками. Константин Георгиевич приглашал меня в машину, где было место уже только для одного, и Фатьянов оставался, заметно ревнуя меня к Паустовскому. Он скучал без меня, хотя в то время в Ялте было много интересных людей, его знакомых. Приехал с женой Петр Петрович Вершигора; весело, озорно посмеиваясь маленькими глазами, рассказывал забавные истории... Частый наш сотрапезник по «Якорю» Анатолий Рыбаков метко и остроумно судил о современной литературе, сдабривая свои суждения афоризмами вроде: «Если существует паспортная система, то неизбежно должны быть фальшивые паспорта...» Каскадом анекдотов и московских новостей низвергался на нас драматург Лев Устинов. Задумчивый, погруженный в себя и малоразговорчивый, показывался по утрам до завтрака Василий Гроссман, поднимался на уединенную скамейку и сидел там, созерцая горы в блеске утреннего солнца и ущелья, полные синего тумана... Много и интересно рассказывал о крымских партизанах Илья Вергасов... Был еще обаятельнейший Иван Мележ, в которого мы просто влюбились. Большой, спокойный в разговоре и движениях, скромный до застенчивости, он без всякого нарочитого усилия располагал к себе сразу и навсегда. Это не только мое впечатление. Впоследствии мне доводилось знакомить с Иваном Павловичем многих людей, и все они неизменно бывали покорены его обаятельной натурой. Смеем сказать, что мы стали с ним друзьями. У него есть книга рассказов «Дом под солнцем». Вернувшись из Ялты к себе в Белоруссию, он вскоре прислал мне эту книгу с дарственной надписью, на которой с добрым чувством вспоминает наши дни в доме под весенним солнцем Крыма...

Фатьянов не то чтобы сторонился всех, нет, но был меньше обычного общителен, шумлив и весел. Кто знал его, тот сразу бы сказал, что это состояние для него противоестественно. И в то же время он не мог оставаться совершенно один. Даже если я опаздывал к обеду, он уже нервничал и не поднимался в столовую, пока я не приходил.

Любили мы бродить в поздний час по опустевшей набережной. Подвластные режиму, санатории гасили свет в окнах, закрывались рестораны, засыпали звуки курортно-

го вечера, и только море — неумолчное море — ухало в бетонные плиты волнореза. Снизу пахло морской йодистой гнильцой, с берега — миндальным цветом.

— Скоро здесь будет вонять, как в парфюмерной лавке, но мы уже уедем отсюда, — говорил Фатьянов. — Сейчас самое хорошее, свежее время. А вот не пишется... Ах, Клязьма-речка, подскажи словечко!..

Из порта доносились четкие над водой звуки его жизни. И как-то до томления влекуще сиял напряженным светом всех своих огней какой-нибудь пассажирский красавец-теплоход, готовившийся уйти утром в Севастополь, в Одессу, к Босфору...

В Доме творчества были свои запреты. Почему-то, например, нужно было препятствовать писателю в том, чтобы он подышал ночным морем или послушал предрассветную тишину гор, и ради этого воспрепятствия двери дома с вечера намертво запирались. Иван Павлович, у которого за полночь всегда светился в окне первого этажа огонек настольной лампы, впускал нас в дом через свою лоджию. Мы конфузились, а он с милой улыбкой ободрял нас:

— Ничего, я же все равно не сплю... А через балкон, по-неаполитански, даже интересней.

Мне показалось, что Фатьянов вообще не любил Ялту. Помню, в Гурзуфе мы стояли высоко над густо-синим вспененным морем, над черно-зелеными камнями Ай-Доляров, над белыми стенами, над красными крышами, в ливне солнечного света, в упругом потоке ветра, и он сказал:

— В гурзуфском море с его Ай-Долями есть какая-то пушкинская мятежность, а в Ялте оно — мещанское, из Чехова. В Гурзуфе не могла быть написана «Дама с собачкой», а в Ялте — «К морю».

Нечто сходное говорил он мне в доме Чехова на Аутке. Сначала в саду задумчиво сказал:

— Я был знаком с Марией Павловной... Несчастны, мне кажется, эти люди, пережившие свой век. Как будто уже умерли один раз и снова живут с памятью о прошлом, о близких своих, которые остались там, за чертой новой жизни.

А проходя по комнатам, говорил, посмеиваясь:

— В Ясной Поляне, несмотря на простоту обстановки, чувствуется, что там жил граф, аристократ. А здесь тоже просто, но отовсюду выглядывает таганрогский мещанин Павел Егорыч.

Могут спросить, зачем я все это говорю, если хочу рассказать о том, как была написана поэма «Хлеб». Но, во-первых, именно о том, как она написана, рассказать нельзя, — магия творчества непостижима, — а, во-вторых, не прав ли был Паустовский, говоривший о подспудном процессе накопления мысленного и образного материала? «Кристаллизация образа и есть творчество. Писание — черная работа».

Так или иначе, но через два месяца после возвращения из Ялты, Фатьянов уехал в город своего детства — Вязники — и там буквально выплеснул поэму на страницы той самой «общей» тетради, которая совершила в его чемодане путешествие к берегам Крыма.

Любил он этот приклязьминский городок прямо-таки по-сыновьи. Истоки его творчества оттуда... и еще от войны, как у всех поэтов того поколения.

Мы сегодня пируем на празднике,
Только вот, доложу я, беда:
Город, что над Клязьмою, Вязники
Ты не видывал никогда.

Там сейчас, улыбаясь, наверно,
Рыболовы идут с реки.
Там на фабрике Профинтерна
Быстро бегают челноки.

Там в цвету вязниковские вишни.
(Что за запах цветенья окрест!)
Легкий ветер доносит чуть слышно
Вальс, что клубный играет оркестр.

В огородах за строгим порядком
Из скворешен следят скворцы,
Спят под листиками на грядках
Вязниковские огурцы.

А за городом бредит рожью,
Налитым, золотым зерном
Непоседливый дядя Сережа —
Замечательный агроном.

Там под липами, в старом доме
Я родился в голодном году,
Там навек полюбил я гармони,
Соловьев и берез красоту...

Дядя Сережа — замечательный агроном — существовал реально и жил в том самом доме под липами. Дом был вы-

сокий, просторный, сложенный из обтесанных, просмо- глевших от времени бревен. Они пахли сухим теплым деревом.

Дядя Сережа — высокий, сухощавый, жилистый, как и пристало быть человеку, проводшему всю жизнь на воль- ном воздухе полей, в работе на земле, — был все-таки уже стар, а наследники, видно, не очень радели к делу его жизни, и поэтому вишневый сад при доме задичал, весь переплелся в непроходимую чащу и почти не плодоносил, и только цветы возле самого дома цвели обильно, ярко, крупно.

Я приехал в Вязники, кажется, в июле и увидел преж- него Фатьянова, которого знал многие годы. Ялтинской депрессии как не бывало. В последнее время он сильно пополнел, плавные черты его лица отяжелели, а тогда, в почти деревенской обстановке окраины Вязников, на от- крытых солнцу и ветру приклязьминских лугах, он посмуг- лел, подтянулся, полегчал и стал опять прежним «добрым молодцем из былины», как назвал его в стихах поэт Ни- колай Тарасенко. Он, как прежде, легко, охотно хохотал, запрокидывая голову, бурно воспламенялся в спорах с дя- дей Сережей, постоянно грозивших перейти в пожар ссоры, сердился, обижался, ссорился, прощал, мирился, поносил и восхвалял. Но главное — ему работалось, и он сам неу- держимо радовался этому.

Передо мной, как щедрые дары, он старался выложить все, чем жил. Читал по тетрадке черновые строфы поэмы. Увел в сад, в заросли вишен, что так буйно цветут и обиль- но зреют в его стихах и песнях... Ромашковый луг, начи- навшийся чуть ли не от самого крыльца, широкая и силь- ная в своем низовье Клязьма, синие хвойные дали заре- чья — все было предложено им мне, как полцарства в старых сказках.

Он часто говорил мне, что в сорок лет начнет писать прозу. В тот год ему исполнилось сорок... И вечером, когда в доме еще ощутимей потянуло от стен теплом и запахло сосной, он читал мне свой первый рассказ «Сенокос».

Перед сном мы вышли на крыльцо. Мягкую теплую ночь июля перепиливали кузнечики. Это был звон тиши- ны. Казалось, замолкни он — и стук собственного сердца, шорох бегущей в сосудах крови оглушат тебя, как грохот обвала.

— А я тебе стихи посвятил, — сказал Фатьянов, почему-то смущаясь. — Там, при всех, не хотел читать, а теперь слушай.

Стихотворение называется «Сборы».

Погремела гроза и ушла,
Дробным громом вдали раскатясь.
Снова даль голубая светла.
Снова пчелы гудят, роясь.
Словно сборы в путь долгий у них —
Суетня, гомотня, беготня...
Так и я...
Чем я хуже других?
Вещи собраны все у меня.
Вещи — нет! Не багаж-саквояж,
Не громоздкий пузан-чемодан.
Лишь тетрадка да карандаш,
Да нечитанный друга роман,
Да еловая палка в руке,
Чтоб размахистей было идти.
В дальний путь я иду налегке,
Пожелайте же счастья в пути.

...На пути, который его ждал, не желают счастья. В ноябре проездом в Малеевку я остановился на один день в Москве у Фатьянова. По случайному совпадению в тот вечер у него собралось много друзей и знакомых. Приехал из Вязников двоюродный брат — летчик Николай Меньшов — с женой, из Котласа — главный режиссер театра Дмитрий Сухачев, были танцоры из Московского театра оперетты Быстрых, директор Волгоградского театра Геннадий Жарков и еще кто-то — кто именно, за давностью лет я уже не помню... В доме Фатьянова такое многолюдье было обычным. И как обычно, сам он, хотя в тот раз почти не принимал участия в застолье, был весел, остроумен, легко и много смеялся, читал стихи. Потом достал листы с беловым текстом поэмы «Хлеб», которую в этом варианте назвал уже одой, и стал читать своим великолепным голосом, поставленным еще в студии Алексея Дикого в театре Красной Армии.

Больше никто, никогда не слышал от него стихов.

В перепаселенной этой ночью квартире нам с Алексеем пришлось разделить одну тахту. Утром я уехал в Малеевку, а в шесть часов вечера меня позвали к телефону, и тихий далекий голос, как молотом, ударил мне в виски:

«Приезжай скорей, Алеша умер...»

Невероятным и непонятным образом в суматохе, наступившей за этим роковым днем, исчезли листы с беловым текстом поэмы. Они не обнаружены до сих пор. Готовя поэму к печати, мне пришлось по тетрадным черновикам восстанавливать в стройное целое произведение ее разрозненные строфы. И еще хорошую службу сослужила тренированная актерская память Дмитрия Сухачева — она удержала почти полностью тот текст, который читал нам Алексей Фатьянов в ночь на тринадцатое ноября тысяча девятьсот пятьдесят девятого года.

МОЙ СТАРЫЙ ДРУГ

Если бы это не сделал он сам в «Возвращенных письмах» — книге небольшой, но искренней, написанной по чистой правде, — то, вдумываясь в жизнь его, писатель нашел бы тему для повести с героем, до мельчайшей жилочки типичным, характер которого могла сформировать только революция. «Возвращенные письма» — это книга о фабричном пареньке со стихийными порывами бунтаря и возмутителя спокойствия, переплавленного событиями начала века в активного революционера-большевика.

Она и сблизила меня с ним, ее автором, ценившим мой совет. Разница в возрасте не помешала нашей дружбе. Он был уже на пенсии, когда я только кончил институт, а в жизненной энергии, в молодом веселье, озорстве, даже физической выносливости мы, пожалуй, были равны. Я и звал-то его, как товарища-ровесника, — Семеном.

А Семену же перевалило за шестьдесят, и был он начисто лыс, и в бороде его с утра, пока не побрился, блестело серебро и серел пепел. Невысокий, крепкий, с короткой шеей, бровастый, он ходил чуть наклонясь вперед, шагом быстрым, широким и высоко вскидывал перед собой палку, не опираясь на нее, а только слегка пристукивая по земле. Палка у него была дряпная — обычная аптечная клюшка с резиновым нашлапком. Мы сожгли ее в нашем рыбацком костре, а я подарил ему изящную старинную трость темновышневого дерева с серебряной насечкой, оставшуюся еще от моего деда. Семен был рад ей, как ребенок вожденной игрушке, и не выпускал из рук до конца дней своих.

После тяжелой болезни он потерял речь. Однажды мы, четверо его друзей, собрались и, зная общительный характер нашего друга, гадали, как, должно быть, больно будет ему встретиться с нами, с которыми вел доселе такие бурные споры, коротая время в таких веселых застольях. Гадали, гадали и, натянув на рожи маски сострадания, отправились к нему, может быть, — думали, — в последний раз.

На звонок вышла его жена.

— Батюшки! — ахнула она. — А Семен-то ушел.

Мы переглянулись.

— Как ушел?

— Ушел на пленум горкома. С утра там сидит и обедать не приходит.

Не знаю, как у моих друзей, а у меня вдруг возникло озорное желание показать им нос.

— Вы раздевайтесь, — приглашала нас Семенова жена. — Я сейчас позвоню в горком, узнаю, скоро ли там у них кончится.

— Да уж не трогайте его, зайдем завтра, — мямлили мы.

— Ну уж нет! Он мне не простит, если я отпущу вас. Раздевайтесь. А самый молодой пусть бежит в магазин.

— Как в магазин? Семену ж, наверно, нельзя.

— При нем не скажите, — засмеялась она.

Самый молодой ушел, а через полчаса в распахнутом пальто, высоко вскидывая трость, ворвался Семен и приветствовал нас со всем доступным ему теперь красноречием:

— А-га-та-та!

Это было все, что он мог произносить, но, так как речевое средство общения он богато заменил жестом, мимикой, интонацией, этого единственного слога ему хватало, чтобы выразить любую мысль, и мы без труда понимали его. Но, главное, смеяться он мог, как и прежде, весь — глазами, зубами, горлом, грудью, животом, — и раскатистый смех этот был вернейшим признаком жизненных сил, по-прежнему буйно бродивших в этом человеке...

Теперь, вспоминая его, я думаю, — нет, это была не просто сила могучего организма, жаждущего жить, — все тленно! — это была сила высшего начала, сила духа, неистребимого смертью.

В институте со многими преподавателями у нас, студентов, устанавливались товарищеские, порой даже дружеские, отношения.

Мне особенно близок стал профессор Р-ский, читавший нам курс по языкознанию и русскому языку, близок как своим предметом, так и неотразимой обаятельностью своей натуры. Она сочетала в себе живой, острый ум, неиссякаемую жизнерадостность, горящий темперамент и просто располагающий к этому человеку его внешний облик: мощный лоб умницы, каштановая с шелковинкой борода и всегда озорниковато посмеивающийся взгляд вприщур сквозь стекла очков.

Лишь однажды я видел этот взгляд отуманенным печалью.

В тот день, когда стало известно, что умер Василий Иванович Качалов, Р-ский прошел через аудиторию какой-то весь поникший, уменьшившийся и тяжело взвалил на кафедру свой портфель, точно непосильную ношу. Под очками у него было мокро, и взгляд, этот всегда безудержно искрившийся смехом взгляд, был потушен слезами.

Обычно Р-ский, не теряя ни секунды, как только садился за кафедру, начинал лекцию, но в тот раз долго сидел молча, и мы, смущенные, сбитые с толку, тоже в полном молчании смотрели на него.

Наконец он начал говорить о... Качалове. Семья Р-ских, потомственных ученых, была дружна с ним, и мы услышали рассказ о человеке во плоти, которого никогда не различали в Качалове за величием артиста.

Я уже не помню подробностей этого рассказа, — прошло с тех пор без малого четверть века, — но помню, как Р-ский сказал:

— Авторы некрологов изображают сейчас его жизнь, как ровную дорогу к удачам, славе и успехам.

Он подошел к черной доске, взял мел и начертил запутанную, зигзагообразную линию.

— Вот какова жизнь человека, в особенности человека великого в искусстве. Срывы, падения, взлеты, снова падения и снова взлеты, взлеты, взлеты... А у этих авторов получается вот что.

И он прочертил на доске прямую восходящую линию.

Как часто замечал я за фронтовиками одну особенность — пришли с войны, рассказали о ее тяготах и ужасах и словно забыли о них, вспоминая потом лишь случаи, крепко одобренные юмором или отмеченные признаком необыкновенного приключения. О подвигах же, имевших в ходе войны даже историческое значение, рассказывали и вовсе неохотно. Герой Советского Союза К. Я. Самсонов говорил мне о битве за рейхстаг столь буднично и вяло, словно речь шла о взятии какой-нибудь деревенской кирхи. Дважды Герою Советского Союза разведчику В. Н. Леонову потребовалось всего полминуты, чтобы рассказать мне по пути из Москвы в Челябинск о том, как его отряд в рукопашной схватке занял и держал до прихода главных сил мост на единственной коммуникации, обеспечивавшей японцам отход из Чхончжина.

Удивил как-то меня своим ответом на очень серьезный вопрос мой друг писатель Владимир К-ов.

Мы познакомились в студенческом общежитии. Когда я проснулся утром и увидел, как он пристегивал к култышкам ног поблескивающие никелем и лаком протезы, то подумал, грешным делом, что в нашей комнате поселился человек раздражительный, капризный и тяжелый для общежитейного быта.

Теперь судьба развела нас по разным городам, а тогда соединила не только в тесной комнате общежития, но и в тесной дружбе.

На мой взгляд, он мыслил несколько ортодоксально, стараясь порой насильственно подчинить любое движение чувств доводам рассудка, но был как-то обаятельно прям, откровенен и последователен в своих суждениях. Пожалуй, ни с кем в разговорах ни до него, ни после не был я так глубоко в себе, как с ним.

У него было чистое, очень правильное лицо, белокурые, уже редющие волосы, атлетически широкие плечи и грудь, мощно развитые руки, внимательный, порой даже неприятный, словно осуждающий, взгляд и улыбка — скорбная в минуты задумчивости и какая-то озаряющая, открытая, охотная — в радости. Протезы сделали его ниже на десять сантиметров, а раньше, до ранения, у него был прекрасный стовосьмидесятисантиметровый рост.

На протезах он ходил с поразительной выносливостью. Я был очевидцем уже результата этого великого усилия воли и мог только дивиться тому, как он наравне со мной ходил на прогулки по Страстному, Тверскому, Гоголевскому бульварам, подтягивался на турнике, вставал зимой на лыжи, а осенью хаживал на охоту по золото-багряным лесам Подмоскovie.

Помню, в Солнечногорске мы ждали на станции старенькую трофейную «БМВ», которая должна была отвезти нас к месту охоты. Был ясный теплый солнечный день — один из последних благодатных дней бабьего лета. Серебряная паутинка летала в неощутимых струях воздуха, и запахи железной дороги уступали место сухому запаху подвявшего древесного листа недалёких лесов.

На шоссе, ослепительно-бело отсвечивающем свежим щебнем, работали пленные немцы. Расстегнув выгоревшие мутно-зеленые кители, под которыми виднелись застиранные рубахи, они двигались с нарочитой медлительностью, молчаливые и сосредоточенные.

Мой друг стоял, широко расставив протезы, опираясь на палку, и смотрел на них через очки своим внимательным взглядом.

— Что ты чувствуешь к ним? — спросил я.

Он никогда не отвечал на сложные вопросы сразу. И теперь подумал с минуту, клоня голову вниз и чуть набок, и сказал:

— Любопытство.

РИСУНОК АКВАРЕЛЬЮ

В старом деревянном доме пахло сухой сосной. И если падала у печки кочерга, били часы или раздавался иной резкий звук, бревна в стене отзывались на него долгим замирающим звоном. Время останавливалось в этом доме. Когда под обаянием его звенящей тишины я выходил из повышенного темпа жизни большого города, то начинал видеть, словно через волшебные очки, множество окружавших меня подробностей и значительных мелочей, которые раньше пропускал мимо внимания. Мир из грохочущей лавины времени превращался в красочную вереницу длин-

ных минут. Я видел, как с кончика моего пера стекала на бумагу строчка, а когда откладывал перо, вспыхивающее под лампой золотом и черной пластмассой, успевал подумать, что Алексей Николаевич Толстой очень любил автоматические перья и говорил, что если бы он не был писателем, то держал бы лавку письменных принадлежностей.

Хозяйками таких домов обычно бывают старушки, давно уже пережившие свое время, добрые, чистоплотные и немного наивные. Именно такой была хозяйка и этого дома — Ирина Васильевна Ладыгина. Много зим подряд я приезжал к ней поскрипеть, как она говорила, по снежку валенками. (Удивительно вкусен был в этом тихом городе скрип снега под ногами, и я могу сравнить его только разве с треском раскусываемого антоновского яблока — благоуханной прелести осенних садов.) А как хорошо было, войдя в этот дом, ощутить его добротное изразцовое тепло, сесть в старое кресло, открыть книгу или просто сидеть и разматывать в уме клубок ассоциаций, вызванных каким-нибудь случайным предметом. Над письменным столом в простенке между двумя окнами висел, например, небольшой рисунок акварелью. На рисунке был изображен серый зимний рассвет, стог сена, пожелтевшая к утру луна. Я думал о том, что к этому стогу подходили ночью лоси, погружали в него свои горбоносые морды, долго перетирали зубами сено и шумно вздыхали при этом; что из леса, вертя башкой, таращила на них свои глаза сова; что луна в то время сияла высоко и бело; и что художник видел все это, потому что иначе нельзя передать сиротливую грусть зимнего рассвета над голым лесом, над растрепанным ветрами стогом, над мглистыми снегами равнин.

Этот художник нравился мне, и я старался гадать о нем, как орнитолог гадают по единственному перу о птице. Я придумал ему биографию; он был в ней безвестным, нищим художником, благородным человеком, преисполненным любви к искусству и сделавшим несчастной свою семью. Мне даже захотелось написать эту биографию в виде повести, что ли, но потом подумалось, что, может быть, удастся добыть какие-нибудь сведения из его подлинной биографии, и я спросил о рисунке Ирину Васильевну.

— Это рисовал мой брат Женя. Он был старшим в нашей семье и очень добрый, справедливый, — сказала она со свойственной ей манерой высказываться очень непосле-

довательно. — Он всегда устраивал для нас, малышей, карусель. И вообще очень любил детей. Ему было двадцать шесть лет, когда он погиб. Он носил бороду, чтобы скрыть природную худобу щек.

Она достала из комода карточку на твердом негнувшемся картоне и протянула мне. Старая карточка запечатлела человека с большим лбом, ясным умным взглядом, печальными глазами и каким-то скромным изяществом во всем облике, несмотря на окладистую крестьянскую бороду.

— Значит, он не был профессиональным художником. Кем же он был? — спросил я Ирину Васильевну.

— Учился он в Москве, а уж на кого — не помню. Кажется, на географа. В каникулы он все бродил по лесам и потом писал статьи.

Она опять порылась в комоде и вынула длинный узкий журнал в горохово-зеленой обложке, на которой значилось: «Труды Владимирского общества любителей естествознания».

Я открыл его на первой странице.

НЕКРОЛОГ

Тяжелая ирония судьбы! Здесь, в этой книжке Трудов Общества, мы помещаем первую работу Евгения Васильевича Ладыгина и здесь же с глубокой грустью должны сообщить, что первая работа его, увы, к сожалению, явилась последней. 27 мая сего года, двадцати шести лет от роду, в бою с австрийцами пал он смертью храбрых.

Кто из знавших его не помнит его общественного такта, его энергии при поразительной мягкости, его справедливости в решении порой по-своему почти неразрешимых вопросов!

Большой любитель природы, он отдал ее изучению всю свою краткую жизнь. Без гроша в кармане, движимый любовью к исследованиям, бродил он летом, собирая географические материалы.

Надвинувшиеся военные события не позволили ему свести и оформить ничего большего, кроме ниже печатаемой статьи о «Карстовых образованиях Владимирской губернии», где среди серьезного научного материала читатель найдет немало строк, посвященных красогам сурового ландшафта нашего владимирского карста, с его бездон-

ными, в глубине темными воронками, с глухими тропами, пробитыми в их темных зарослях...

Пусть же на страницах Трудов нашего Общества, где появились впервые и, увы, в последний раз твои строки, посвященные родному уголку, вечной будет память о тебе, твоей любви к природе родины, о твоей светлой личности, наш дорогой товарищ и друг.

Об умерших плохо не говорят. Но я с доверием читал эти строки, потому что рисунок акварелью как бы удостоверял их искренность и правдивость.

— Ирина Васильевна, милая! — воскликнул я. — Нет ли у вас еще каких-нибудь записок вашего брата?

— Да как же, должны быть. Помнится, папа собирал его письма с фронта, нумеровал и складывал у себя.

— Где же они теперь?

— Должно быть, на чердаке. Там много всякой бумаги.

О, эти чердаки старых домов, хранилища отслуживших вещей — немые и красноречивые свидетели канувшей в прошлое жизни! В пыли, паутине и мраке лежит там хлам поры молодости наших бабушек и дедушек: истлевший зонтик с шелковым витым шнурком на ручке, облупившиеся ризы икон, сплюснутая соломенная шляпа, ржавые обручи кадок, потравленные мышами книги... С невольной грустью подумашь о той прошедшей жизни, полной своих радостей и печалей.

Я в тот же день поднялся на чердак ладыгинского дома, но там, под крышей, стоял такой крутой, железный холод, так холодна была крышка сундука с бумагами, холодны сами связки бумаг и холодна пыль, поднявшаяся с них, что у меня моментально скрючились пальцы и ледяной обруч сдавил сердце.

Пришлось отложить чердачные раскопки до теплых дней.

Летом я ходил пешком по Владимирскому краю. Ходил как будто без цели — с посошком и котомкой, — но, конечно, была у меня цель, продуманная и выстраданная. Давно я собирался в это странническое путешествие, но есть один вопрос, опасный для всякого дела. Иногда он может привести к такому выводу, что все равно помрем и жизнь поэтому есть не что иное, как прах или дым.

Вопрос этот — за чем?

Вот и я спросил себя: идти-то — идти, а зачем? Кажется, так это просто — бросил котомку за плечи, вырезал посох и шагай. Но мне думается, что, не решив зачем, лучше и не ходить.

В своей стране нельзя быть просто туристом, я так полагаю.

Этот вопрос я решил для себя гораздо позже. Я говорю для себя, потому что решение это не для всех писателей, а для меня одного. Мне не жалко поделиться и своим, но есть ли в этом прок для других? Каждый должен находить такое решение сам, в силу своей нужды.

У меня была такая нужда, из-за нее страдало дело. Для дела я и пошел.

И вот, словно в море за борт парохода, я выбросился из кабины попутного грузовика в море лесов.

Лес!

Леса, по которым я шел, были прекрасно дики и могучи, словно леса русских сказок, куда злые мачехи заводили своих падчериц, где плутали Ваня и Маша и стояли избушки на курьих ножках. Мне казалось, что однажды я уже проходил по этому лесу, как будто века назад у меня была другая жизнь, и все, что сохранилось с тех времен, дано мне вновь на новую радость. На пути то и дело попадались глубокие ямы, поросшие по склонам темными елями, и жутко было заглядывать туда, в перевитый паутиной мрак, где таинственно поблескивала черно-зеленая вода. Жутко, но зачаровывающе и притягательно. Я долго сидел на берегу одного такого, особенно красивого, озера, и вдруг мне пришла совсем прозаическая мысль о том, что большинство этих лесных озер — карстового происхождения, и котлованы их представляют собой провалы, которые образовались в известковых и мергелистых породах. Но как только я подумал об этом, так словно заноза засела у меня в мозгу: надо вспомнить что-то очень важное о карстовых явлениях, а вспомнить не могу. Я долго мучился, и вдруг, как это бывает, словно лампочка зажглась в темной комнате и осветила все, что скрывала темнота. Я вспомнил старый деревянный дом, рисунок акварелью, траченный временем журнал «Трудов любителей естествознания» и статью Евгения Васильевича Ладыгина о карстовых явлениях... Это были научно-исследовательские статьи, но любовь к природе овевала их поэзией. Наука отложила в моей памяти сведения об известковых и

мергелистых породах; поэзия запечатлела в сердце прекрасный образ леса. Как точно совпадал он с тем, что я воочию видел теперь!

ПРОВАЛЫ БЛИЗ ДЕРЕВНИ МИХАЙЛОВСКОЙ

Местность здесь напоминает поверхность гигантского наперстка. Воронки часто лежат не только рядом друг с другом, но и одна в другой, образуя вторичные провалы. Лес, частью сосновый, частью еловый, местами смешанный, сообщает дикую прелесть этому почти непроходимому уголку. Немногочисленные тропинки, пересекающие лес, то выются по гребням меж провалами, то спускаются в них. Немного, вероятно, найдется охотников уйти в сторону от этих тропинок.

Я со спутником-студентом в продолжение нескольких часов бродил по этим своеобразным местам, то и дело теряя направление, то продираясь сквозь чащу по узкому гребню, то цепляясь за ветви елей, чтобы спуститься по почти отвесной стенке огромного провала. И надолго останутся у меня в памяти величественные очертания провалов, густая щетина елей, сползающая в глубину, и озерки темной воды, слабо мерцающие далеко внизу в полумраке.

Вода видна везде; она то журчит ручейками в глубине оврагов, то скопляется на дне провалов, причем нередко можно видеть — в мелком провале озерко, в соседнем, более глубоком — сухо, а рядом, еще глубже, — вода.

Вообще провалы происходят здесь довольно часто. Один из таких новых провалов, образовавшийся, по словам крестьян, года три назад, достигает довольно внушительных размеров и представляет собой очень эффектное зрелище.

Он расположен среди густого строевого леса, и потому огромная глубокая воронка сразу открывается глазам, привыкшим к полумраку леса, и ослепляет их красноватым цветом своих не заросших еще стен, освещенных горячим летним солнцем.

Провал образовался сразу. По рассказу одного крестьянина, здесь чуть не провалился охотник с собакой, шедший по тропинке, пролежавшей над местом теперешнего провала. Только что пройдя это место, он услышал

сзади себя страшный грохот и, обернувшись, увидел, что деревья качаются и валятся вниз.

Старые сосны и ели окружают провал тесным кольцом. Некоторые из них склонились над провалом, другие уже упали в глубину и купаются вершинами в озере мутной коричнево-желтой воды на дне воронки.

Я вспомнил, что не довел поиски на ладыгинском чердаке до конца, и в то же лето был опять в старом деревянном доме, где так сухо, горячо тянуло от стен сосновым зноем.

Пыльный пучок света струился из слухового окна на чердаке; я откинул крышку сундука, вынул из него старые учебники, подшивки «Родины», «Нивы», «Кормчего», какие-то разноцветные бланки железнодорожного ведомства и, наконец, пачку листков с ломкими побуревшими краями. Прелая лента разорвалась с легким треском.

Здесь были записи университетских лекций по физике и математике с рисунками и орнаментами на полях, начертанными в минуты задумчивости, несколько пейзажных рисунков синим карандашом, топографические карты и письма на папиросной, тетрадной и просто писчей бумаге. Они были пронумерованы, но первым по порядку шло лишь

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Дорогие мои!

Пишу вам уже с пути: так хотелось, чтобы вы подольше думали, что я еще в Москве, чтобы вы подольше были спокойны за меня.

Да и нам долго не сообщали точно, когда нас двинут.

Перед отправкой весь вечер в казармах творилось нечто неообразимое: пляски, звуки гармошки, крики «ура», но все это с каким-то угрюмым возбуждением.

Я сидел в роте, беседовал с ребятами, рассматривал их фотографии — почти все снялись перед отъездом. Мне кажется, что угрюмая приподнятость их настроения объясняется просто. Спроси у нас любого солдата:

— А что, братец, из-за чего воюем мы с немцами?

Иной ничего не ответит — так и не знает, за что он отдает свои силы и свою жизнь. Другой, который потолкочет, скажет:

— Из-за того, что Австрия напала на Сербию, а мы не захотели сербов дать в обиду, пошли на Австрию войной. За австрийцев тут вступились немцы, а за нас — французы и англичане. Отсюда все и пошло.

Я стараюсь кое-что объяснить им:

— Выходит, значит, что все это истребление взаимное, которое сейчас чуть не целый мир захватило, — дело случайное? Не напади Австрия на Сербию или не вступись за сербов мы, ничего бы этого и не было? Ну, мы еще туда-сюда: все-таки сербы народ нам родственный. А французы-то с англичанами с чего ввязались? Из-за дружбы с нами, что ли? Так ведь по нынешним временам — дружба вместе, а табачок врозь. Из-за дружбы теперь миллионами людей не жертвуют. Миллиарды денег на ветер не швыряют. Видно, что-то тут не так. Видно, была причина поважнее Сербии, коль одни народы Европы пошли на другие и дерутся вот уже второй год так, как до сих пор от сотворения мира не дрались. А коли так, из-за чего же, в самом деле, началась эта война и кто ее настоящие зачинщики?

И вижу, что ребята мои кое-что начинают понимать.

Когда я пошел из роты, за мной бросилась толпа солдат и обступила.

— Дозвольте вас поднять.

Меня моментально подхватили десятки рук, долго и усердно качали и кричали «ура».

Потом денщик мой говорил мне:

— Уж больно ребята рады, что вы едете с нами.

— А что?

— Да с вами нам не страшно.

Вот высшая для меня оценка моей нужности «там». Добавлю, что и мне с солдатами не страшно, ибо я знаю, что ребята меня любят и, что особенно ценно, уважают, и пойдут за мной куда угодно.

Итак, в ночь мы выехали из Москвы и едем уже третьи сутки. Ползем довольно тихо, и мимо окон медленно проплывают малороссийские пейзажи: беленькие хатки, пирамидальные тополя, курганы... Легкий морозец, но снега нет.

Ну, до свидания, мои родные, до следующего письма.

Твое письмо, батя, всегда со мной и — не знаю, поправится ли тебе это, — но оно мне дороже данного тобою образа.

Ваш прапорщик Е. Ладыгин.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

г. Изяславль, дворец графа Потоцкого

Дорогие мои!

И вот я уже в «действующей армии». Хотя это еще тыл и до фронта отсюда еще верст восемьдесят. Последний этап от станции железной дороги мы сделали пешком и часов в семь вечера прибыли сюда. Шли по шоссе мимо пейзажей, так живо напоминающих окрестности... Владимира. Плогие холмы, овражки, рошцы. Из-под тонкого слоя снега выглядывают побуревшие озими. О том, что мы далеко от своих, напоминают только беленькие хатки, крытые черепицей, да украинские фигуры в расшитых жупанах, восседающие на нескладных возах с дышлом, запряженных парой крохотных лошадеенок.

О близости войны говорит только усиленное движение по шоссе да бесчисленные эшелоны солдат на этапных пунктах.

Городишко, где мы находимся сейчас, — один из таких пунктов.

Городок старинный. Постройки беспорядочно раскиданы по холмам. На одном из них мрачно сереет древний замок. Несколько старых костелов и бесчисленные черепичные кровли. Летом здесь, по-видимому, отчаянная грязь; сейчас все сковано морозом.

Мы, как видите из заголовка моего письма, устроились по-аристократически: во дворце. Это один из бесчисленных здесь фольварков могущественного польского магната. Перед грозой войны исчезла его роскошная обстановка, и теперь это любопытное смешение дворца с казармой. В комнате, где я сижу, лепные потолки, барельефы по стенам и над дверями, мраморные стены и колонны, а на полу — окурки, клочки бумаги, солома. В беспорядке наставлены кровати с соломенными матами — кровати из казармы. Между ними втиснуто несколько походных офицерских, навалены офицерские вещи и солдатские мешки.

Стол на козлах и две скамьи довершают обстановку.

Огромные окна затянуты морозом, а у нас — паровое отопление: пар от доброго десятка чайников и от нашего дыхания. Народу много: офицеры всех родов оружия встречаются здесь на два-три дня, знакомятся и разъезжаются, чтобы больше никогда не встретить друг друга.

Сейчас приехал еще один офицер, привел команду выздоравливающих и с ней отправляется на позиции. Всю прошлую зиму он был на Бзуре простым рядовым пулеметчиком. Я сейчас пил с ним чай и слушал его рассказы. В прошлом январе, при наступлении, они в мороз переходили Бзуру, а потом шесть суток, не выходя из боя, сидели в окопах.

— Как сушили? Да так: разуешься, ноги на морозе, а сам портянки как следует выжимаешь. А потом опять на себя наденешь; на тебе и досыхают.

От этого упрощенного способа просушки он получил суставной ревматизм. Летом подлечился, а теперь опять послан на позиции.

«Дух бодр, плоть же немощна».

Крепко надеюсь и я бодрость духа своего сохранить.

Ваш Женя.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Дорогие мои!

Право же, ампула «героя — защитника родины» в таком виде, как у нас теперь, — роль нетрудная даже до конфуза. Конечно, я не буду уверять вас, что у нас здесь рай земной, но просто расскажу вам кое-что о наших маленьких горестях и о том, как мы боремся с ними, — а если нельзя бороться, то привыкаем, — и вы сами увидите, что «ужасы войны» издали, право же, куда страшнее.

Я уже писал вам¹, что, попав сюда, я устроился в землянке с одним ротным командиром. В его распоряжении была железная печь, но не было ни окна, ни двери. Дня через два он ушел на позиции и увез с собою печь. Тогда я как следует привык за свой особняк.

Рече Галаеву (рекомендую — мой денщик): да будет

¹ Вероятно, в письме восьмом, которое отсутствовало.

окно, и печь, и дверь. И бысть так. И увидел я, что все сделанное — добро зело, и возрадовался...

А подробности сего творения таковы:

— Галаев! Там для больших землянок привезли кирпич. Стяни-ка ты оттуда штук тридцать да скажи фельд-фебелю, чтобы он нашел ребят-печников в роте...

И стала печь. Честь честью — со сводом, с трубой из дерна и даже с плитой (из жестианки, так называемого «цинка» — коробки из-под патронов). Была, правда, в этой печи одна неприятная особенность, а именно, вследствие некоторых технических несовершенств конструкции, а также недостаточной высоты трубы, в ветреную погоду она работала обратной тягой — не из землянки в трубу, а из трубы в землянку, но придирааться к этому, конечно, было бы слишком мелко.

Теперь окно:

— Я вижу, Галаев, что ты хочешь, чтобы твой ротный преждевременно разорился на свечах. Состряпай-ка ты, братец, раму да сходи туда, где бьют скот и раздобудь пузырей...

И на другой день у меня уже было окно. Правда, рама вышла в буквальном смысле «топорной работы», ибо, кроме этого универсального орудия, у нас был только перочинный нож, но ведь здесь изящество не в моде, а пузыри напоминают хорошее матовое стекло с узорами и света дают столько, что даже дерн на стенах внутри землянки дал ростки и позеленел.

Подробности происхождения двери Галаев от меня скрывает — не иначе как стянул, пройдоха, — но я на это не слишком сердит, а дверь вполне хорошая.

Одним словом, устроился я было совсем комфортабельно и дней пять благоденствовал, но затем природа, очевидно, вспомнила, что она не терпит пустоты, и принялась наполнять мою землянку водой. «Один день лил дождь сорок дней, сорок ночей; другой день лил дождь сорок дней, сорок ночей», а на третий день у меня уже был всемирный потоп. Проснувшись утром, я увидел, что кровать моя торчит в воде, как Носв ковчег среди океана, а рукав шинели, которой я покрываюсь, свесился вниз и всасывает воду не хуже патентованного насоса. Тогда я уже рассердился всерьез и переселился в офицерскую землянку, где и обретаюсь до настоящего времени.

Ну, что еще о наших невзгодах?

Завелся у нас, конечно, и «внутренний враг». У ребят он, как они говорят, величиной с воробья, у нас же не успевает достигнуть величины и черного таракана. Раньше мы боролись с ним кустарным способом — вручную, — теперь же перешли к машинному способу обработки. Получили машину, которая обрабатывает его сухим паром с примесью формалина. И теперь перевес явно на нашей стороне. Занятно было смотреть на ребят и слушать их злорадные восклицания:

— Так его, хорошенько!

Ну, а что решительно отказывается повиноваться «победоносному русскому воинству», так это наша погода. Не погода, а слезливая старушонка какая-то. Даже странно немножко: у нас в Коврове, конечно, по расписанию последних лет полагается на первый день рождества двадцать градусов мороза с ветром, а у нас здесь сырость и грязь.

Ну вот уж, кажется, и все об наших бедствиях; больше ничего о них придумывать не могу, да и письмо кончать пора. Кончу его поздравлением с Новым годом. Все равно раньше не дойдет.

Ваш Женья.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Рождественская ночь. Мелкий дождик падает с низких облаков. Лунное сияние ракет на минуту озаряет трепетными отблесками лужи и болотную речушку. Посты постреливают изредка в лесу — так себе, впустую, как сторож постукивает в свою колотушку... У вас, пожалуй, уже скоро зазвонят к заутрене. «Заблаговестили» и у нас: в лесу за речкой начали рваться австрийские снаряды.

Нас, офицеров, в землянке трое. Двое мирно спят и, может быть, во сне видят себя дома в эту ночь. Я с вами наяву, пишу и думаю о вас и знаю, что вы также вспоминаете обо мне, мои дорогие.

На столе у меня праздничное освещение: две свечи. Я сижу на скамье, сбоку на моей кровати примостился Галаев; тоже трудится над письмом к своему другу — какому-то псаломщику, что-то шепчет про себя, чешет белобрысую голову, иногда ухмыляется — видно, вспоминает что-то веселое...

Две минуты первого.

— С рождеством тебя, Галаев!

Вскакивает с расплывшейся физиономией и орет:

— Покорно благодарю! И вас поздравляю с праздничком!

А теперь ложусь спать. Завтра постараюсь дописать письмо.

1 января. На позициях.

Одно могу сказать: человек предполагает, а бог располагает. Не удалось дописать этого письма ни завтра, ни послезавтра. А сейчас пишу его на позициях и напишу, наверное, немного. Тревожная ночь — можно ждать всякой выходки со стороны австрийцев. Мы все время начеку.

В моей землянке со мной сидит фельдфебель. Недавно только мы с ним проверили все посты и вернулись в землянку почти к двенадцати часам. Беру эти листки лишь для того, чтобы сказать вам: «С Новым годом!»

На флангах погромыхивает, но против нас орудийного обстрела нет: слишком близко австрийские окопы, до них всего каких-либо двести шагов, и можно попасть по своим. А поэтому мы с фельдфебелем блаженствуем, распивая присланную на мою долю из офицерского собрания для встречи Нового года полбутылки малиновой наливки.

Попробуйте представить себе синюю лунную ночь. Густой смешанный лес — дубовый и буковый, с редкими могучими соснами. Среди деревьев тянется неровная линия окопов, прикрытых козырьками. Сейчас же за окопами землянки, целиком ушедшие в землю, с плоскими крышами... Сверху они кажутся какими-то невысокими бесформенными кучами, и только искры, вырывающиеся кое-где из прорытых в земле труб, да загробные голоса, идущие откуда-то из недр земли, указывают, что здесь обитают люди. Ходы сообщения уходят в тыл причудливыми изворотами, точно кротовые норы, и все это — и деревья и окопы — прикрыто свеженьким пушистым снежком, окончательно обращающим в сказку этот городок гномов.

У нас в землянке ярко топится печь. На столе свеча. В углу у печки прикорнул телефонист с телефонной трубкой около уха.

Вдруг телефон загудел.

— Вторая слушает, — моментально отзывается телефо-

нист. — Передаю трубку. Прапорщик Ладыгин, из команды охотников прапорщик Беланов просит вас к телефону.

Прапорщик Беланов — «дикий кавказец» — маленький добродушный бородатый грузин, всегда живой и веселый.

Докладываю в телефон:

— Командир второй роты слушает.

— Сию минуту. Третья рота слушает? — раздается голос Беланова.

— Слушает третья...

— Четвертая слушает?

— Слушает...

Наконец взбудоражены оба батальона, и Беланов торжественно возглашает:

— С Новым годом, господа.

В ответ несется нестройный гул поздравлений и приветствий из разных рот.

Затем Беланов продолжает:

— Сейчас в помещении команды охотников дан будет новогодний концерт. Прошу занимать места.

Раздается звук небольшого колокольчика, неведомыми путями попавшего в охотничью команду, и сейчас же вслед за ним врываются в ухо залихватские звуки двух гармошек и балалайки...

Ну вот, думал написать вам немного, а исписал вон сколько. Так и ночь прошла в письме к вам, родные мои, в разговорах и азартной игре в шашки с фельдфебелем. Скоро рассвет.

Ваш прап. Е. Ладыгин.

Р. S. За бумагу не извиняюсь: курительная, высший сорт, лист — копейка.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ¹

На твой вопрос, мама, — чего бы мне прислать, — ей-богу, затрудняюсь ответить. Шлите побольше писем — это, кажется, единственное, что мне нужно.

Да вот разве еще книг. Если вам удалось бы прислать мне, скажем, Полное собрание сочинений Чехова, был бы

¹ Письма 11, 12, 13, написанные на бланках денежных переводов, интереса не представляют и потому опускаются.

этим страшно обрадован, а то книги у нас здесь случайные и неважные.

Хотелось бы прочесть мне кое-что и по философии. Например, «Диалоги Платона». (Хотя, конечно, этого в Коврове не достать.)

Если тебе удастся, батя, где-нибудь добыть их (в ковровской библиотеке, я знаю, нет), то обязательно прочти. Уверен, что многое в них будет тебе близко и захватит.

Мне часто вспоминается здесь один из этих диалогов, «Смерть Сократа». Как величаво-спокойно и как просто сумел он умереть! Как многие могли бы повторить теперь его прощальные слова: «Теперь прощайте, друзья мои. Пришло время идти — вам на жизнь, мне — на смерть. А кто из нас избрал лучшее, знает один только бог...»

Какая большая и красивая душа была в этом маленьком и некрасивом человеке! Но кончу о Сократе.

Боев на нашем участке не было. На первый и второй день нового года долетели до нас несколько снарядов, но теперь затишье, хотя, конечно, «затишье» наше — вещь относительная. Пульки посвистывают круглые сутки; днем пореже, ночью почаще. Выйдя из землянки куда-нибудь, обязательно услышишь около себя их мелодичное пение. Поют они очень разнообразно. Иная свистнет коротко и пронзительно; другая, на излете, долго и нежно поет; третья яростно взвизгнет после рикошета о какой-нибудь сучок и воет басовым тоном, вертясь в воздухе как попало. Но в общем от всей этой музыки опасности никакой нет. Очень мало вероятного в том, чтобы путь такой одинокой случайной пули совместился с кем-нибудь из нас. Но иногда все же не обходится без курьезов. Сегодня, например, двоим ребятам в моей роте одна пуля пробила сапоги, а одному из них даже портянку и кальсоны и совершенно не задела ногу. Ведь ножом не умудришься так аккуратно прорезать¹.

ПИСЬМО МЛАДШЕМУ БРАТУ

Колька!

Получил я все твои письма. В благодарность за них

¹ Конец письма отсутствует.

расскажу я тебе одну случившуюся у нас маленькую историю.

В тот день, когда у австрийцев было рождество, фельдфебель четвертой роты, идя по лесу с позиций в штаб полка, увидел вдруг в стороне от дороги, что в лесной чаще мелькают синие шинели австрийцев. Насчитал он их пять человек и разглядел, что один из них был австрийский офицер. Перепуганный фельдфебель, у которого и револьвера-то не было с собой, бросился бежать в штаб.

Но бедные австрияки, по-видимому, испугались еще больше него и думали только, как бы им спрятаться от нас. Это были австрийские разведчики. В ночь под рождество, когда у них, как и у нас, во всех домах зажигаются елки, их послали в разведку. Они проникли за нашу линию, а потом заблудились и с рассветом уже не могли вернуться обратно и должны были скрываться в лесах.

Когда в штабе узнали, что у нас бродят австрийцы, сейчас же была наряжена погоня. Наши разведчики и команда охотников облазили весь лес, но австрийцев так и не нашли.

Все мы уже начали думать, что фельдфебелю со страху показалось, но на другой день по телефону пришло известие, что один офицер соседнего с нами полка тоже встретил их в лесу, в нескольких верстах от нас. Но и там поймать их не удалось. А больше об них уже не слыхали; должно быть, они все-таки пробрались к своим, если только не замерзли и не лежат где-нибудь в лесу.

Как, ты думаешь, провели они эти двое суток, чем питались и как спали ночь? Ведь костра они, конечно, не посмели разложить, а в разведку с собой провизии ведь не берут.

Как чувствовали они себя, когда увидели, что за ними, голодными, усталыми и озябшими, охстятся, как за красным зверем?

Да, брат, я думаю, что если только кто-нибудь из них уцелеет до конца войны, так уж это рождество останется у него в памяти на всю жизнь.

Так вот какие штуки бывают на войне.

Рыбу я тут не ловлю и на лыжах не катаюсь, да и снег у нас бывает редко. А река у нас тут есть недалеко, называется Стырь. Осенью, до моего приезда, наши раз-

ведчики ловили в ней рыбу по-военному: глушили ее ручными гранатами. Вытаскивали шук фунтов по двенадцать, сомов, язей, лещей.

В наших болотах много диких коз, кабанов, а зайцев — так видимо-невидимо. Солдаты наши ходят охотиться на коз и частенько их убивают. А одну как раз поймали руками. У австрийцев поднялась стрельба, она с перепугу и махнула прямо через наши окопы. В них были солдаты, они и ухватили ее за ноги.

А недели две тому назад приходит ко мне мой фельд-фебель и говорит:

— Ну-кося, какую я сейчас глупость сделал.

— А что?

— Да как же! Дикого кабана из-под носа упустил.

— Как это?

— А так. Слышу я, что пост наш часто застрелял, бросился туда. Гляжу — дело было на рассвете, — а вдоль проволочного ограждения, сгорбившись, кто-то и бежит. Эко, думаю, счастье какое нам привалило, — ведь это австрияк. Сам себя не помня, к нему и покати да через проволоку-то колючую — раз! Штаны изорвал, запутался — ну, думаю, уйдет австрияк. А он как захрючит. Подымаюсь, гляжу, а это кабан. Да здоровый, черт! А со мной ни винтовки, ни револьвера. Аж взвыл я от досады... Ну уж и напустил я дыму на часового!

Вот дьявол, молдаван, в тридцати шагах с пяти выстрелов в кабана не мог попасть. Так мой кабан и ушел, а ведь пудов на шесть был. Всей роте на два дня свинины хватило бы.

Прочитал я про твоего восьмифунтового налима. Думаю, беда вся в том, что он за тебя сконфузился. Был он, наверно, налимишка этак на полфунта, а как увидел, что ты его всерьез за большого считаешь, сконфузился да и убежал скорее до восьми фунтов дорастать. Ну, не горюй, вырастет, авось опять к тебе попадет.

Напиши мне, сколько сот налимов ты еще переловил и на сколько пудов.

А еще поклонись ты от меня Клавке Ширяевой и скажи, что скоро я ей что-нибудь напишу.

Ну, вот и все.

Брат твой Е. Ладыгин.

Дорогие мои!

На сей раз не собираюсь вам много писать, зато посылаю свою физиономию в нескольких видах. Скажу только — коли дойдут до вас карточки, всмотритесь в мою роту. Ведь это люди, с которыми я работаю, живу и с которыми вместе, может быть, мне суждено умереть. Посмотрите, какие славные ребята.

Ваш прапорщ. Ладыгин.

НЕОКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО, НАЙДЕННОЕ В БУМАГАХ ПОКОЙНОГО И ПРИВЕЗЕННОЕ ДЕНЩИКОМ

Дорогие мои!

Зная, как трудно представить себе описываемое словами, и зная, что вам хочется, вероятно, яснее представить себе условия, в которых я живу, посылаю вам набросок моей землянки. Набросок, правда, неважный, но все же он лучше, чем слова¹.

Великолепная вещь эти землянки! Большую хорошую землянку можно построить в два-три дня, и получится удобное, сухое и теплое жилье. Ребята у нас смеются:

— Нипочем теперь себе изб строить не будем, коли живы домой вернемся. Да мы теперь себе за двадцать пять-то целковых такую домину махнем — комнаты в четыре или пять.

Мы живем быстрее вашего: у нас уже апрель. «Стаял снежок, ожил лужок». Ожили лягушки и меланхолично прыгают по ходам сообщения, безнадежно пытаюсь прорвать фронт и вылезть за окоп. В болотах крикают утки... Наши ребята пробовали охотиться за ними, но, увы, пулей убить уток гораздо трудней, чем людей.

Проснулись и сычи и, мужественно восседая между нашей и неприятельской линиями окопов, по ночам покрикивают предостерегающе на нас и на австрийцев:

— Эге-гей!

¹ Набросок простым карандашом, приложенный к письму, изображает землянку, похожую на большую муравьиную кучу. Вход завешен мешковиной. Кругом голый апрельский лесок. Серенькое небо.

Весна идет, и уж «весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом...». Все чаще и чаще рокошет у нас и днем и ночью, то вправо, то влево, где-то далеко за горизонтом. Кончилась зима. Тяжелая страница истории перевернулась, и наша армия своею кровью начинает писать новую страницу.

О моих взглядах на совершающееся, пожалуй, не стоит говорить — с чего же им меняться! Ведь я пошел сюда, подумав, и знал, на что и почему иду. Меня потянуло сюда элементарнейшее чувство простого честного человека: в минуту крайнего напряжения народа быть там, где в данный момент ты всего нужнее и полезней. А мне казалось, что всего полезнее я здесь. Не потому, конечно, что могу убить несколько австрийцев, а потому, что полезен моим ребятам.

Как видите, мне далеко до героических римлян, говоривших: «Сладко и приятно умереть за отечество».

Да и бог с ними, с «героями». При мысли о них мне всегда вспоминается глупая рожа «героического» Козьмы Крючкова на обложке дешевых папирос. Не для дешевых подвигов и славы я сюда пришел. Но если надо будет, не задумываясь, отдам жизнь за отечество твое, батя, твое, мама, твое, Аверьян Галаев, ваше, мои ребята,— за отечество русского народа.

Мы здесь просто живем и еще проще умираем. У смерти здесь отняты обрядности, обращающие ее в торжественное и печальное таинство. Вот вам несколько штрихов.

Недели две тому назад мы с товарищем, офицером, прогуливаясь, забрели на братское кладбище. На песчаном бугорке, обнесенном легонькой оградой из колючей проволоки, недалеко от лесной опушки, протянулись ровные ряды могил. Четырьмя линиями стоят простенькие деревянные кресты, прямо как солдаты на ученье.

— Да, месяца два тому назад я тут проходил — только семь могил было, а теперь — на-ка, уж сдвоенными рядами выстроиться успели,— задумчиво замечает мой вестовой...

В конце последнего ряда желтеют две свежевырытые ямы.

— Смотри,— указывает мне на них товарищ,— вот черти! Про запас могил нарыли!

Вот в самом деле откровенно-простодушный цинизм войны! Эти «запасные» могилы напоминают меблирован-

ные комнаты: кто будет их хозяин — неизвестно; пока они пустуют, но — что за важность — дело верное, и постояльцы будут...

Другая картинка.

Третьего дня ко мне в землянку заходит начальник пулеметной команды с молоденьким доктором, только что приехавшим на фронт.

На нашем участке тихо. Доктору и жутко, и интересно, и как-то не верится, что это «самая первая» линия, а дальше — в трехстах шагах — уже австрийцы.

— Уж очень тихо что-то.

— Хотите, можно устроить маленький скандалчик, — говорит пулеметчик. — Давайте покажем доктору пристрелку пулемета.

— Ну, чудесно, — отвечаю я.

Проходим к пулемету, показываем доктору изящную машинку. Он поглядывает на нее опасливо.

— А что, взорваться он не может?

Переглядываемся и отвечаем сдержанно:

— Бывает...

Доктор «по стратегическим соображениям» отступает за козырек, мы же со спокойной гордостью отчаянно-храбрых людей устраиваемся близ пулемета.

Начальник команды указывает пулеметному унтер-офицеру точку наводки:

— По краю вон той поляны.

Потом проверяет и командует:

— Пол-ленты, с рассеиванием. Огоны!

Тишина прорезывается четкой трескотней пулемета.

Мы выходим из-под блиндажа и любимся, как летят, сшибаемые пулями, ветви, сучья, щепки от пней. Вот свалилось молоденькое деревце, вот другое наклонилось и падает все быстрее и быстрее...

Доктор потрясен.

— Черт знает, какая сила! Ну как против него идти?

Неожиданно пулемет умолкает — кончились пол-ленты.

— Ну, теперь рекомендую спрятаться. Сейчас австрийцы откроют ответную стрельбу, — советую я доктору.

Он исполняет мой совет весьма охотно — и вовремя. Австрийцы, по-видимому, сердятся, и через нас уже довольно густо летят их пули.

Наконец они отвели душу и постепенно умолкают. Мы выходим из-под козырька и идем по направлению к

соседней роте. По дороге мне попадаются несколько солдат, бегущих с котелками из резерва.

— Ваше благородие,— смущенно говорит мне фельдфебель, бывший все время с нами,— а я совсем и забыл вам сказать — ведь люди-то за обедом в резерв пошли!

Я набрасываюсь на него:

— Как же ты, брат, такие вещи забываешь! Теперь, чего доброго, кого-нибудь там ранило!

Пули опаснее всего в так называемых батальонных резервах, потому что там они на излете и летят низко, да и люди там не прикрыты окопами.

И действительно, не прошли мы ста шагов, как нам попался санитар, бегущий с индивидуальным пакетом в руках.

— Ты куда?

— Да там в резерве, говорят, кого-то ранило.

— Хорошо, беги. А ты, фельдфебель, узнай, кто ранен, и пошли туда еще трех санитаров с носилками, на всякий случай. Я пройду в первую роту.

— Слушаюсь.

Проходим дальше, показываем доктору действие нашего бомбомета, затем они уходят, а я захожу в землянку командира первой роты. Сидим с ним, болтаем. Подходит телефонист.

— Вы будете командир второй роты?

— Я.

— Вас спрашивает командир резервной роты.

Беру трубку.

— У телефона прапорщик Ладыгин.

— Говорит прапорщик Шапин. Тут у вас убило рядового. Так вот, остались деньги — пять рублей сорок шесть копеек и часы. Он просил послать это жене.

— Хорошо. Пришлите их, пожалуйста, ко мне. Куда ранило?

— В живот и там осталась. До свидания! Кланяйтесь командиру первой роты.

Побеседовали о разных разностях еще немного, направляюсь к себе. Фельдфебель встречает по дороге.

— Там в нашу роту восемь лопат прислали, так как с ними прикажете?

— Раздать повзводно.

— Слушаюсь. А еще у нас убило Сидоренку.

— Эх! Как на грех, хороших солдат выбивают.

— Так точно. Сапоги я приказал снять. Тут у нас у одного плохие, так я велю ему их отдать.

— Хорошо.

— А как прикажете с шинелью? Надо бы тоже снять, да уж очень кровью залита.

— Ну что ж, куда ни шло, похороним в шинели. Могилу рыть послал?

— Так точно.

— Ладно. А насчет священника я потолкую. Тут, кстати, сегодня утром в шестой роте пулеметчика убило. Вместе их и похоронят.

Вечером ко мне заходил полковой священник.

— Что, батюшка, хоронить приехали?

— Уже похоронили.

— Жаль, а мне из штаба полка обещали гроб прислать.

Батюшка машет рукой.

— Эх, полноте, не все ли ему равно!

Вот здравый взгляд — конечно, безразлично.

Ну, что же рассказать еще об этой смерти? Вот, собственно, и все. Через несколько дней появится в приказе: «Рядовой второй роты Порфирий Сидоренко, убитый на позиции у деревни... исключается с денежного, приварочного, чайного, мыльного и табачного довольствия».

Жизнь кончена, и подведен итог.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

И ра!

Отправляю тебе с моим вестовым Алексеевым (бывшим московским лихачом) то, что успел наскоро собрать.

Мы сейчас стоим в резерве. Если бы стояли на позиции, мог бы собрать гораздо больше, а здесь ничего нет особенного, да и собирать некогда — он поехал в отпуск неожиданно.

Можешь расспросить его о нашем житье-бытье. Вещи, присланные мною, переправь домой¹ — на память. Описание их я потом пришлю. Вкратце же вещи таковы:

1. Головка от шестидюймовой шрапнели.

2. Очки и маска противогазная. (Ими мне уже не раз

¹ Ирина Васильевна училась тогда в Москве.

приходилось пользоваться, когда на нас австрийцы бросали бомбы с удушливыми газами.)

3. Ручная грелка с углями.

4. Головка от австрийской ружейной гранаты.

5. Австрийская пуля, которой один солдат был ранен в плечо навылет. Пуля, пробив плечо, застряла в шинели.

6. Обойма с патронами. (Вынута мною из подсумка раненого солдата моей роты. Бомба из бомбомета разбила козырек над окопом, ранила солдата, и кусочек дубовой коры от козырька пробил толстый кожаный подсумок и продавил обойму.)

7. Шрапнель.

Преп. Ладыгин.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ДЕНЩИКА

Ключи чемодана со мной в случай буду убит.

Милостливыйший Государь Василий Лаврентич!

Кланяясь Вам и Вашему Семейству С почтением.

Покорнейше прошу Вас В. Ла. Сообщить мне Адрис Вашего сына Евгения В. прапорщика Ладыгина. Очень Нужна я его денщик как остался при вещах. Но вещи мне пришлось Сдать в обоз второго разряда, а я остался по приказанию начальства в строю второй Роты. Он Уменя Заболел Сперва Экземой а последнее время Унего Повысилась температура до сорок градусов.

Я Ходил Кнему в лазарет, но его Уже Не застал. Отправлен дальше, а куда не мог достать Сведения. Вот я уже жду его месяц и не могу дожждаться и письма нет. Думаю разве Сильна болен или нет живова, а если бы Умир было бы в приказе, Спаси Бох отсмерти такова Человека ему все желаем пожить и все Им довольны Он не гордился и Нижних Чинов не обижал Я и Рота Обним Скучаем и когда только дождемся.

Шоколаду шесть плиток я получил на его имя из московы брат прислал Это я одну признаться Скушал а остальные в чемодане и семь писем на его имя все собрал в порядок до его приезда, но я вряд ли его увижу. Завтра говорят в наступление, в чем и беда мне без Евгения Василича подошла. Как знаете его Адрис Покорно прошу сообщите.

Желаю Вам На илучшего и перед Вами извиняюсь за беспокойствие.

*Денщик пр. Ладыгина Аверьян Трафимович
Галаев. 2й Роты 4 Звода.*

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Дорогие мои!

Не сердитесь, что так долго молчал, и не беспокойтесь обо мне: был болен и писать не мог. Болезнь пустячная, но писать не давала да и сейчас еще плохо дает — боль на правая рука.

Расскажу коротко, в чем дело.

В начале марта мы встали на позицию, а примерно в середине месяца на нашем фронте у австрийцев появилась новинка — бомбы с удушливыми газами, и угощать этой новинкой они стали как раз нашу роту.

Когда привыкнешь к ним, то бомбы эти — ерунда, но по первому разу был у нас большой переполох.

Как-то вечером я осматривал новые окопчики для передовых постов. Вдруг слышу — австрийцы открыли огонь из бомбомета по моей роте. Побежал туда, где слышны были разрывы бомб, и по дороге чувствую, что пахнет чем-то вроде чеснока и начинает есть глаза. Сразу смекнул, в чем дело, пробежал еще немного по окопам, распорядился, чтобы люди надели очки и маски, и понесся в свою землянку. Схватил там свою маску, налил в горсть гипосульфита из бутылочки, смочил маску, надел ее, очки и покати́л опять в окоп, не успев вытереть руки.

В окопе уже здорово воняло газом. Некоторые солдаты, потерявшие маски, корчились на земле: их рвало и ело глаза. Я их сейчас же отправил в тыл. (Все они благополучно поправились на другой день.) Остальные же, похожие в своих очках и масках на каких-то чудовищ из «Вия», стояли уже наготове с винтовками в бойницах. Пронесли одного раненого, другой — контуженный, — охая, пропелелся сам.

Газ все же забирался под очки и маску, ел глаза и затруднял дыхание, но не сильно. «Черт» оказался не таким страшным, как его малюют. После этого австрийцы пускали на нас бомбы с газом довольно часто.

Единственным последствием всей этой истории было

лишь то, что от гипосульфита, которым я смочил себе правую руку и дал ему на ней засохнуть, у меня через несколько дней появилась какая-то сыпь, которая постепенно развилась в «нечто экземистое», как сказал потом доктор.

Все же я достоял на позициях, отойдя же в резерв, показался врачу. Он сказал, что у них нет лекарств в полковом околотке и что мне придется уехать в дивизионный лазарет. Но я ехать с этой ерундой отказался и попросил его выписать лекарства сюда. Так протянулось время, а тут у меня прибавилась инфлюэнца с высокой температурой, и врач настоял-таки на отправлении в лазарет, помещавшийся верстах в семи от нашего полка в маленьком еврейском местечке. Тут я провел с неделю. Инфлюэнца благополучно прошла, но на руке к экземе прибавилось воспаление лимфатических сосудов, и меня направили дальше — в Ровно, где я и нахожусь сейчас.

Валяюсь целые дни на кровати, отчаянно скучаю и брюзжу. Ровно, который шесть месяцев назад был для меня «фронтом», теперь уже в моих глазах, бессменного «окопного сидельца», — глубокий тыл, и я им очень недоволен. Все не нравится мне здесь: и блестящие фигуры штабных, которых, по-видимому, меньше всего интересует война и которых здесь очень много, и «патриотические» разговоры и предположения лежащих со мною местных военных чиновников.

Теперь мечтаю только об одном: скорее бы поправиться — и в полк, к своим ребятам, — отдохнуть душой от впечатлений тыла...

Напишите мне, как встретили вы 1 Мая, был ли у вас какой-нибудь пикник. Я встретил май скучно — в госпитале. Одно хорошо: у нас уже давно цветет сирень, и ее большие букеты на наших окнах напоминают мне о мае.

Ваш Женя.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Дорогие мои!

Вчера, по выздоровлении, я вернулся в полк и попал, как Чацкий, с корабля на бал... Еще подъезжая к послед-

ней станции, я уже слышал отдаленные звуки артиллерийской подготовки, а потом ехал двадцать пять верст до полка все время при звуках артиллерийского боя.

Подъезжая к расположению полка (мы стояли в резерве), я увидел, что полк уже выстроился в полной готовности к выступлению.

Успел только наскоро явиться к полковнику, был опять зачислен во вторую роту, но уже младшим офицером, так как ротный командир был уже, конечно, назначен другой. Наскоро переоделся, заменил пашку более скромной лопатой и скатал шинель в скатку.

Через полчаса наш батальон был двинут на поддержку уже дерущемуся полку...

Теперь пишу при интересных условиях: наша рота стоит пока в резерве — в тех окопах, где наши стояли зимой. Наступающие части впереди, у австрийских проволочных заграждений. Со всех сторон гремит наша и австрийская артиллерия. Сплошной гул. Отдельных оружийных выстрелов почти не различишь. От этого грохота у всех нас болит голова. Мимо нас «оттуда» несут раненых; легко раненные и контуженные идут сами. К нам сюда залетают только редкие снаряды, потерь пока, слава богу, нет, но передним приходится туго. Часа полтора тому назад двинули вперед нашу первую роту, а теперь у нее около сорока человек потерь убитыми и ранеными. Через час-два, вероятно, наступит наша очередь. Настроенное спокойное и сосредоточенное.

Родные мои! Чувствуете ли вы, что в этот день мы здесь деремся и умираем за вас и за общее дело?

Известия об этом, слава богу, до вас дойдут еще не скоро, и вы сейчас, наверное, спокойны. Знай вы, что творится здесь сейчас, сколько сердец сжималось бы теперь тревогой.

Не могу больше писать: артиллерийская стрельба замолкла, несколько времени было затишье, а теперь поднялась отчаянная ружейная и пулеметная трескотня. Должно быть, наши пошли в атаку. Сейчас узнаем по телефону.

Пока прощайте, мои дорогие. Если даже наше дело не завершится победой, не думайте о нас плохо: помните, что мы были честны и сделали, что могли.

Ваш Женя.

Операция окончена, и вся наша рота уцелела. Ночь работали под огнем и — почти чудо — ни одного человека не потеряли.

Мы сейчас в резерве, а скоро, говорят, оттянут нас назад. Бой еще идет, но это уже только отголоски вчерашнего боя.

Рад вам сообщить, что теперь довольно долго можно быть спокойным за меня.

Ваш Женя.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО, ДОСТАВЛЕННОЕ ДЕНЩИКОМ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЛАДЫГИНА

Вечером третьего дня, вскоре после того, как я вам отправил предыдущее письмо, у нас начал обозначаться отход австрийцев. Замолкла их тяжелая артиллерия, постепенно начала замолкать легкая, а потом стихла совершенно, и только ружейные пули продолжали как-то высоко и неуверенно лететь над окопами.

В австрийском тылу слышались два сильных взрыва — они взорвали склады патронов; задымились в разных местах сжигаемые деревни, и вскоре в наших руках были первая, вторая и третья линия их окопов. Наш батальон переведен немного вправо, в резерв, и уже по дороге нам начали попадаться небольшие партии пленных австрийцев.

Вчера нас двинули опять на другой участок, а потом в погоню за австрийцами. Два наших батальона дерутся сейчас под Колками — идет борьба за Стырь. Вечером австрийцы, вероятно, опять отойдут.

Наш батальон после суток под огнем и двух дней похода сейчас отдыхает. Вот когда у нас настоящий май. Вчера немного смочило дождем, а сегодня отличная погода, и мы чувствуем себя как на пикнике. Валяемся под соснами, пьем чай и отъедаемся за прошлое и за будущее (вчера остались без обеда и без чая).

Сейчас пришло известие — Колки взяты, и мы уже за Стырью. Дело идет хорошо. До свидания, мои дорогие, кланяйтесь всем.

Ваш Женя.

**ВТОРОЕ ПИСЬМО ДЕНЩИКА ВАСИЛИЮ
ЛАВРЕНТИЧУ ЛАДЫГИНУ**

Спешу Известить Родителям И семейству Ладыгину, 27 мая в 10 часов дня Убит в Бою Ваш Сын Евгений Василич Прапорщик Ладыгин 318-го Пехотного Черноярского Полка 2-й роты Командир.

Тело его вынесено 29-го мая из огня боя. Погребение им было Четверым Прапорщикам и Полковнику похоронная процессия с музыкой и орудийным боем.

Убит за Местечком Колки На берегу реки стыра, ввремя Наступления Под деревней Копылы. Похоронен На Офицерском Кладбище За деревней таращ, При узко Кольной станции, в том извещаем О по Гребении Родителям и знакомым его.

Василий Лаврентич, Как Вы желаете тело его взять на родину Своих Кладбищ, тогда представьте цыпковый Гроб, или сами привезите, вещи его Находятся при мне до особого распоряжения, я как был денщик Покойного Моего Командира. Он мне доверял все что есть, Царство ему Небесное. Человек был хороший. Жалко больно жалко мне его. Поплакал я обним как дитя, Еда четвертые сутки не идет, Плохая мне безнего будет жизнь. Эх, Евгений Василич, как Вы сомной простились видно Знал что болие не увидишь. Мне в последнее время наказывал Покойный, как будто знал, Убьют на Пиши родителям и помни меня, Собери мои вещи от правь Народину.

Навряд ли Нас отпустят с офицерскими вещами и так что Прошу Вас дайте телеграмму Командиру Полка насчет моей Просьбы я же желаю Повидаться с Вами и поделиться Горем. Денщиком я у него с самой москвы рядовой Аверьян Трофимович Галаев 2-й роты.

Пишите ответ, я пишу второе Вам Письмо.

Аверьян Галаев.

Вот и кончилась история прапорщика Евгения Васильевича Ладыгина.

Я читал его письма, вглядывался в лица «ребят» второй роты на пожелтевших фотографиях и думал — вот отошла та жизнь, пришла на смену ей иная, и в ней забыты многие люди, недостойные забвения.

И если ко мне подкрадывалось сомнение, когда я писал эту маленькую повесть, и я начинал спрашивать себя: «Да полно, нужна ли она, повесть давно отзвучавшей жизни?» — я опять перечитывал записки и письма Ладыгина, смотрел на фотографии, на рисунок акварелью и думал: «Пусть не забудется каждый, кто любил родину, любил свой народ и отдал за них жизнь с искренней верой в нужность своей скромной жертвы».

В записках Ладыгина был мягкий, как тряпочка, полустлевший листок, убористо исписанный химическим карандашом:

О тебе я думаю, моя родина. Не царственный лавр, не пальма жгучей пустыни, не пламенные розы — мой родимый край — стыдливый подснежник, синий василек, золотая кувшинка в тихой заводи рек. Когда Бог творил землю, другим он отдал странам свой гнев, свою радость, свои ласки, свою страсть. И отдал он им гранитные скалы, лазурное небо, и синее море, и жгучее солнце. И дал он им чудесные леса и странные плоды, цветы, похожие на бабочек, и птиц, похожих на цветы; на тебя же, моя родина, не хватило красок у Бога. И отдал он тебе свою душу, печальную душу всегда одинокого Бога.

Чтобы не забыт был в нашей жизни автор этих строк, я и рассказал о нем, сделав это словами документальной правды, потому что не значительней ли самого пышного вымысла крупица подлинной жизни.

ВСТРЕЧА С МУДРОСТЬЮ

С Михаилом Михайловичем Пришвиным я встречался дважды. Вторая встреча была мимолетной, первая же — долгой — и удержалась памятью в мельчайших подробностях, как будто происходила вчера.

Как-то в коридоре Литературного института имени Горького ко мне подошел один из моих литературных наставников Николай Иванович Замошкин и сказал, что мои

первые рассказы, опубликованные в «Огоньке», читал М. М. Пришвин, что они ему очень понравились и он хочет познакомиться со мной.

Я никогда не обольщался своими литературными успехами, и каждая удача казалась мне чем-то подозрительным, что произошло случайно и могло сбить меня с толку, принести впоследствии много горьких разочарований. Но, каюсь, тогда я улыбнулся одновременно радостно, самодовольно и растерянно. Это, вероятно, заметил стоявший тут же К. Г. Паустовский.

— Конечно, сходите к нему,— сказал он.— Обязательно сходите. Только смотрите, чтобы он вас не запутал. Начнет колдовать, берегитесь. Колдун. Цыган. Конокрад.

И потом, уже громко, для всех, рассказал, что Пришвин каждый день записывает хоть несколько строк в тетрадку, что этих объемистых тетрадок накопилось уже больше десятка, и добавил тоном того восхищения, каким говорят о редких сокровищах:

— Вот где, должно быть, анекдотов!..

Эта способность видеть, находить в каждом дне событие интересное, достойное внимания, вызывающее на размышление — способность редкая и присущая лишь человеку внимательному, наблюдательному, мудрому. И Пришвин в полной мере обладал этой способностью, оправдав ее всем своим творчеством.

К Пришвину я шел в один из дней «весны воды», шел с трусоватым чувством боязни предстать перед ликом этого лесного колдуна и прозорливца, опасаясь с первой минуты быть разоблаченным в делах своей жизни, показавшейся вдруг праздной, ленивой и мелкой. Сам он, казалось мне, обладал тем неоценимым качеством, которое можно назвать «искусством жить». Не расточать в праздности, суете и пустословии скоротечные дни жизни, а превратить ее в непрерывный процесс творчества. Великолепную формулу жизни вывел он, сказав, что творчество должно стать поведением человека («Творчество как поведение»).

Встретил меня Пришвин очень просто и ласково.

— Это и есть вы? Вот вы какой! — сказал он, улыбаясь не по-стариковски ясными глазами.— Садитесь.

И сам сел напротив в кресло, сложив на большом животе красивые руки. Несмотря на значительную полноту, тело его, даже облаченное в просторную пижаму, каза-

лось очень ладным и пропорциональным. А лицо, обрамленное сединами, с широким благородным лбом мыслителя было поистине прекрасным. Говорил он много, охотно, спокойно, с сознанием полного права учить и наставлять. Я ничего не прибавлю к тому, что он сказал в тот вечер, сохранив все противоречия, которые, по-моему, всегда отличают натуру глубокую и мыслящую, и опущу только то, что со временем забыл.

Говоря об искусстве, он настойчиво возвращался к одной и той же мысли:

— Проходите мимо временного.

— Шекспир говорил: «Время проходит, и вместе с ним проходит все временное».

— Душа человека — вот что не временно, и только она — предмет искусства.

Это он повторял в продолжение всего вечера и это же крикнул через порог, когда я уходил.

— Развитие рассказа пошло по двум линиям — по линии Чехова и по линии Пришвина. У меня очень много подражателей. Они присылают мне книги и рукописи, которые, говоря по совести, меня раздражают. Подражатель пишет в одной плоскости. А мысль — это многогранный кристалл. Случай на охоте для подражателя — самоцель. От этого случая у него нет выхода к большой мысли, к обобщению, к выводу.

Посмотрел на меня с живым, озорниковатым блеском в глазах и сказал:

— Вы тоже идете по моей линии. Но вы очень самостоятельны. Поэтому я не боюсь за вас.

Хвалил он только что вышедший тогда рассказ С. Антонова «Дожди».

— Этот писатель идет по линии Чехова, но его рассказы лучше чеховских, они влажнее. Прочитав «Дожди», я почувствовал себя обязанным написать о нем. Так статью и не напечатали, потому что кому-то, где-то рассказ не понравился.

И, помолчав несколько секунд, заговорил:

— Вот Н. В. умеет отделить политику от художественности. Он типичный приспособленец. Когда считалось, что нужна драма без конфликта, он писал именно такие драмы. Когда же решили, что конфликт в драме необходим, он стал писать драмы с конфликтом. Вообще же настоящая жизнь без конфликта немыслима. Есть солнце

и есть земля, есть огонь и есть вода, есть бог и есть дьявол.

Очень настойчиво расспрашивал, как живу, требуя подробных ответов. Вдохнул и с трогательной грустью сказал:

— Вам легко учиться, а я в свое время больше в тюрьме сидел, чем учился. Раньше нас очень часто сажали за Маркса.

И вдруг:

— А теперь все хотят хорошей жизни, приспосабливаются.

Опять помолчав, рассказал о том, как во время демонстрации фильма «Черевички» в каком-то северном поселке публика бросилась из зала, увидев на экране черта: была страстная неделя. Похлопал меня по коленке, хитро засмеялся:

— В предрассудках живем, батенька.

В то время шла подготовка к Гоголевским дням. Он написал статью о Гоголе, не смею утверждать, но кажется — для «Огонька», упомянув в ней несколько раз черта.

— Подумайте, не напечатали!

И очень серьезно, с доверчивым выражением лица, спросил:

— Неужели сейчас нельзя поминать черта?

Невольно вспомнилось предостережение Паустовского, и подумалось: «Колдует, старик...»

Вошла красивая собака — английский сеттер, обнюхала мою ногу и с глубоким вздохом положила голову на колено. О собаках — своем любимом предмете — Пришвин говорил вяло, неохотно: должно быть, потому, что считал собеседника недостаточно компетентным или не хотел ворошить богатейший пласт своих наблюдений ради короткой беседы, а может быть, знал, что с ним, Пришвиным, обязательно заговорят о собаках, и это было неприятно ему своей пошлой обязательностью.

Снова заговорил об искусстве.

— Чтобы описать ребенка, мне не нужно наблюдать его. Любого ребенка я нахожу в себе. Так же я могу описать девочку или девушку, присмотревшись к своей жене.

Сказал не совсем ясное мне:

— У каждого человека есть душа. И все эти души сольются в одну большую прекрасную душу.

Произнес он это, как бред, тихо бормоча, и я, подумав, что он говорил это для себя, оформляя какие-то свои,

нужные пока ему одному, мысли, не стал просить разъяснений.

Рассказывая ему о газетной работе, я обмолвился о том, что в редакции поступает огромное количество стихов непрофессиональных рифмачей, но, как правило, стихи эти малограмотны и бесталанны. Он длинным сравнением по-своему объяснил это явление:

— В лесу, в трудных условиях за существование, дерево тянется кверху, к свету и вырастает исполином. А на поляне, где хорошие световые условия, лес растет вширь, но, мелкий.

И добавил весьма двусмысленно:

— Вот я — в лесу вырос.

Заговорил про охоту. Я спросил, где он собирается охотиться нынешней весной. Он быстро взглянул на меня и радостно воскликнул:

— Как хорошо вы спросили! А вот несколько лет назад в санатории на прогулке меня встретили инженеры, узнали и спросили: «Ну, как? Все еще охотитесь?» Они были тоже молодые люди... Неужели они думают, что я могу без охоты? Я им сказал, что охотился, охочусь и буду охотиться, покуда ноги носят. И еще сказал, что писал, пишу и буду писать до самой смерти.

В маленькой новелле из «Лесной капли», так и названной «Моя охота», он писал:

«Внешней обыкновенной охотой я скрываю, оправдываю в глазах всех мою внутреннюю охоту. Я охотник за своей собственной душой, которую нахожу, узнаю то в еловых молодых шишках, то в белке, то в папоротнике, на который через лесное окошко упал солнечный луч, то на поляне, сплошь покрытой цветами».

Да неужели кто-нибудь думал, что он мог без охоты?

Об «обыкновенной охоте» он сказал:

— Моя охота — перепела, тетерева и поздней осенью вальдшнепы и дупеля.

Подумал и признался:

— Мне уже трудно ходить. Есть у меня маленькая машинка «Москвич», я сам ее вожу. Оглянусь, — если колхозников нет, выезжаю прямо на поля и пускаю собаку.

И потом в полное противоречие этому признанию рассказал о том, как в лесу его встретил пионерский отряд («было это в то время, когда ордена носили»), дети узнали его, пошли на луг, и каждый нарвал для писателя бу-

кет — триста букетов. А он журил их за то, что они загубили столько живых цветов — ему было бы приятней, если бы дети посадили для него хоть одно дерево.

Запомнился он мне и негодующим, рассерженным. Он выпрямился, подтянулся в кресле и резким голосом говорил:

— Умирает писатель, и Венеру Милосскую в вестибюле Союза писателей закрывают. Раньше простыней закрывали, а при Фадееве стали куском красного бархата. Почему же так стыдятся плоти? Это той-то, которую Соломон воспел в «Песне Песней», которую он так возвысил и освятил! Неужели нужно закрывать Венеру, когда умирает писатель?

Недалекость, пошлость, подлость всегда как бы удивляли его немножко, и не потому ли он ставил этот вопрос — неужели? — когда сталкивался с ними?

Устало махнув рукой, бросил фразу:

— Чем ближе к Союзу писателей, тем дальше от настоящего писателя.

Пусть это не уязвит самолюбие наших писателей, ибо легко понять, что не принадлежность к Союзу порицал он, а ту бюрократическую надстройку, которую воздвигли мы над литературой, и то заседальческое суесловие, которому мы предаемся столь рьяно.

И еще раз, как напутствие, прозвучали мне его слова: — Проходите мимо временного!

Их крикнул он, высунув из двери свою крупную седую голову, когда я уже был на лестничной площадке.

В тот вечер (17 апреля 1952 года) тронулась Москва-река. Не хотелось возвращаться домой, и я долго стоял на Москворецком мосту, дивясь полной иллюзии его полета над неподвижными льдинами¹.

Еще раз я видел Пришвина в день его восьмидесятилетнего юбилея в Доме литераторов. Можно было не сомневаться в искренности поздравительных речей, потому что, мне кажется, не любить Пришвина нельзя. Но в буфете, как всегда, толпился какой-то обязательный на каждом вечере люд, пьющий, жующий, острящий, и шум оттуда переливался в зал вместе с кухонными запахами.

¹ Об этой встрече с автором имеется запись в дневниках М. М. Пришвина от 18 апреля 1952 года. М. Пришвин. Собр. соч., т. 6. М., 1957.

Мне невольно вспомнился скептический вопрос одного обывателя, «размышляющего» над книгой Пришвина:

— Все это, конечно, хорошо, — леса, озера, реки... Ну, а как с комарами быть?

Когда закончились официальные поздравления и Пришвин стоял в зале, растерянный, усталый и взволнованный до ярких пятен на щеках, я подошел к нему. Сжимая мою руку в большой теплой ладони, он спросил:

— Где я о вас читал сегодня? — И тут же спохватился: — Ах, да! Вы посылали мне телеграмму, ведь посылали? Я помню нашу беседу, помню...

Было очень шумно; он стал что-то быстро говорить — скорее бормотать невнятно и тихо, — и я услышал только два четких слова, повторенных несколько раз:

— Хорошо... писать... хорошо...

Я еще раз пожал его большую теплую руку — в последний раз.

Я жил тогда в Коврове, был болен, не получал газеты и не мог пойти в читальню. А когда наконец пошел, то узнал, что накануне похоронен Пришвин.

В маленьком рассказе «Кукушка» он спрашивает, стоит ли собираться для большого дела, если жить осталось считанные дни, и думал: не стоит!

«Но, встав, бросил последний взгляд на березу — и сразу все расцвело в душе моей: эта чудесная упавшая береза для последней, для одной только нынешней весны раскрывает смолистые почки».

И жизнью своей он оправдал эти слова. Великий труженик, он работал до рокового часа, успев поставить точку под новым произведением.

ЧУДЕСНЫЙ РОЖОК

Осенью я охотился по берегам Клязьмы, на Владимирщине.

Пойма уже оголилась, вода в реке стала прозрачной и холодной; студёные росы падали по вечерам.

В один из таких росных вечеров, обойдя всю пойму, мы возвращались в деревню Мишнево на ночлег.

Свежие сумерки выступили небо, и в нем — чистом,

бледном, пустынном — уже теплилась, мерцая, крупная синяя звезда, первая предвестница ночи. В той стороне, где по отдаленному лаю собак угадывалась деревня, заиграл пастуший рожок. Тоскливая, протяжная песня без слов, полная скорби о чем-то несбывшемся или навсегда потерянном, становилась все слышнее и явственней по мере нашего приближения. Это был напев знакомой русской песни о человеке, не нашедшем своей доли.

— Матвей жалуется, — сказал мой спутник, местный колхозник Федор Тряпкин, и продолжительно вздохнул.

— Как жалуется? — не понял я.

— Слепой он, Матвей-то, вот и жалуется на рожке, — пояснил Федор, почему-то ускоряя шаг.

Я прислушался.

Доля, моя доля, где ж ты... —

выпевал рожок, и это действительно было очень похоже на жалобу обездоленного человека.

Мы уже подходили к деревне, когда песня тихо замерла, но через минуту вдруг снова потекла нам навстречу.

— Пойдем ближе, послушаем, — сказал я Федору.

— Ну его! Не слыхал бы, — энергично отмахнулся Федор.

Некоторое время он шагал молча, хмурия пучковатые брови, потом убежденно, строго и серьезно добавил:

— Ты иди, если хочешь, а мне — нельзя. У меня того... пережиток, запой то есть, — понял? И от Матвеевых погудок я враз напьюсь. Так что не неволь, иди сам.

Задами, меж амбаров и сараев, я пошел на звук рожка. Было уже совсем темно, и я едва разглядел за садовым плетнем, обросшим полынью, татарником и чертополохом, Матвея, сидевшего на лавочке спиной к врытому в землю столбу.

Рожок надрывался, плакал, повторяя все ту же жалобу, все тот же вопрос или упрек кому-то:

Доля, моя доля, где ж ты?

Быть может, эта тоскливая песня была в слишком резком контрасте с умиротворением и тихой грустью, навеянными осенней охотой, но только мне показалось, что ее поет убогий духом, озлобленный человек, не сумевший превозмочь свое, пусть огромное, горе, понять доступную

всем радость бытия и теперь в эгоистическом порыве мстящий людям, не зная сам за что.

Я отступил от плетня, чтобы уйти, но слепой, вдруг оборвав игру, спросил спокойно и внятно:

— Кто тут?

— Охотник из города,— ответил я.

— Ночлега ищешь, что ли?

— Нет, я у Тряпкина ночую.

— У которого Тряпкина, у Федора?

— Да.

— А тут пошто ходишь?

Я не ответил, он тоже молчал. Было слышно, как, шурша и постукивая о сучья, падали с яблонь сухие листья.

Матвей, одетый в белое, виделся мне бесформенно-мутной тенью. Меня поразил его голос, спокойный, доброжелательный. Ни тоски, звучавшей в песне рожка, ни озлобленности, о которой я только что мельком подумал, не послышалось мне в нем. Молчание прервал Матвей.

— Иди сюда, я тебе веселую сыграю,— сказал он.

— А вы и веселую играете? — спросил я.

Теперь не ответил он. Я перелез через шаткий плетень и сел на лавочку рядом с ним.

— Играете, значит, и веселую? — опять спросил я.

— А это как душа скажет,— усмехнулся он.— Я против души не играю.

— Жалуются люди, что от ваших песен тоскливо им,— сказал я.

— Кто это?

— А вот хотя бы Тряпкин.

И я рассказал ему о том, какое впечатление производит его игра на запойного Федора Тряпкина. Я думал, это заставит его задуматься, может быть, даже обидит, но он только тихо засмеялся, говоря:

— Вольно ему напиваться, а только я не нанятый его веселить. Федькиным словам, если хочешь знать, грош цена. В колхозе хлеб еще не весь обмолочен, а он, чай, с тобой на охоту шляется.

Эта мерка в оценке человека была неожиданной для меня. «Что это — наносное, чужое, случайное, как слово «пережиток» в речи Федора, или продуманное, искреннее и свое?» — подумал я, а он в это время неторопливо продолжал:

— Душа, говорю. Противнее не сыграешь. Нет такого человека, чтобы всю жизнь веселый, а уж я и подавно. Сидишь, сидишь в темке, да и обнимет тоска. Кабы не видать мне свету, может быть, легче жилось. А то помню ведь! У меня это тоже вроде запоя. Налетит вот эдак на душу, она и стонет, жалуется. Говорят: береги пуще глаза, оно и верно. Хуже нет слепоты!

— А отчего слепота? — поинтересовался я.

— Трахома, — коротко ответил он.

Я нарочно стал раскуривать папиросу, чтобы лучше разглядеть Матвея. Оранжевый свет спички, отражаясь в неподвижных, стеклянных глазах слепого, ненадолго выхватил из темноты его лицо, в крупных чертах которого залегли глубокие тени, но я все же успел рассмотреть его. Это было корявое от старости лицо, вырубленное грубо и небрежно, как заготовка, с выражением настороженности и какого-то напряженного выжидания.

— Вот ты пришел, — продолжал Матвей, — вижу, человек интересуется, мне как-то сразу полегчало. Душа отогрелась. Теперь и веселую сыграю.

Он поднял с колен рожок. Я со страхом ждал, что в веселой песне у него прорвется тот же мотив тоскливой жалобы, но — нет! Он играл долго, упоенно, словно рассказывая близкую сердцу, удалую разбойную быль, и не было в ней ни слова печали и уныния...

— Всяко, всяко играли, — сказал Матвей, кончив песню.

— Нами свету-то повидано — ох, много... Тех уже и нет давно, я один остался...

Слова его перешли в невнятное бормотанье; он опустил голову и, казалось, опять погрузился в свою печаль, забыв обо мне, но через минуту очнулся:

— На рожки у нас шло дерево разное — и береза, и липа, а покойный Кондратьев, Николай Василич, умел работать их из можжевела... Дерево это прочное, тугое — звук в нем не вязнет, исходит чистым, неизмятым... Сам-то Николай Василич ох как ловко играл. Другой покраснеет, надуется, а этот свободно, легко выводит, точно своим голосом поет. Да и голос у него редкостный... Теперь везде — гармонь, а раньше-то на свадьбах, и на гулянках, и на похоронах — все мы... Да. Умелыми-то рожечниками одна деревня перед другой хвасталась. Не всякий тебе сыграет. Тут, кроме умения, полагается силу в

груди иметь, а на губе нужно мужур набить, мозоль эдакую, а то губа к рожку прикипает — с кровью рвешь... Про старину-то вы разве знаете!.. Под носом у вас возшло, а в голове-то и не посеяно... Вот я расскажу тебе, расскажу...

Я долго еще слышал это невнятное бормотанье, но постепенно речь его прояснилась, и он заговорил словами вескими, запоминающимися, точно брал каждое из них в щепоть и споро вкладывал его слушателю в ухо.

Чувствуя себя бессильным передать живой колорит этой речи, через которую впервые столь осязательно удалось мне прикоснуться к прошлому, я расскажу о нем так, как оно представлялось мне в рассказе Матвея.

В прежние времена по берегам Клязьмы шумели вековые дубовые рощи, сосновые боры. Но крестьяне и пришлые барышники валили лес без разбору, оттеснили его от деревень, и легла тут пашня, в клочья изодранная чересполосицей, истощенная и высосанная трехполкой.

От тех далеких времен осталось лишь несколько корявых сосен, которые не шумели под ветром, а как-то особенно звенели, словно между ними были натянуты невидимые струны.

Были эти сосны еще молодой порослью, когда вернулся в Мишнево мужик Фоня Тряпкин по прозвищу Бездомный. По слухам, обошел он всю Россию, батрачил «в хохлах», ватажил на Оке, на Волге, добывал соль на Каспии и денег привез — невпроворот.

Щедростью своей крепя в мужиках веру в эти слухи, обильно поил их Фоня водкой.

— На хозяйство будешь вставать? — спрашивали мужики, искательно заглядывая ему в глаза.

— Непременно, — отвечал Фоня.

Смотрел на Фоино лицо, овеянное иноземными ветрами, припаленное южным солнцем, молодожен Матвей Козлов, и в хмельном тумане сказкой вставал перед ним счастливый, сытый край, легкая — не в тягость, а в удовольствие — работа.

Жена его Мария пошла за него против воли родителей, приданого за ней не дали и даже отказали молодоженам от стола и крова. Отец Матвея, конокрад и пьяница, взял их к себе, но у него, кроме дырявой избы да ловких на воровство рук, ничего не было. Матвей сначала рдился у лесных барышников вытаскивать из реки

мореный дуб и пилить его, а потом мир нанял его пастухом.

Он взял кнут и рожок и пошел в луга.

В те времена по воскресеньям бывали в Суздале большие базары. Оставив стадо на подпаска, Матвей любил толкаться там среди разного люда, приценился к товарам, но уходил налегке, как и приходил.

Однажды на выходе из города догнал он односельчанина Николая Васильевича Кондратьева. Пошли вместе. На западе догорала спокойная, бледно-розовая заря, в болотистом кочкарнике мирно трещали лягушки, и вечер поздней весны был тепел, ласков и нежен.

— Вольно, хорошо, — сказал Матвей, вдыхая запах пробудившейся земли. — Ты как думаешь, Николай Васильич, насчет Фониных слов? Запади мне его побасенки в душу, дразнят. Хочется и мне удачи кусок.

— Фониная удача легкая, а может, и нечистая, — ответил Кондратьев, меряя дорогу спорыми, неторопливыми шагами.

— Жизнь тяжеленька, — вздохнул Матвей. — Баба вот не несет от скудости харча. Приработок надо искать.

— Одному трудно, — сказал Кондратьев.

— Оно так.

— Артелью надо действовать. Я вот по ярмаркам, по базарам, по кабакам поштался, вижу — люди музыку хорошо слушают. Заведут там в кабаке машину или какой-нибудь искусник из пропойных артистов на скрипке потянет, сейчас народ на песню, как пчела на мед, собирается. И плачут, и смеются, и ругаются... Стало быть, глубоко задеты. Отсюда догадка у меня появилась: собрать из рожечников хор и играть в людных местах. Давать будут, особенно купец. Он на грустную песню падкий.

— Сомнительное дело, — подумав, сказал Матвей.

— Как хочешь, я не неволю, — ответил Кондратьев.

Долго шли молча. На фоне темного, островерхого леса ярко-оранжевой точкой мелькнул костер. Тихая, переличатая песня рожка донеслась оттуда, и Матвей заметил, как по красивому, опущенному мягкой подстриженной бородкой лицу Кондратьева прошла улыбка.

Эх, да и пойду я в степи... —

печально выговорил рожок, и вдруг Кондратьев подхватил сильным тенором:

Рожок смолк, но через мгновение ответил тоскливой просьбой:

Матушка пустынная, приюти сиротку...

— Ну вот и спелись,— сказал Кондратьев, подходя к костру.— Здорово живете.

У костра сидел мужик с рожком в руках, другой — лежал на спине, закинув за голову руки, и смотрел в небо.

— Здравствуйте, прохожие люди,— ответил рожечник на приветствие Кондратьева.

— Чьи будете?

— Коверинские. Лошадей вот пасем, а вы?

— Мишневские.

— Не Кондратьев ли?

— Он.

— То-то мы слышим, будто он.

— Много у вас в Коверине, кто умеет играть? — спросил Кондратьев, присаживаясь у огня.

— Почитай, каждый мальчишка дует, да только зря все это...

— С голодного брюха больно-то не заиграешь,— вставил мужик, лежавший на спине.

— Приятель у тебя, знать, сытый,— усмехнулся ему в ответ Кондратьев.— Хорошо играл.

Рожечник встрепелся и оживленно заговорил:

— Это мне очень приятно от тебя слышать, Николай Васильевич, потому слава о тебе идет по деревням большая. Говорят, великий ты искусник на рожке... А сытость наша известна.

— По ярмаркам с рожком надо идти,— убежденно сказал Кондратьев.

— А землю пахать кто будет? — спросил мужик, все так же пристально глядя в небо.

— Окупится.

— Ой ли?

— Я бы пошел,— вмешался в разговор рожечник,— да один как пойдешь? Боязно.

— Зачем один? Хор собьем. Ты приходи в Мишнево, зови еще мужиков, которые играют. Из Суслова придут, из Горок, из Машкова... Сыгровку устроим и пойдем с богом.

— У нас это дело обдуманно,— сказал Матвей, вдруг

поверивший в затею Кондратьева. — Вы не сомневайтесь...

Так было положено начало первому хору владимирских рожечников. Долго они скитались по российским дорогам, по которым в те времена проходило много разного люда — кто в поисках куска хлеба, кто — истины, кто — приключений. Но на самом деле все искали одно и то же — простое человеческое счастье.

Однажды в избе Кондратьева появился человек громадного роста и необъятной толщины, назвавший себя по имени Антоном Картавовым, а по роду занятий антрепренером. С ним приехала жена Мотя — красивая брюнетка, маленькая и стройная, как девушка. Все дела вершила она; Картавов только отдувался и громко хохотал над своими же шутками.

Эта чета пригласила рожечников на гастроли в Москву, в Петербург и другие города России, суля хорошие барыши.

Рожечники подумали и согласились.

Летом 1883 года они выступали в ресторанах и летних садах Петербурга.

Под жилье им отвели большой дощатый балаган в глубине парка, где их неожиданно посетил молодой офицер, окруженный сиянием блестящих пуговиц, эполет и аксельбантов. Он объявил рожечникам желание государя императора Александра III послушать их игру.

Рожечников везла в Петергоф карета, обитая внутри красным бархатом, и это было очень похоже на какое-то волшебное превращение. Рожечники торжественно молчали, гордо переглядываясь.

Император Александр слушал их на свежем воздухе, под липами Петергофского парка со всей своей семьей.

Матвей от робости и напряженного старания не сбиться видел лишь белую пену кружев на платьях великих княжон да мужичью, лопатой, бороду императора.

Играли недолго.

— Кто же у вас *le chef d'orchestre*? — весело сверкая глазами и подходя к рожечникам, спросил император Александр. — Ты, Кондратьев?

Кондратьев выступил вперед и молча поклонился. Император, взяв у него из рук рожок, отошел к княжнам. Те тоже улыбались, постукивая ногтями по отполированному рожку. Потом император поднес рожок к губам и

неуверенно подул. Получился громкий шип. Княжны дружно засмеялись.

— А где же тут пищик? — удивленно спросил император, и глаза его опять засверкали.

Царь был веселый. Рожечники натянуто улыбнулись.

— Пищика в этом инструменте не полагается, — объяснил Кондратьев.

— Вот как? — сказал император.

Потом он похвалил их и отпустил.

Обратно тоже ехали в карете. У себя в балагане трепетно открыли конверт, который им сунул все тот же блестящий офицер, шепнув заговорщицки: «От государя».

В конверте оказалось 150 рублей ассигнациями.

— Иной купец в ресторации больше отвалит, — усмехнувшись, сказал Кондратьев.

В следующем году Картавов решил взять рожечников за границу. Нашел переводчика, вертявого, маленького и черного, как жучок, человека, который бойко болтал на французском, немецком, английском и еврейском языках.

В Париже переводчик водворил рожечников в лучшую гостиницу и пропал вместе с Картавовым на несколько дней.

Картавов вернулся этой, мрачный, осунувшийся. Тщательно оглядев себя в зеркало, он неопределенно хмыкнул и залег спать, а проснувшись, долго сидел, обхватив руками болевшую с похмелья голову, и причитал:

— Обобрал меня, сукин сын! Все дотла я спустил, братцы! Господи, Матреша-то теперь что скажет...

Он послал жене телеграмму, прося выслать денег, и, пока ждал их, все горевал и бранил переводчика. Но когда деньги прибыли в Париж, Картавов опять пропил их и тайно от рожечников уехал в Россию.

На улицах парижане преследовали докучливым вниманием россиян, обутых в лапти, одетых в желтые озямы и высокие поярковые шляпы с пряжкой. Столичные французские газеты печатали групповые портреты рожечников в «национальных костюмах».

Между тем Кондратьев настойчиво искал возможности дать несколько концертов, чтобы расплатиться за гостиницу и уехать в Россию. Наконец это удалось ему с помощью какого-то русского графа, приехавшего в Париж. Рожечники собрались уезжать.

Неожиданно к ним зашел чернявый переводчик.

Он набивался в антрепренеры, звал в Лондон, но россияне неодолимо тянуло на родину.

— Нет,— сказал Кондратьев,— будем уж домой пробираться. У меня от заграничной жизни двое с ума сошли.

Это было правдой. Два рожечника вдруг захандрили. Они молчали, уставившись пустыми глазами в стену, вздыхали, отворачиваясь, когда с ними заговаривали, или отвечали вяло, невпопад.

Матвей вспомнил, что он где-то слышал о болезни под названием «черная малахолия», которая бывает у людей от тоски по родине, сказал об этом Кондратьеву, и тот заторопился ехать.

В России, возле самого вагона их встретила чета Картавых. Антон Картавов, под пристальным взглядом жены, кланялся рожечникам, смущенно бормоча о том, что повинную голову меч не сечет, и снова приглашал их на гастроли.

Хищные зеленоватые глаза Матрешы сверкали плутовской улыбкой...

В 1896 году рожечники выступали на знаменитой Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.

Усталые, оцепеневшие от духоты, пыли и многолюдия, они сидели в тени эстрады, когда к ним подошел высокий тощий парень, которого очень старили усы и длинные волосы.

«Поп-расстрига»,— сразу определил Матвей и отвернулся.

— Давно вы этим делом занимаетесь?— спросил парень окающим басом.

Интересующихся было много. Обычно с ними говорил Кондратьев, но сейчас он куда-то отлучился, поэтому все молчали, ожидая, когда заговорит старший по возрасту — Силан Вавилов из Машкова. Силан нехотя рассказывал, что играют давно, упомянул про покойного государя, про Париж и как-то ненароком свел на деревню, на землю.

— Стало быть, игра-то от нужды?— спросил парень и повел понятный и близкий рожечникам разговор о крестьянской нужде.

— Повидано ее,— согласно вздыхали рожечники.— Мы сорок шесть губерний объехали, всего нагладелись. Что и баять!

Потом без просьбы решили сыграть парню «Долгу», влезли на эстраду и взялись за рожки. А он один стоял

внизу и слушал эту песню-жалобу, унылую и грустную.

Вернувшийся в это время Кондратьев подозрительно оглядел парня, спросил:

— Кто будете?

— Пешков, — сказал парень. — Мастеровой малярного цеха.

Вскоре Матвей отстал от рожечников. У него начали болеть глаза, слипались воспаленные, распухшие веки, красноватая мгла дрожала, переливалась перед глазами. С каждым днем она становилась все непроницаемей, мутней.

Земский врач Лутошкин осмотрел Матвеевы глаза, вздохнул и сказал:

— Большой ты, дядя, а глупый. Сгубил глаза-то.

— Чего же теперь? — спросил Матвей.

— Чего же! — передразнил Лутошкин. — Лечить будем. А уж если не вылечим — не обессудь. Надо было раньше приходить.

Недели две он держал Матвея в больнице, потом, сняв с его глаз повязку, сказал:

— Ну вот, дядя, веки у тебя подсохли. Чешутся?

— Чешутся.

— Хорошо. Ну, а видеть не будешь. Я не колдун, ничего поделывать больше не могу. Мертвые не воскресают. Гуляй-ка домой. Митька тебя проводит.

Митька — ленивый и грубый парень, служивший при больнице, довез Матвея до ближайшей к Мишневу станции, вывел на дорогу и, отбежав на безопасное расстояние, крикнул:

— Ступай прямо. Она доведет, дорога-то!

Матвей, вытягивая перед собой руки, высоко поднимая колени и шлепая по дороге всей ступней, двинулся к деревне.

По холодку, по особенной тишине, нарушаемой лишь невнятными шорохами леса, он чувствовал, что наступает ночь. И хотя в его положении это было совершенно безразлично, он испугался, представив, как плотная темень августовской ночи обступает его со всех сторон.

Руки внезапно встретили шершавый ствол сосны. Где-то в лесной чаще ухнул и захохотал филин.

— Господи, господи, — сказал Матвей, подняв лицо к небу.

Обняв ствол сосны, он съехал по нему на землю, ткнулся в холодный, росистый мох и заплакал.

Утром его нашли и проводили в Мишнево соседние исто-минские мужики.

С той ночи Матвей впал в какое-то оцепенение.

Он жил теперь в избе умершего тестя; поутру уходил на зады, к сараям, садился там на солнцепеке, млея от жары и думал. К вечеру, когда отчетливее и острее становились все запахи, его охватывало беспокойство. Он брал рожок и начинал играть — уныло, тягуче.

Мария подходила к нему и в сердцах кричала:

— Да будет тебе! Вон аж Шельма воет от твоих погуток.

И, действительно, старая облезлая собака Шельма, заслышав унылую песню рожка, начинала тихонько ску-лить и жалась в сених к двери, просясь в избу.

Когда стало холодно, Матвей перестал ходить на зады, и никто уже не слышал его рожка.

Весной вдруг рожок ожил и неожиданно запел веселую, озорную песню.

Случилось это так.

В мае Мария родила сына. Ослабевшая после трудных родов, она сидела в тени кустов бузины и держала ребенка у груди, покачиваясь из стороны в сторону и напевая вполголоса бессмысленную колыбельную песню.

Пришел состарившийся Фоня, сильно разбогатевший за последнее время. Он принес во спасение своей души подарок новорожденному и спросил, как звать ребенка.

— Ильей, — ответила Мария.

— Гм, — сказал Фоня, — пророческое имя.

Из негнущихся узловатых пальцев он соорудил «ро-га», боднул ком пеленок и задумчиво произнес:

— Нонче день постный, а ты, мерзавец, молоко лопа-ешь... Не резон.

Ребенок громко заплакал. В это время на крыльцо вы-шел Матвей с рожком за поясом.

— Плачет? — спросил он, подходя к жене. Вынул ро-жок, нагнулся к ребенку и, смешно приплясывая, заиграл веселую песенку...

Занимался неяркий осенний рассвет, когда я уходил от Матвея. Все та же крупная синяя звезда, тускнея, мер-

цала в небе, и, глядя на нее, я думал о том, что стал неизмеримо богаче, чем был вчера, когда она возвещала о приближении ночи. Может быть, встреча с Матвеем прибавила несколько живых, сообщающих аромат достоверности, подробностей к моим энциклопедическим сведениям о кондратьевском хоре владимирских рожечников; или дала материал для рассказа, которые в ту пору я пытался писать; а может быть, заставила испытать чувство гордости за свой неиссякаемо талантливый народ? Бесспорно, все это так и было. Но позднее я понял, что она обогатила меня чем-то еще...

В моей городской жизни бывают периоды, когда неодолимо, властно, до тоски меня начинает тянуть к реке, к запаху луга, к дыму костра, к случайным встречам с такими же охотниками — бескорыстными и немногословными любителями природы, — с колхозными пастухами, бакенщиками, лесниками... С тех пор как я узнал Матвея, эта тяга усложнилась потребностью пожить иногда у старика день-два и вдохнуть тот «русский дух», который исходил от его рассказов, от песен его рожка, от всего его облика, какой, должно быть, принимали былинные богатыри в дни своей старости. Всегда он был за работой — в страдную пору даже косил, а зимой кустарничал — строгал ложки, гнул дуги, плел корзины, мастерил ульи. Чистоплотный, трудолюбивый и непоколебимо спокойный, он заставлял простить ему редкие приступы болезненной тоски, когда стонал и жаловался неразлучный с ним рожок, а он заводил излюбленный разговор страждущего русского человека о «душе».

У него была внучка, названная в память умершей бабушки Марией — худенькая белокурая девочка с печальными и добрыми глазами.

Матвей часто брал ее сильными руками, сажал на свое широкое плечо и нес куда-нибудь, заставляя рассказывать о том, что она видит. Девочка пугалась, но старик гладил шершавой ладонью ее босые ножки, ласково уговаривая:

— Не робей, тихоня, не робей.

Она рассказывала ему о плотниках, кладущих сруб фермы; о бабах, везущих с поля снопы на ток; о стадах, идущих с лугов, а он согласно кивал головой, и лицо его в этот момент теряло обычное выражение настороженности и ожидания.

Однажды я видел Матвея на полевой дороге, идущего с Марией навстречу ветру, огромного, седого, с высоко поднятой головой. Он был одет в длинную белую рубашу, перехваченную в поясе витым шнурком, и под ветром она облепила его грудь, ходуном ходившую от глубоких вздохов. Не шевелясь, затаив дыхание, я стоял у обочины дороги и, глядя вслед ему, думал о том, какую могучую жажду жизни и участия в ней сохранил этот старик. И еще мне вспомнились его слова, прозвучавшие теперь, как заповедь:

— Я против души не играю.

МИР СЕРГЕЯ НИКИТИНА

Известно, что каждый талантливый художник не только изображает мир, окружающий его, но и, пользуясь впечатлениями от этого реального мира, создает свой, неповторимый.

В рассказах Сергея Никитина этот мир полон красок и запахов, населен людьми, чья судьба волнует и писателя, и читателя. Это — родная Владимирщина, на земле которой прошла почти вся жизнь писателя. Природа здесь небогата: леса, не дремучие, а как будто бы расступающиеся перед человеком, озера, окаймленные мшарами, поля ржи. По-настоящему хороши здесь бесчисленные речки, чистые, каждая по-своему прокладывающая путь через поля.

Любимый месяц в году — это март. «Скрип досок на промерзшем крыльце, вороний, уже совсем по-весеннему хриплый, кар, и сверканье первой тоненькой сосульки на водосточной трубе...» Главное — «чистый колкий воздух», «прозрачно-синий свет мартовского неба». Этот живущий в сердце кусок родной земли помогает писателю с таким же любовным вниманием написать и о морях — Черном («Море») и Каспийском («Моряна»), о чудесах древней Армении («За солнцем в Армению»). Это же чувство кровной связи помогает писателю отвергнуть «выгодную» жизнь там, за океаном («Костер на ветру».)

В рассказах и путевых очерках Сергея Никитина мало людей, которых привычно именуют выдающимися. На западе его героев, вероятно, назвали бы «людьми маленькой судьбы». Все эти колхозники, сельские интеллигенты, рыбаки, лесники, бакенщики вместе составляют народ. Писатель неоднократно повторяет полюбившиеся ему слова Чехова: «Все мы народ, и то лучшее, что мы делаем, есть дело народное». Никитин начал свой творческий путь после войны. И хотя нога фашиста и не топтала Владимирскую землю, след войны, память о ней, часто горькая, лежит на судьбах героев Никитина: одни потеряли близких, других война покалечила, лишила радости жить в полную силу и трудиться. Сила советского писателя в том, что он, не забывая обо всем этом, сумел показать всю врачующую силу родной земли, гуманистической нашей нравственности. В очерках о скитаниях по Влади-

мирской земле «Живая вода» писатель рассказал, как случайно ему удалось подсмотреть чудесный феномен человеческого счастья. В скошенной пойме он слышит тонкий женский голосок. Это голос молодой матери, убаюкивающей своего младенца. И этот жаркий деревенский полдень, и ее «счастливый, даже какой-то пьяный от счастья, смех», и сладкая тоска по мужу, который осушает болото где-то за рекой — все это та полнота существования на земле, которая доступна человеку (глава «Счастливая»).

Героев рассказов Никитина можно расположить по возрастным ступеням. Писатель охотно пишет о детстве, для взрослых и для детей. В повести «Золотая пчела» осиротевший мальчик Ваня, «щупленький, со слабой шейкой», заморожен «фиолетово-синим огоньком». «Там, где березы уже перемешались с лапастыми елями, где все еще клубился туман, откуда тянуло прохладой и сыростью, на высоком тонком стебле, чуть клонясь под своей сочной тяжестью, рос крупный колокольчик». Детство для писателя полно радостного удивления перед открывшимся миром, наивной мечтой о счастье. Оно беззащитно и требует заботы людей взрослых и сильных.

Потом приходит юность — время, когда, по словам Александра Блока, «выясняется, как человек задуман». Это и продолжение детского удивления, и новые впечатления и переживания. Моделью такой радостной встречи с жизнью является история девушки, впервые попавшей на берег моря. Все — и нежная голубизна воды, и йодистый ветер, и ощущение своего молодого тела — вызывает в ней упоение, непередаваемый восторг. Такова же и первая любовь Сени Брагина с ее тревогой, трепетом, радостью и болью («Рассказ о первой любви»). Юность нуждается в мире, и поэтому с такой скорбью мы читаем о гибели во время первой атаки Мити Ивлева («Падучая звезда»). Юность для писателя — время ответственное: отсюда в зрелость надо принести не только молодой энтузиазм, но и душевную стойкость, непримиримость по отношению к самодовольному эгоизму, мелкому своекорыстию. Надо отправляться в путь с таким грузом, который бы спас от раннего холода и душевного измельчания. По сути дела, главный конфликт большинства рассказов Никитина — это столкновение чистой нравственной основы со всем темным, чуждым принципам нашего общества. Вот в рассказе «Мой знакомый Леший» герой угнетен и своей бедностью, и попреками жены, и многосемейностью — у героя целый выводок дочерей и лишь один сын, да и тот слабоумный. Наконец-то у одной из них объявляется жених, солидный, расчетливый, ничего, что значительно старше своей невесты. И все же герой откажется от брака дочери с нелюбимым

женихом. «Ах, любить бы ей в эту дивную ночь, томиться от избытка молодости, вдыхать расширенными ноздрями запах теплой хвои, блеснуть в полутьме глазами...» И старательный, но не очень-то одаренный писатель, которого так заботливо опекает его супруга, вдруг бунтует против своей литературной поденщины («Серпантин»). Бежит от рутины увлеченный образом ржаного поля герой «Блισταющего мира». Колхозник Иван Лукич предпочитает поехать по зимней дороге, вместо того чтобы сидеть за столом, за которым его жена угощает брата, никчемного бездельника («Мороз»). Тусклым, бессмысленным представляется бытие портного Половодцева в собственном богатом доме рядом со скопидомистой молодой женой по сравнению с открытой всем ветрам, полной служения людям жизнью врача Почемчуева («Собственный дом»). И, рисуя старость, писатель любит непереходящим душевным весельем, задиристостью старика Завьюжина («Терновик»). Пусть неизбежно в конце жизни приходит смерть, но и в ней, точнее, в памяти, сохранившейся у близких, выясняется, «как человек задуман». Так писатель расскажет о смерти старого бакенщика, о вещах, оставшихся после него и напоминающих о нем («Снежные поля»).

Герои Никитина способны под влиянием порыва совершить подвиг, но еще большее уважение писателя вызывает «медленное мужество», сила самоотвержения и любви, растянувшаяся на всю долгую жизнь. Так и поступает женщина, когда любимый ею человек вернулся без обеих рук. Сначала он отвергнет ее любовь, приняв ее за жалость, а потом найдет в себе силы стать полезным и деятельным человеком («Под старыми тополями»). Будьте же чутки, люди, к этому незаметному героизму, к этому драгоценному качеству человеческой души, призывает писатель («Листопад в больничном парке»). И можно понять тревогу писателя, когда во имя узко понятой пользы растрачивается эта внутренняя красота, как мелеет озеро Севан, из которого на всякие нужды выкачивается вода («За солнцем в Армению»).

Прозу Никитина числят обычно по разделу «лирическая проза». Да, в его рассказах подчас мало событий, и они менее интересны, чем внутренняя жизнь героев. Автор никогда не бывает объективен — все здесь пропитано особым лирическим чувством, всюду автор участлив и душевен. Однако, когда прочтешь все, что написано Никитиным за двадцать два года его творческой работы, то все эти рассказы сложатся в большой эпос о нашей земле и нашем народе.

Где истоки творчества писателя? Невольно вспоминается «Река играет» Короленко, образ могучего духом перевозчика Тюлина.

Вспомнится и чеховская «Степь», полная света и ожидания добра. Были наставники и среди тех писателей, с которыми Никитину довелось встретиться. Так, в этой книге читатель найдет очерк о «Встрече с мудростью», встрече с замечательным советским писателем М. М. Пришвиным. Его завет: «Проходите мимо временного», в котором выражено отрицание малозначительного, мелко-го, запечатлевается в душе молодого писателя.

В сборнике напечатан рассказ «Весна, старый писатель, маленький мальчик и рыжая собака». В нем жалость ребенка вызывает старик, который «наматывает на шею длинный узкий шарф — наматывает и наматывает окостенелыми руками, пока не останется маленький кончик, который будет торчать у него из-за воротника на затылке». И этому старому и немощному писателю Никитин доверил высказать свою самую сердечную мысль. «Жизнь моя прошла, как большой праздник. Я радовался тому, что принимал от природы и людей, и еще более радовался тому, что отдавал людям. Уходя, я оставляю им все и через это остаюсь вместе с ними. Будешь ли ты писать книги или пахать землю, делай это не для себя, а для них, и никогда глухое отчаянье конца не сожмет твое сердце...»

18 декабря 1973 года утром Сергей Константинович Никитин позвонил в издательство. Он справлялся о своей рукописи, сулил вскоре подослать большой очерк о Карелии. Был он бодр и весел. А вечером того же дня писатель умер, так и не разменяв, как говорится, шестого десятка.

Пасечник ушел. Медосбор продолжается.

А. Семенов

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Голубая планета	3
Мой знакомый леший	7
Снежные поля	12
Осенние листья	18
Десяток крутых яиц	22
Море	26
Грачи	30
Весна, старый писатель, маленький мальчик и рыжая собака	36
Терновник	39
За лесами, за долами...	46
Листопад в больничном парке	51
Сerpантин	55
Под старыми тополями	63
Выздоровление	64
Ненаписанный рассказ	66
Последнее лето	68
Блiстающий мир	73
Сапоги	76
Огонь	80
Коптитель	84
Солист	87

СТРАНИЦЫ СТРАНСТВИЙ

Костер на ветру	90
Двадцать лет спустя	102
Живая вода	109
Пеструшка	149
Моряна	155
За солнцем в Армению	162

СЕРДЦУ МИЛЫЕ БЫЛИ

Под синим небом	170
Поэма	175
Мой старый друг	182
Линия жизни	184
«Война и мир»	185
Рисунок акварелью	186
Встреча с мудростью	214
Чудесный рожок	220

Н62 **Р2 Никитин С. К.**
Медосбор. Ярославль, Верх.-Волж. кн. изд., 1974.
240 с.

«Медосбор» — последняя книга одного из лучших рассказчиков современности Сергея Константиновича Никитина.

Ее составляют рассказы и повести, тщательно отобранные автором, — то, что оказалось наиболее близко и дорого ему. Это и произведения, прошедшие проверку временем, и были, написанные недавно.

Точный и емкий язык, высокая писательская и человеческая культура автора, естественность и искренность, светлое мировосприятие художника — вот что отличает и эту книгу С. К. Никитина.

Н 0732—025
М—139(03)—74

Медосбор

Редактор Т. Спирина
Художественный редактор Д. Поздняков
Художник В. Фесюн
Технический редактор Э. Патрикеева
Корректор Т. Яблокова

Сдано в набор 28 января 1974 г. Подписано к печати
2 июля 1974 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типограф-
ская № 3. Усл. печ. л. 12,6+вкл. Уч.-изд. л. 12,79+вкл.
Тираж 100 000. Заказ 85. Цена 55 коп.

Верхне-Волжское книжное издательство Государст-
венного комитета Совета Министров РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли.

Ярославль, Трефолева, 12.

Ярославский полиграфкомбинат «Союзполиграфпрома»
при Государственном комитете Совета Министров
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли, Ярославль, ул. Свободы, 97.







